


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ



Аркадий и Георгий
Вайнеры

ПЕТЛЯ И КАМЕНЬ
В ЗЕЛеной ТРАВЕ

ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ ПАЛАЧА

18+

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Георгий Вайнер

**Петля и камень в зеленой
траве. Евангелие от палача**

«Азбука-Аттикус»

1990, 1991

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача /
Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус», 1990, 1991 — (Русская
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24539-6

В 70-е годы XX века классики русской литературы братья Вайнеры, авторы знаменитейшего романа «Место встречи изменить нельзя», встали на опасный путь: желая служить истине в стране с тоталитарным режимом, они создали антисоветскую диологию «Петля и камень в зеленой траве» и «Евангелие от палача». В книгах были затронуты две максимально запретные темы: оставшиеся без возмездия злодеяния «органов» и «еврейский вопрос».

Герои романа «Петля и камень в зеленой траве» — Суламифь и Алеша, ее возлюбленный, сын одного из руководителей МГБ. Судьбы их семей переплетаются самым удивительным образом. В романе присутствует и трагическая история любви, и увлекательное расследование с погонями и открытиями. Действительность, пусть уже и в относительно «вегетарианское» время, губит любую живую жизнь, всех, кто так или иначе не вписывается в убогие советские стандарты и хочет непозволительного — свободы... В центре романа «Евангелие от палача» — Павел Хваткин, харизматичный антигерой, который ловко плетет убийственные заговоры, но сам находится в плену страстной тяги к женщине, чью жизнь и семью он безжалостно разрушил... В 1970-е годы отставной, но еще совсем не старый полковник МГБ Хваткин по-прежнему на коне. «Я хочу победить в жизни», — говорит он. Память временами выбрасывает его из благополучного настоящего в кровавое минувшее. Мы видим его жизнь изнутри, его же глазами. И вот «благая весть» от палача: стихия людей, которые без колебаний ломают чужие судьбы, — страх. Они его порождают, им питаются и понимают только этот язык. Слова милосердия и любви им неведомы, недоступны. Их жизнь тоже искалечена. Но это не делает их менее опасными...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-24539-6

© Вайнер Г. А., 1990, 1991

© Азбука-Аттикус, 1990, 1991

Содержание

Петля и камень в зеленой траве	7
От авторов	7
Часть первая	8
1. Алешка. 9 июля 1978 года. Москва	8
2. Ула. Мой дед	15
3. Алешка. Сговор	17
4. Ула. Моя родословная	22
5. Алешка. Игры	26
6. Ула. Встречи. Проводы	31
7. Алешка. Полет	36
8. Ула. Договорились – мишень с прицелом	39
9. Алешка. Брат мой Сева	46
10. Ула. Мой любимый	50
11. Алешка. Зуб буфетчицы Дуськи	56
12. Ула. Мой мир	60
13. Алешка. Семейный обед	64
14. Ула. Спор	71
15. Алешка. Обет	75
Часть вторая	83
16. Алешка. Тризна	83
17. Ула. Пустырь	91
18. Алешка. Затопленный храм	94
19. Ула. Крах	105
20. Алешка. Облезлый гриф	112
21. Ула. Распродажа	118
22. Алешка. Дорога в казенный дом	124
23. Ула. Звонок	128
24. Алешка. Театр	130
25. Ула. Некрополь	140
26. Алешка. Тропа в один конец	144
27. Ула. Вечный двигатель	150
Конец ознакомительного фрагмента.	154

Аркадий и Георгий Вайнеры

Петля и камень в зеленой траве

Евангелие от палача

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер, (наследники), 1990, 1991

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Егора Саламашенко

* * *

Время, когда это происходило, ушло от нас и превратилось в историю. Но «история должна быть злопамятной», говорил тишайший великий историк Николай Михайлович Карамзин. И, как бы следуя сей заповеди, авторы романа не делают никаких попыток писать об этом времени, «добру и злу внимая равнодушно». Они не летописцы, они – судьи... Они никого не милуют.
Лев Разгон. Из вступительной статьи к роману «Петля и камень в зеленой траве»

То, что люди не знают обстоятельств, в которых происходит действие «Евангелия от палача», это не только никак не останавливает, а наоборот, подвигает. Потому что если они читают хорошую книгу... Если человек ее читает, он начинает понимать то, чего он не понимал и не знал. Он проникается пониманием той эпохи...

Хваткий не антисемит, не русофоб. Он – враг человечества... представитель той особой породы, которая не против евреев, русских или негров, – она против всех людей. Люди этой породы – дьяволы, Сатана в человеческом обличье...

Аркадий Вайнер

* * *

Петля и камень в зеленой траве

От авторов

Известно: у каждой книги своя судьба. И особый интерес вызывают судьбы нетривиальные.

Думается, роман «Петля и камень...» переживает именно такую, необычную судьбу.

Книга была задумана и написана в 1975–1977 годах, когда короткая хрущевская оттепель осталась далеко позади, – в самый разгар брежневского «застоя», в условиях, при которых строить какие бы то ни было политические прогнозы было, по крайней мере, авантюрным легкомыслием.

Все видели, к чему мы пришли; никто не мог сказать – куда мы идем.

Разгул всеильной административной машины, новый культ личности, океан демагогической лжи, в котором утонуло наше общество, нарастающая экономическая разруха, всеобщее бесправие – вот социальная и духовная атмосфера, в которой создавался и которую призван был воссоздать наш роман.

Задача казалась нереальной, тем более что авторы «умудрились» положить в его основу две самые запретные, самые острые, самые неприкасаемые «зоны»: незаконную деятельность органов госбезопасности того периода и – «еврейский вопрос»! И притом взяли себе принципом описывать правду, одну только правду, ничего, кроме правды...

Роман, судя по всему, был заранее обречен. Он и лежал «в столе» до поры, доступный лишь самым близким людям. С учетом печального опыта гроссмановской «Жизни и судьбы», сохранившейся просто чудом, авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили ее дома, а фото пленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей, – это уже был горький урок Синявского и Даниэля.

Но рукописи не горят.

И приходит однажды их пора.

Август 1989 года

Москва

Часть первая

*Подробности разгадки я не знаю,
Но, в общем, вероятно, это знак
грозящих государству потрясений.*

В. Шекспир. Гамлет

1. Алешка. 9 июля 1978 года. Москва

Я знал, что это сон.

Небыль, чепуха, болотный пузырь со дна памяти. Дремотный всплеск фантазии пьяницы. Судорога похмельного пробуждения.

Но сил прогнать кошмар не было. И не было мысли вскочить, потрясти головой, закричать, рассеять наваждение...

Услышал негромкий стук, даже не стук, а тихий треск расколовшегося дерева. Торчит из двери огромный нож. Кинжал с черной серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени, еще мелко трясется. И прежде чем он замер, я разглядел на рукоятке выпуклые буквы «SSGG». И хотя я никогда в жизни не видел этого кинжала, я сразу сообразил, что это повестка тайного страшного суда ФЕМЕ. Не шелохнувшись, лежал я на тахте, глядя с ужасом на вестника кары, и пытался сообразить – почему мне? За что?

Дверь неслышно растворилась, и я увидел их. Трое в длинных черных капюшонах с прорезями для глаз и рта. Но обувь у них была обычная – черные полуботинки. И форменные брюки с кантом.

Они молча смотрели на меня, но во сне не нужны слова, мы хорошо понимали друг друга.

– Ты знаешь, кто мы? – беззвучно спросил один.

– Да, гауграф. Вы судьи Верховного трибунала ФЕМЕ.

– Ты знаешь, кто уполномочил нас?

– Да, гауграф. Вас наделили беспредельными правами властители мира.

– Ты знаешь, что мы храним?

– Да, гауграф – вы храните Истину и караете праздномыслов, суесловов и еретиков.

– Ты знаешь символы трибунала ФЕМЕ?

– Да, гауграф. Штрих, шпайн, грюне грас – «петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой».

– Значит, тебе известен приговор ФЕМЕ?

– Да, гауграф. Суд ФЕМЕ выносит один приговор – смерть. Но я ведь никогда и ничего...

– Разве? – молча засмеялся судья. – А как хранится тайна ФЕМЕ?

– За четыреста лет никто не прочитал ни одного дела ФЕМЕ, и на каждом архивном пакете стоит печать: «Ты не смеешь читать этого, если ты не судья ФЕМЕ...»

– Ты хотел нарушить тайну ФЕМЕ, – мертво и решенно сказал гауграф.

– Но я ничего не видел! Я ничего не знаю! Я не могу нарушить тайну!..

– Ты хотел узнать – этого достаточно! – молча всколыхнулись черные капюшоны, и сквозь обессиливающий ужас забила мысль-воспоминание, что я их знаю.

– Я не хочу умирать! – разорвало меня животным пронзительным воплем, но гауграф протянул руку к кинжалу, и обрушился на меня грохот и пронзительный вой...

...Дверной звонок гремел настырно, въедливо. Тяжелыми ударами ломилось в ребра огорченное страхом и пьянством сердце.

Я приподнялся на постели, но встать не было сил – громадная вздувшаяся голова перевешивала тщедушное скорченное туловище, и весь я был как рисунок человеческого тела в материнской утробе. В огромном пустом шаре гудели вихри алкогольных паров, их горячие смерчки вздымали, словно мусор с тротуара, обрывки вчерашней яви. Мелькали клочья ночного кошмара, чьи-то оскаленные пьяные хари – с кем же я пил вчера? – и вся эта дрянь стремилась разнести на куски тоненькую оболочку моего надутого черепа-шара. Кости в нем были тонюсенькие, как яичная скорлупа, и я знал, что положить ее обратно на подушку надо очень бережно.

Пусть там звонят хоть до второго пришествия – мне следует осторожно улечься, очень тихо, чтобы не разбежались длинные черные трещины по скорлупе моей хрупкой гудящей головы, натянуть одеяло повыше, подтянуть колени к подбородку, вот так, теснее, калачиком свернуться – так ведь и лежит в покое, тепле и темноте многие месяцы зародыш. Я зародыш, бессмысленный пьяный плод рода человеческого. Не трогайте меня – я не знаю ничьих тайн, оставьте меня в покое. Я хочу тепла и темноты. На многие месяцы. Я еще не родился. Я сплю, сплю. В моей огромной пустой голове шумит сладкий ветер беспамятства...

Потом – прошло, наверное, полторы-две вечности – я открыл глаза снова и увидел крысу. Худощавую, черную, в модных продолговатых очках. Я смотрел на нее в щель из-под одеяла – может быть, не заметит, что я уже не сплю. Но она сидела почти рядом – за столом – и в упор смотрела на меня. Я не шевелился, прикидывая потихоньку – может быть, юркнет крыса в дверь, вслед за ночными судьями?

Крыса посидела, пошевелила длинной верхней губой, где у всех нормальных крыс должны быть щетинистые рыжие усы, а у этой ничего не было, и сказала:

– Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

Голос у крысы был тонкий и культурный. Но я на эти штучки не покупаюсь. Лежал не дыша, как убитый.

– Алешка, брось выдрючиваться, вставай, – сказала крыса, и ее культурный голос чуть вибрировал, будто она выдувала слова через обернутую бумагой расческу – есть такой замечательный инструмент у мальчишек.

Как прекрасно было бы мне жить в плаценте постели, маленьким, еще не родившимся в этот паскудный мир плодом! Как было бы тепло, темно и покойно во чреве похмельного сна! Но возникла крыса, и надо рождаться в сегодняшний день. И я высунул в мир голову – благо за промчавшиеся вечности стала она много меньше и тверже.

– Здравствуй, Лева, – сказал я крысе, и этот мой первый новорожденный звук был сиплым и серым, как утро за окном.

– Тебе сварить кофе? – спросила крыса.

– Свари, пожалуйста, Лева, мне кофе, – ответил я вежливо, хотя хотелось мне не кофе, а пива. – А ты как попал сюда?

– А мне открыл твой сосед – такой милый старикан...

Милый старикан Евстигнеев – пенсионер конвойных войск, веселый стукач-общественник – впустил ко мне крысу.

Но Лева знал, что я спрашиваю его не о том, кто открыл ему дверь, а зачем он пришел ко мне. Штука в том, что когда я приоткрыл глаз и увидел его острый голодный профиль, чуть смазанный металлической оправой очков, я уже понял: случилась лажа, день моего новорождения отмечен какой-то крупной неприятностью.

Приятные неожиданности могут случаться и со мной, допускаю: умер Мао Цзэдун, мне дадут Государственную премию РСФСР или я угадаю шесть цифр в спортлото, но ни с одной из этих приятностей ко мне не явится спозаранку Лев Давыдович Красный. И не станет варить мне кофе для опохмелочки. Он мне принес гадость, огорчение, боль – это все уже здесь, в моей комнате, он насыпает все это противное вместе с сахаром и коричневым порошком кофе в

старую, закопченную турку, чтобы подать мне в постель этот странный напиток с горьковатым ароматом кофе и кислым вкусом беды. А я только что родился, я еще не оторвал пуповину сна...

Милый старикан-стукач впустил ко мне заботливую крысу.

Я вылез из постели и увидел, что спал в рубашке, брюках и носках. Пиджак валялся на полу, один башмак у двери, а другой почему-то на стуле. Не помню я – как вернулся домой.

Красный смотрел на меня с отвращением. У него неправильная фамилия – он не красный, он как петлюровский флаг – весь жовто-блакитный. Голубые подглазья, желтые скулы, синеватый от бритья подбородок. Лихая замшевая куртка – нежно-оранжевая и роскошный небесный бантик. Он не Красный. Он жовто-блакитный.

– Хорошо отдохнул вчера? – спросил Лев Давыдович Жовто-блакитный.

– Замечательно. Жаль, что тебя не было, – сказал я совершенно искренне. Там, где я вчера налузгался, кто-нибудь обязательно поколотил бы крысу.

– Ты куда? Кофе уже готов! – закричал он, будто испугался, что я смоюсь со своей жил-площади и он не успеет укусить меня.

Успеет, наверняка успеет.

– Я в уборную. Можно?

– Спасибо за доверие, – засмеялся Лева, а длинные желтые зубы выдвинулись грозно вперед, и я на всякий случай попятился.

В гулком коридоре огромной коммунальной квартиры было совсем пусто, и только Евстигнеев отирался рядом с кухней, перекрывая дорогу в сортир.

– Доброго вам здоровьичка, Алексей Захарович, – сказал он с чувством.

– Здорово, Евстигнеев.

– Дружок к вам пришел спозаранья, звонил, звонил, я уж и пригласил его пройти.

Видали?

– Нет, не видал.

– Не видал?! – всполошился Евстигнеев. – Он как вошел к вам, так я, почитай, все время из коридора не отлучался.

Рыхлые склеротические щеки Евстигнеева стали наливаться синевой.

– Куда же он подеваться мог? – волновался старичок, и все его надувное-набивное лицо перекатывалось серыми комьями. В тряпичной душе филера бушевали сильные страсти – ищейка сорвалась со следа.

Я поманил его пальцем и сказал на ухо тихо и значительно:

– Он, наверное, вышел через окно...

– Куда? – совсем взбесился Евстигнеев. – С пятого этажа-то?

– В эмиграцию подался. Знаешь, они какие!

А сам нырнул в уборную. Уселся и стал читать старые газеты, аккуратно сложенные в мешочек на двери. Газета сообщала, что строители сделали очередной трудовой подарок населению – пустили вторую очередь комбината по выпуску тринилфинакриловой кислоты, в связи с чем больше нам не надо волноваться за судьбу анилнитрилового производства.

Прекрасно, хоть одна проблема для меня решена.

Вот тоже интересно – прополку сорняков на полях закончили в целом на неделю раньше. Славу богу, прямо гора с плеч.

Елабужские машиностроители взяли обязательство выпустить сверхплановой продукции на сто двадцать тысяч рублей. Какая там у них продукция – выяснить не удалось, потому что рядом с заметкой из газеты был опрятно вырезан прямоугольный кусок. Этой сортирной цензурой занимался Евстигнеев – он забирает из уборной к себе в комнату газеты и ножницами вырезает с первых полос официальные фотографии, чтобы мы не оскверняли эти вдохновенные лица способом, особо унижительным для их достоинства.

Со стоном и рокотом бушевала вода в осклизлых сопливых трубах, черные космы паутины провисли по углам. По стене полз клоп. Тьфу, пропадите вы!

Между уборной и моей комнатой метался обезумевший от горя стукач, он крутился под дверью, как кот, вожаденно и трусливо, его снедали тоска и желание просочиться в комнату через щелку под дверью.

– Алексей Захарыч, а как же теперь... – Он просунулся ко мне, но я отодвинул его несокрушимой рукой – железной десницей, красивой и могучей, как рука миролюбивых народов на плакатах, где она перехватывает хилые алчные грабки мировых империалистов, милитаристов, сионистов и прочих Пиночетов.

– Пошел вон, старик, – сказал я ему застенчиво. – Не светись у моей замочной скважины, не то я тебя ненароком дверью прищемлю...

– Дык... дык... Вить... – закудахтал Евстигнеев, но я уже был в комнате. Вместе с Жовто-блакитной крысой.

Лев Давыдович чинно кушали кофе. И вид у него был абсолютно невозмутимый, будто он каждое утро ненароком забегает ко мне вестишками перекинуться, кофейком побаловаться, о совместной вечерней жизни договориться. Но в его маленьком мозгу, ладно скроенном, хитро скрученном, нашей жизнью зло надроченном – по скользким глухим лабиринтам бесчисленных извилин и перегонным стрелкам нейронов уже мчались незримые электрические сигналы моей беды. И хотел я изо всех сил оттянуть разговор. Да крыса не спешила вцепиться в меня.

– Пей кофе, остынет, – сказал он.

– А у тебя выпить, случайно, не найдется? – спросил я безнадежно.

– Я по утрам не пью.

– Не ври, Лева. Ты и по вечерам не пьешь. Ты бережешь себя для народа.

Он пожал своими замшевыми худыми плечиками, и было в его коротком жесте неизбывное море презрения.

А я стал стягивать с себя все – ношеное, мятое, спаное, жеваное, грязное, и, пока я ходил голый по комнате, доставая из шкафа белье и с вешалки купальный халат, Жовто-блакитный смотрел на меня в упор с ленивым любопытством, и никакой неловкости он не испытывал, и не пришла ни на миг ему мысль, что надлежало бы отвернуться, – он смотрел на меня безразлично, как на животное, и чужая нагота его не смущала.

– Сейчас приду, – буркнул я и отправился в ванную.

В коридоре загрохотал мне навстречу копытами, подранком-кабаном покатился Евстигнеев.

– Я... с... тобой... Алексей... Захарыч... поговорю... в... другом месте...

– Цыц, старик! Не пререкайся! Ты говоришь со старшим по званию!

Я поджег газовую конфорку под колонкой, закурил сигарету и уселся на край ванны. Дым сладко и душно шибанул в голову. Затянулся круто, и голова стала надуваться и расти, как давеча, когда я был счастливым беззаботным зародышем, еще не убитым судьями ФЕМЕ.

Ровно гудело красно-синее пламя горелки, прыгали там огоньки, короткие и жадные, как кошачьи язычки, шумела вода из крана, и огорченно-сердито бубнил под дверью Евстигнеев. Вот, Господи, напасть какая – взяли они меня в клещи: с одной стороны – ватный кабан-стукач, с другой – замшевая злая крыса. Влез под душ, запрокинул голову, и струйки дробно, весело застучали по лицу. Они ласково стегали кожу, крепко гладили, усыпляли, успокаивали, шептали: ду-ш, до-ш, до-ш, до-ж, до-ждь. Но я помнил, что это не дождь, потому что такой мягкий дождь бывает только в мае и пахнет он травой и землей. А сейчас был июль, и пахло мочалками, скверным мылом и потом.

И Евстигнеев заходил под дверью:

– Поговорим... в... другом... месте...

Интересно было бы узнать поточнее этот метафизический адрес «другое место», в котором обычно собираются потолковать рассерженные друг на друга сограждане. Беда в том, что мало кто из них после этих разговоров оттуда возвращался.

Вытерся полотенцем и пошел к себе, за мной трясся рысью Евстигнеев, хрипел, булькал и рычал, и я боялся, что он меня цапнет стертymi резцами за икру. Уселся за стол, пригубил кофе, тут и Лев Давыдович счел увертюру законченной. Он прокашлялся, будто на трибуне, и сказал своим невыносимо культурным голосом:

– А у Антона очень большие неприятности...

Вот те на! Антон – неукротимый удачник, ловкач и мудрец, всегда благополучный, как таблица ЦСУ!

– Что с ним?

– С ним, собственно, ничего, но... – Выжидательно поблескивали желтые алчные бусинки под синеватым отливом модных очков.

– Слушай, Красный, брось мычать – говори по-человечески!

– Дело в том, что Димка трахнул какую-то девку, и...

– Ну и что? – нетерпеливо перебил я. – В его возрасте я это делал регулярно, и моих дядей не будили по такому поводу спозаранку!

– Но ты при этом, наверное, спрашивал у своих девок согласия?

– Лева, женщин не надо отвлекать пустыми разговорами – им надо дать себя в руки.

– Племянник оказался глупее тебя – он сам ее взял в руки и, как любит выражаться твой брат Антон, сделал ей мясной укол...

– А она что?

– А она с папой своим пошла на освидетельствование. Твой племянничек эту идиотку дефлорировал, – мерзким своим культурным голосом объяснял Жовто-блакитный.

И мне казалось, что он получал от всей этой пакости громадное тайное наслаждение. На лице его был пылкий налет озабоченности, всем видом своим он изображал готовность и решимость помогать Антону выпутаться из постыдной истории, в которую тот вляпался благодаря своему похотливому крестину. А я ему верил. В его бесцветном культурном голосе была еле слышная звонкая нотка счастливого злорадства: ну-ка, братцы Епанчины, покажите-ка себя как следует, вы же такие молодцы, красавцы и счастливыцы, вы же такие баловни жизни, вы же такие любимцы женщин, вы же наша замечательная элита, наш лучший в мире «истеблишмент»! А в суд не хотите? А с партбилетом в зубах к товарищу Пельше? А вообще, рожей по дерьму? Как? Нравится?!

– Что же делать? – спросил я растерянно. – Они ведь в милицию пойдут?

– Этого нельзя допустить, – отрезал Красный.

– А освидетельствование? Это же официально? – закричал я.

Красный поморщился:

– Не впадай в истерику. Ты человек юридически безграмотный...

– А какая тут нужна грамота?

– Изнасилование относится к делам частного обвинения – оно не может быть возбуждено без жалобы потерпевшей. Пока они не пошли в милицию – еще можно все уладить...

– Как уладить? Зашьем ее... обратно? Что тут можно уладить? Там, небось, вся эта изнасилованная семья по потолку бегают! Они Антона с Димкой в порошок сотрут!

– Не сотрут! – твердо взмахнул узкой острой головой Красный. – Я уже говорил с отцом...

– Да-а? И что?

– Сейчас мы с тобой поедem к ним.

– К кому? – не понял я.

– К потерпевшей. И к ее замечательным родителям. Ее зовут Галя Гнездилова, а его – Петр Семенович.

– А я-то зачем поеду? В каком качестве? Подтвердить породу? Или оценить качество работы?

Красный терпеливо покачал головой, смотрел на меня с отвращением.

– Алеша, ты – писатель, хоть и не генерал, но все же с каким-то имечком. Поэтому ты и будешь главным представителем всей вашей достойной семейки. Они ни в коем случае не должны знать, что Антон – начальник главка, иначе нам с ними никогда не расплеваться...

– Ничего не понимаю, бред какой-то. Они что – писательского племянника пожалеют, а сына начальника главка загонят за Можай? В чем тут логика?

– Мы их с тобой не будем просить о жалости. Мы им предложим ДЕНЕГ! – сказал он сухо и отчетливо. Будто дрессировщик щелкнул шамберьером над ухом бестолкового животного.

– Денег? – переспросил я ошарашенно. – А почему ты думаешь, что они возьмут у нас деньги? Почему ты решил, что они хотят денег?

Красный коротко хохотнул:

– Алеша, не будь дураком – денег все хотят. И деньги могут все.

– Так-таки все?

– Все. Если бы у меня вот здесь лежало сто тысяч, – он почему-то показал на маленький верхний карманчик куртки, – я бы вас всех купил. И продал бы, да, боюсь, покупателя не найти...

– Черт с тобой и со всеми твоими куплями-продажами. Но почему я должен предлагать ему деньги? А не Антон?

– Потому что ты как бы свободный художник – личность нигде не служащая, беспартийная, состоящая в одинаково бессмысленной и почтенной для дураков организации – Союзе писателей. Поэтому наш контрагент сообразит, что если мы не сойдемся в цене, то допечь он тебя никак не может, а деньжата при тебе останутся.

– А Антон?

– Антон – крупный деятель, член партии. Если эта история выплывет на свет, он сгорит. Поэтому изнасилованный папа, при некоторой напористости, разденет его до исподнего и доведет до полного краха. Ты пойми, что речь сейчас даже не о Димке, а обо всей карьере Антона...

– А где он сейчас, Антон?

– У себя в кабинете, сидит на телефоне.

Я механически прихлебывал кофе, не ощущая его вкуса, и меня остро томили два желания – выпить пива и вышвырнуть крысу в коридор на съедение кабану. Голова моя утратила свою ночную легкую воздушную округлость, она стала квадратной и тяжелой, как железный ящик для бутылок, – мои немногие мысли и чувства были простыми, линейными, они обязательно пересекались между собой. Досада на племянничка, прыщавого кретина, а поперек – жалость к Антону. Нежелание вмешиваться в эту грязную историю – и боязнь ужасного по своим последствиям скандала. Отвращение к Красному – и сознание, что только этот смрадный аферист может как-то все уладить. Стыд перед Улой – и возмущение: я-то тут при чем?..

Но было еще одно чувство, которое я всячески гнал от себя, а оно ни за что не уходило. В моем бутылочном ящике, где все эти нехитрые мыслишки и чувства уже сложились в удобные тесные гнезда для спасительного груза дюжины пива, начал потихоньку копиться ядовитый дымок страха.

Это был один из видов моих бесчисленных страхов – страх приближающейся опасности. Вообще-то, у меня полно разных страхов, из меня можно было бы устроить выставку, настоящую музейную экспозицию страхов. Как в этнографической коллекции, они развиваются у меня от каменного топора – простого ужаса побоев до последнего достижения нравственного прогресса – опаски рассказывать политические анекдоты в компании более трех человек.

Страх, легкое дуновение которого я ощутил сейчас, был полупрозрачный, сизо-серого цвета, холодноватый, чуть шуршащий, он сочился из-под ложечки. Ах, если бы кому-нибудь удалось взглянуть на стенды моего музея – ведь там все мои кошмары экспонированы в цвете, звуке, в месте возникновения, там есть температурные и временные графики, таблицы социальной, семейной, сексуальной трусости, там стоят на тумбочках гипсовые слепки моих подлостей, окаменелые скелетики предательств, игровые диорамы моей изнаночной, вчерне проживаемой жизни...

Вот этот еле заметный предвестник опасности – быстро шевельнувшийся во мне сполох страха – заставил меня отшвырнуть чашку и, матерясь, полезть в брюки. Я не вышвырнул крысу в коридор, а стал собираться с ним к несчастному папе Петру Семеновичу Гнездилову, к его вонючке, которая сначала хороводится с этими лохматыми онанистами, а потом ходит на освидетельствование. Дело в том, что я почувствовал, даже не формулируя для себя: это довольно паршивое происшествие для всех нас, для всего нашего дома, и так просто оно не закончится.

Натягивая носок, я злобно бурчал себе под нос:

– Безобразие какое! Ну как тут можно книгу закончить? Каждый день какая-то пакость приключается! Дня нет покоя! Только соберешься, сядешь, тут бы сосредоточиться как следует – и пошло бы, пошло! Так нет же! Что-нибудь мерзопакостное уже прет на тебя, как поезд...

– Ты еще забыл о своем сердце, – сказал с серьезным лицом Жовто-блакитный.

– А что? – поднял я голову – сердито и подозрительно.

– Ничего – я просто вспомнил, что у тебя еще больное сердце. – И гадко усмехнулся.

Я долго смотрел на него, прикидывая – к чему бы это он?

И сказал ему очень внушительно:

– Заруби себе на носу, Лева, – мое сердце тебя не касается!

– В общем-то, нет, конечно, не касается. – Он пожал плечами. – Но относясь к тебе симпатично...

– Заруби себе на носу, что мне наплевать на твое отношение ко мне. И мои дела и болезни тебя не касаются! Заруби это крепко на своем носу!

– Оставь мой нос в покое, – недовольно сказал Лева. – Поехали.

В коридоре бесшумно катился нам навстречу Евстигнеев – он уселся переобуться, несмотря на жару, в подшитые валенки.

– Вот же он, Алексей Захарыч, дружок-то ваш... Вот же он!

И все всматривался, цепко, по-собачьи в костистую острую рожу Красного, запоминал старательно, взглядом липким, приставучим лапал, щупал его рост, одежду, особые приметы – а вдруг придется еще показания давать, не может он, ветеран службы, позорно мямлить: «не запомнил!» На то он и поставлен ответственным по подъезду, на то он и есть у нас старший по квартире, на то и служит внештатным участковым инспектором, чтобы все запоминать, все слышать, всех знать!

И хотя не до него мне было, а отказать себе в удовольствии не смог:

– Познакомься, Лева, с этим милым человеком...

Крыса вежливо показала желтые клыки, протянула сухую лапку, культурным голосом рокотнула:

– Красный.

И кабан тряпочный пихнул ему свою подагрическую лопату:

– Евстигнеев – мое фамилие, значица. С большой приятностью...

– Лева, это наш Евстигнеев, прекрасный парень, – сказал я. – Но у него, сукина кота, склероз стал сильнее бдительности. Написал на меня донос в милицию, прохвост эдакий, и по безумию своему опустил его в мой почтовый ящик.

Евстигнеев ухватился за грудь, будто собрался, как Данко, вырвать свое пылающее сердце пенсионера конвойных войск и осветить вонючую сумерь грязного длинного коридора. Красный испуганно отшатнулся. Но Евстигнеев сердце не вырвал, а только сипло и задумчиво сказал:

– Неправда ваша, Алексей Захарыч! Не доносил я! Сигнализировал. Правду сообщал. В нашу родную рабоче-крестьянскую милицию. Для вашего же, можно сказать, блага и пользы! Чтобы провели с вами разъяснительную работу о недопустимости пьянства! Особенно среди писателей, людей, можно сказать, идеологических. Сиг-на-ли-зи-ровал!

На харе его был стукачевский восторг, искренняя вера в почтенность его гнусного занятия. Я и злиться не стал – плюнул и повлек за собой остолбеневшего Красного.

Вчера – спьяна – закатил я «москвича» двумя колесами на тротуар. Сейчас он был какой-то весь скособоченный, задрызганный, в ржавчине и потеках, несчастный, как заболевший радикулитом старый холостяк. На капоте кто-то написал много похабных слов, а на лобовом стекле вывел: «Хозяин – дурак!»

Вот уж что правда, то правда!

На сияющем «жигуле» Льва Давыдовича никто такого не напишет!

2. Ула. Мой дед

– Суламита! – позвал меня дед.

– Что, дед?

– Ты не спишь?

– Нет, уже не сплю.

– Ты горюешь?

– Нет, дед. Я грушу.

– Ты грустишь из-за него?

– Из-за всего. Из-за него тоже.

– Он ушел навсегда?

– Он вернется.

– Почему же ты грустишь?

– Он уйдет снова. И вернется. И уйдет.

– Почему, янике, почему, дитя мое?

– Я старше его.

– Намного?

– Прилично. На два тысячелетия...

– Ай-яй-яй! – огорчился дед. – Он – гой?

– Да.

Дед долго молчал, раздумывал, старчески кряхтел, потом спросил мягко:

– Суламита, дитя мое, ты полна горечи и боли. Ты любишь его?

– Да, дед.

– За что?

– Он умный, нежный, он кровоточит, как свежая рана.

– И все?

– Он – мой сладостный муж, он дал мне незабываемое блаженство.

– И только?

– Он – мой ребенок, отнятый злодеями, изуродованный и вновь найденный мной.

– А что они сделали с ним?

– Он пьяница, трус и лжец.

– Он знает, кто мы?

- Нет, дед. Не бойся: я не открыла ему великую тайну. Да он и не поверит.
- Это хорошо, – тихо засмеялся дед. – Суламита, янике, ты ведь знаешь, что плод, зачатый от них, принадлежит им.
- Дед, среди них есть масса людей прекрасных!
- Конечно, дитя мое! – прошелестел в темноте дед. – Но им не вынести такого...
- Почему же мы выносим? Как нам достает сил?
- Мы – другие, Суламита. Мы – вечны. Каждый из нас смертен, а все вместе – вечны.
- Почему, дед?
- Мы дети незримого Бога, чье истинное имя забыто. Он послал нас сюда вечными хранителями очага жизни. Из нас – тонких прерывистых нитей – он сплел нескончаемую пряжу жизни. Мы не можем погасить огонь, и не в наших силах прервать великую пряжу. Мы не вернемся в наш мир, не выполнив завета.
- Дед, почему наш Бог невидим?
- Мы не нуждаемся в образе Божьем. Мы носим Бога в сердце своем. И как нельзя заглянуть человеку внутрь сердца своего, так нельзя увидеть Бога.
- Всякий может уговорить себя, что у него в сердце Бог.
- Нет, – засмеялся тихо дед. – Или у тебя в сердце Бог – и ты это знаешь точно. Или твое сердце – глиняная кошка с дырочкой для медяков.
- Почему же Бог так карает нас?
- Всех людей карает Адонаи Элогим за нарушенный завет, но другие народы рассеялись, как мякина на ветру, иссякли, как дождь на солнце, изржавели, как потерянный в борозде лемех. А мы живы. И несем память своих мучений.
- Дед, объясни, почему я, почему мой крошечный дом должны нести ужасное бремя страданий за давно нарушенный завет? Разве я виновата?
- Нет, Суламита, твоей вины нет. Когда ты родилась?
- Девятого тишри пять тысяч семьсот восьмого года.
- Видишь, как давно мы пришли! Дом твой – каменный стручок на усохшей ветке сгоревшего дерева. И сама ты – зеленый листок с дубравы Мамре. Не ищи простых объяснений, отбрось пустые слова. Ты – живая нитка вечной пряжи, протянутой сюда из нашего мира...
- Тающая темнота клубилась в окне. Дед замолчал. Теперь он будет молчать долго. Я встала с постели, прошла через комнату, и холодный пол нервно ласкал босые ноги. Уселась на подоконник и стала смотреть в пустой колодец двора. Угольная чернота ночи выгорела дотла, и со дна поднимался серый рассветный дым. Надсадно шипела где-то недалеко поливальная машина. Зябко. Я видела пролетающий над домом голубой ветер, он нес меня на себе, трепещущий зеленый листочек.
- И, закрыв глаза, слушала тонкий звон приближающегося света.
- Суламита! – шепнул дед.
- Что, дед?
- А почему он так смеялся, глядя на меня?
- Его рассмешил твой картуз, твои пейсы, твоё пальто, застегнутое, как у женщин, на левую сторону...
- Да-а? – озабоченно переспросил дед, подумал немножко и спросил ласково: – Суламита, дитя мое, может быть, им не надо показывать меня?
- Я слезла с подоконника, подошла ближе и посмотрела ему в лицо, и глаза его были в моих глазах. Блекло-серые, выгоревшие от старости. Девяносто четыре года. Какой он маленький! Сухие неподвижные губы.
- Дед, как же мне не показывать им тебя? Я последний побег твоей усохшей ветви. Ты – начало, я – конец, ты – память моя, а я – боль твоя, ты – разум мой, а я – око души твоей. Дед, ты – это я. А я – это ты...

3. Алешка. Сговор

Они жили в старом пятиэтажном доме, где-то за Сокольниками. Кажется, этот район называется Черкизово. А может быть, нет – я плохо разбираюсь во всех этих трущобах. Человеку, который здесь родился, не стоит на что-то надеяться – его жизнь всегда будет заправлена кислым тоскливым запахом нищеты.

Я шагал за Красным по темной лестнице и прислушивался к похмельной буре в себе, а Лева бойко, петушком скакал по ступенькам, и сзади мне видна была его тщательно зачесанная лысинка – белая, ровная, как дырка в носке. Он мазал свои волосенки «кармазином», и запах этой немецкой дряни пробивался даже здесь – сквозь кошачью ссанину и тухлый смрад плесени и пыли. Интересно, хоть какая-нибудь заваливающая бабенка любила Леву? С ним, наверное, страшно спать – просыпаешься, а рядом в сером нетвердом свете утра лежит на подушке покойник. Тьфу! Нет, с ним можно спать только за деньги.

На двери было четыре звонковые кнопки с табличками фамилий, и Лева, близоруко щурясь, елозил носом по двери, отыскивая нужный ему звонок. Сейчас он был особенно похож на крысу, принимающуюся к объедку, и я думал, что, как только найдет, сразу скусит пластмассовую кнопку. Но не скусил, а ткнул пальцем, дверь сразу отворилась, выкинув к нам на площадку обесчещенного папку – Петра Семеновича Гнездилова.

Я узнал его мгновенно, будто мы были сто лет знакомы, хотя, к счастью, я увидел его впервые. Бледное лицо, островытянутое, как козья сиська. Естественное благородное уродство сиськи было маленько попорчено толстыми роговыми очками.

– Здравствуйте, Петр Семенович. Моя фамилия – Красный, я с вами говорил по телефону. А это дядя Димы, известный советский писатель Алексей Епанчин...

– Очень приятно, читал я ваши юморески в «Литгазете» на шестнадцатой полосе. Приятно познакомиться.

Действительно очень приятно, просто неслыханно приятно познакомиться с таким известным писателем с шестнадцатой полосы! Да еще при таких возвышенных обстоятельствах!

Но он вовремя опомнился и сказал с горечью и гневом:

– Жаль только по печальному поводу...

А нахалюга Красный, не теряя ни мгновения, прямо тут же на лестнице бодренько воскликнул:

– Ах, Петр Семенович, голубчик вы мой, разве все в жизни считаешь – повод печальный, а может быть, радостью на свадьбе обернется!

И козья сиська глубокомысленно изрекла:

– Беды мучат, да уму учат!

Поволок нас Петр Семенович в комнату – по длинному, изогнутому глаголем коридору, забитому картонными коробками, деревянными ящиками, жестяными банками, цинковыми корытами, тряпичными узлами, бумажными пакетами и ржавыми велосипедами. Господи, откуда у нищих столько барахла берется?

– ...Мы в квартире наиболее жилищно обеспеченные... все-таки две комнаты... хоть и смежные... обещают дать отдельную квартиру... – блекотал Петр Семенович, – я слышал его будто через вату, оглохнув от ужаса предстоящего разговора.

Ввалились в апартаменты наиболее жилищно обеспеченного, и белобрысая ледащая девка с пятнами зелени на ногах порскнула в соседнюю комнату, откуда сразу раздался щелчок и гудение телевизора. Наверное, чтобы соседи не подслушивали.

Я сидел за столом напротив Петра Семеновича и почти ничего не понимал из того, что он говорил. А он и не говорил даже, а плевался:

– Ответственность... народный суд... родители отвечают... дочь на поругание... девичья честь... моральная травма, не считая физической... моя дочь...

Он плевался длинными словечками, липкими, склеенными в скользкие струйки, они шквалом летели в меня:

– Моральные устои... наше общество... тюрьма научит... мы, интеллигенты... нравственность... наша мораль... приличная девочка... законы на страже... моя дочь...

Я пытался сосредоточиться, вглядываясь в его рожу, и – не мог. Меня почему-то очень отвлекало то, что он называл свою приличную девочку «дочь», и наваждением билось острое желание попросить его назвать эту белобрысую говнису «дщерь» – я точно знаю, что такое бесцветное плоское существо надо называть «дщерь». Я не понимал, что мне говорит ее папка, потому что против воли все время думал про то, как ее насиловал Димка. Собственно, не насиловал – не сомневаюсь ни секунды, он ее «прихватывал». В чьей-то освободившейся на вечерок квартирушке набились вшестером-ввосьмером, и до одури гоняли магнитофон, и под эти душераздирающие вопли пили гнусный портвейн, и не закусывали, а подплатывали таблетки димедрола, чтобы сильнее «шибануло». И плясали, и плясали, а эта сухая сучонка елозила своими грудишками по нему, а он уже таранил ее в живот свои ломом, и ей это было приятно, она все теснее притиралась к нему, и он глохнул от портвейна, димедрола, музыки и этой жалобной плоти, которую и в пригоршню не собрать, а потом они – оба знали зачем – нырнули в ванную, заперли дверь и долго слюняво мусолили, пока он, разрывая резинку на ее трусах, запустил потную трясущуюся ладонь во что-то лохматое, мокрое, горячее, и для такого сопляка это стало постижением благодати, и остановить его могла только мгновенная кастрация, но никак не ее вялые стоны – «не надо, Димуля, не надо, ну не надо, я боюсь, я...» – а он уже там! Он уже урчит, поросенок, ухватившись за ее тощие ягодицы, и нет ему, гаду, никакого дела до того, что завтра за эту собачью случку надо будет: ему – в тюрьму, Антону – прочь с должности, а мне сидеть здесь и слушать этого смрадного типа...

С какой стати?

Меня больно ударил под столом Красный, и я сообразил, что неожиданно заорал вслух.

– Что «с какой стати»? – насторожился Гнездилов, и сиська его сразу надулась, покраснела, напряглась – сей миг ядовитое молоко брызнет.

– Не обращайтесь внимания, Петр Семенович, – подстраховал Красный. – Алексей, как все писатели, задумчив и рассеян. Так вот, я хотел сказать, что, может быть, они любят друг друга, зачем эта гласность, они ведь могут пожениться...

– Что же вы, Лев Давыдович, совсем меня за идиота держите? – обиженно засопел Гнездилов, толстые очки его вспотели. – Мы же интеллигентные люди, чай, не в старой деревне живем, где надо было – по дикости – позор женитьбой прикрывать, нам от такой женитьбы один наклад. А стыда мы, слава богу, не боимся – без стыда лица не износить, как говорят. Да и стыдиться нам нечего, это пусть такого выродка ваша семья стыдится. А моя дочь экспертизой освидетельствована именно как приличная девушка...

Наступила тишина за столом переговоров, только в соседней комнате горланил телевизор, гугниво и нагло, как пьяный.

Господи, как давно – сегодня утром – я был народившимся плодом... А проныра Лева снова сделал бросок, уцепился тонкой лапкой:

– Так если вы, Петр Семенович, возражаете против брака Галочки с Димой, то уж, сделайте одолжение, поясните свою точку зрения...

– А я не возражаю – хотят, пусть женятся. Это их дело, нынешняя молодежь сегодня женится, завтра расходится. Но я, как родитель моей единственной дочери, ее воспитатель, обязан думать о ее будущем. А поскольку ее будущему в результате насилия нанесен огромный ущерб, то я ставлю вам условие: или вы компенсируете в какой-то приемлемой форме этот

ущерб, или ваш пашенок пойдет в тюрьму... Это мое слово окончательное, и если вы не хотите ужасных неприятностей...

И по тому, как он визжал, вздрючивая свою нервную систему рептилии, я видел, что он опасается, как бы мы не ушли без возмещения ущерба.

– И мы полны стремления договориться о форме и размерах возмещения, – сладко буркотел Лев Красный.

Прислушиваясь к их сопению, возне и перепалке, я вспомнил, как у нас любили освещать в прессе любимый аттракцион загнивающего Запада: на потеху толстым буржуинам две голые бабы дерутся на ринге, залитом мазутом. Два противных мужика передо мной бились сейчас всерьез на ринге, залитом жидким дерьмом. К счастью, одетые!

– Пять тысяч!

– Две тысячи...

– Никогда! Пусть идет в тюрьму!

– Две с половиной... И женится.

– На черта он нужен! Четыре восемьсот! Молодо-зелено, погулять велено.

– Две семьсот. Это взнос за однокомнатный кооператив...

– Сами-то, небось, в трехкомнатной мучаетесь? Четыре шестьсот!

– Вас в трехкомнатную не примут... Две девятьсот.

– А где же ее, однокомнатную, взять? Пятьсот рублей – на взятку только!

– Три ровно! И мы устроим кооператив.

– Три с половиной! Ваш кооператив, и пусть женится, паскудник!

– Хорошо, три с половиной, наш кооператив, но без женитьбы... По рукам?

– Что взято, то свято... – умиротворенно заключил Петр Семенович Гнездилов и замотал довольно своей козьей сиськой. – Но деньги чтобы были сегодня у меня.

И похлопал конопатой ладонью по короткой жирной ляжке.

Красный водил «жигуль» так же, как носил свою нарядную одежду, – аккуратно и бережно. От изнурительности этого черепашьего движения, кармазинного запаха Левкиных волосиков, духоты и пузырящегося еще в желудке страха тошнота стала невыносимой, и на Садовой я заорал ему «Стой!», выскочил из машины и нырнул в магазин с застенчивой вывеской «Вино». Время подходило к двенадцати, и за час торговли водкой очередь уже прилично рассосалась – к прилавку, огражденному стальной звериной сеткой, стояло не больше человек тридцати. И несколько сразу повернулись ко мне:

– Тройть будешь?

– Возьмем пополам?

– Але, у меня стакан есть...

– Слышь, друг, дай семь копеек, на четверочку не хватает...

Страшная мордатая баба-торгашка с жестяным белым перманентом жутко крикнула из за прилавка:

– Ну-ка, не орать, алкаши! Щас всех отседа вышвырну! Прекращу продажу.

И все притихли, забуркотели негромко, забубнили на низких, и зрелище это было почище любой цирковой дрессуры – от одного окрика уселись на задние тридцать черных, трясущихся, распухших, разбойного вида мужиков. И правильно сделали, потому что там, за стальной сеткой, в бесчисленных ящиках стоит себе в зеленых бутылочках сладостный нектар, единственное лекарство, одна радость, дающая и веселье, и компанию из двух других забулдыг, и свободу, и счастье. Водочка наша нефтяная, из опилок выжатая, ты же наша жизнь! Пока ты льешься в наши сожженные тобой кишки – весь мир в тебе, и мир во мне.

И над всем этим счастьем хозяйкой вздымается мордатая торгашка. Захочет – опустит сетку над прилавком, краник кислородной подушки перекроет. Напляшешься тут перед ней, как висельник на веревке, наунижаешься вдоволь, пока эта сука краснорожая смилостивится.

А чего поделаешь? Все тут ей должны и обязаны – один пять копеек, другой бутылку не вернул, третий до одиннадцати бутылку выпросил, а четвертый – после семи. И не вякни – вся милиция окрестная у нее в подсобке отоваривается. И четвертинки всегда в дефиците, так если она хорошо относится – сама по полбутылки разольет и с маленькой наценочкой отдаст. Нет, не денешься никуда – в соседний-то магазин бежать глупо, там ведь тоже в очереди снова час стоять, и другая мордатая грозная торговка, да и за всяким другим прилавком в сотнях тысяч лавок со стыдливой надписью «Вино», которого сроду там и бутылки не было, а только нефтяная да древесная водка и кошмарные спиртовые опивки с краской под названием «портвейн» – везде стоят эти страшные бабы.

Об этом я подумал как-то мельком, подтираясь поближе к прилавку, и очередь не слишком на меня заводилась – потому как не знали еще, с кем я троить или половинить стану. Только вяло сопротивлялись, сдвигаясь тяжелыми плечами, и шел от них невыносимый дух перегара, табачища, немытого пота, подсохшей вчерашней блевотины. Кабы старик Перельман – автор «Занимательной арифметики» – ходил в водочные магазины так же часто, как я, наверняка построил бы он красивый арифметический этюд: «Если всех людей, которые каждый день стоят за водкой во всех питейных заведениях, выстроить в одну шеренгу, то получилась бы очередь от Земли до Луны...»

Торговка привела очередь к порядку и стала снова отпускать бутылки. Но тут же все застопорилось: из толпы выскочила на середину тесного магазина полупьяная девка с огромным переливчатым фингалом, похожим на елочную игрушку, и стала плясать. И громко петь при этом:

– Я тя, Клашка, не боюсь.
Голой жопой обернусь,
Поцелуй меня ты в зад,
Коль частушечка не в лад!
Ух-ты, ах-ты, все мы – космонавты!

Очередь довольно захохотала, заерзала радостно, а торговка Клашка подняла свою бычью голову и сказала мрачно, полным ртом:

– Параститутка. Вон отседова! А вы, пьянюги паскудные, пока не вышвырнете ее – банан сосите, а не водку...

И грохнула сетку вниз. И звериная тоска заполнила магазин.

– Фроська, сука, че натворила?

– Фроська, голубушка, иди себе, не даст она тебе все равно...

– Достукаешься, Фроська, посадит она тебя...

– Фрося, брысь на улицу, мы тебе сольем...

– Фроська... Фросинька... Фросюка... Фрося...

И поволокли ее, упирающуюся и матерящуюся, из магазина. И обратно – к сетке:

– Кланя!.. Клаша!.. Клавочка!.. Клавдия Егоровна!..

А я-то – уже перед сеточкой! Я-то своих собратьев соплеменных хорошо знаю – никто под злым оком Клавдии Егоровны не посмеет стоять столбом, когда есть команда вышвырнуть Фроську взашей! Нельзя не обозначить активного участия в выдворении нечестивки из храма людской радости, когда верховная жрица Клашка уже опустила большой палец долу. И пока проводилась карательная экспедиция, я уже пророс сквозь сетку четырьмя рублями и паролным кличем: «Без сдачи!»

Заворошились, закипели, задундели, вскрикнули, пронзительно заголосили разом:

– Гад... паскудина... Кланы – не давай... Сукоед... без очереди... а мы – не люди?... потрох рваный... не давай... долбаный... курвозина поганая... Васька, держи... без очереди... сучара хитрожопый... ж-и-и-д!.. жид!..

А Клавдия Егоровна, нежная душа, повела взором на них суровым, а мне тепло улыбнулась – фунт золота в пасти показала – и сказала доверительно:

– Вот темнота-то, житья от них нет, пьянь проклятая, – и гаркнула коротко: – Молчать! Тихо!..

И все замолчали, задышали гневно, и успокоились, и стихли. И стоил их протест ровно тридцать восемь копеек сдачи, которые я оставил голубице Клаве. По копейке на рыло. А она мне к бутылке еще дала соевый батончик – закусить. И пока я шел к двери мимо очереди, они все бурчали обиженно, но вполне миролюбиво:

– Ишь, шустрик нашелся... тоже мне ловкач – хрен с горы... а мы что – не люди?..

Я ответил последнему коротко:

– Вы – замечательные люди...

Отверженная Фрося сидела на ящике неподалеку от дверей магазина. Грязными пальцами она ласкала свой бирюзовый синяк и тихонько подвывала. Эх, художнички-передвижнички, ни черта вы в жизни не смыслили. Вот с кого надо было писать «Неутешное горе». Я сорвал фольговую пробку, крутанул бутылку и сделал большой глоток.

Ослеп. Слезы выступили на глазах, я задохся, и водка раскаленным шаром стала прыгать вверх-вниз по пищеводу – между гортанью и желудком, еще не решив – то ли вылететь наружу, то ли сползти в теплую тьму брюха. Пока не просочилась все-таки вниз. Прижилась. И сразу стало легче дышать, и тяжесть в голове стала редеть, тоньшиться и исчезать. Откусил полбатончика, разжевал и сразу же махнул второй раз из бутылки.

И на душе полегчало, и мир стал лучше. И полбутылки еще оставалось. Подошел к Фросе, толкнул ее в плечо:

– На, Фрося, выпей... – поставил на асфальт бутылку и сел к Левке в машину.

– Что ты там делал? – спросил он, притормаживая у Колхозной площади.

– Я хотел ледяной кока-колы или оранжада, но эти странные люди почему-то назвали меня жидом. Черт побери, как обидно, что у нас есть еще отдельные несознательные люди, чуждые идеям интернационализма.

– К счастью, их совсем мало, – серьезно ответил Красный. – Миллионов двести.

– А куда ты дел остальные шестьдесят? – поинтересовался я.

– Они еще не слышали про жидов. Но все впереди... Культурный рост малых народов огромен.

– Не сетуй, Лева. Вы платите незначительные проценты на прогоревший политический капитал ваших отцов и дедов.

– А почему мы должны платить? – спросил Лев. – Почему именно мы?

– Читай историю. Ваши деды и отцы все это придумали. И уговорили, конечно, не немца, и не англичанина, и не француза, а самого легковверного и ленивого мужика на свете – русского, что, мол, можно построить рай на земле, где работать не надо, а жрать и пить – от пуза...

– Этому вас на политзанятиях в Союзе писателей учат? – поинтересовался Красный.

– Нет, этому нигде у нас не учат. Это мне пришлось самому долго соображать, пока я не понял, что коммунизм – это еврейская выдумка. Воображаемый рай для ленивых дураков.

– Алеша, а ты не боишься со мной говорить о таких вещах? – сказал безразличным голосом Красный, но я видел, как у него побелели ноздри.

– Нет, не боюсь.

– Почему?

– Потому что ты еврей. Во-первых, тебе никто не захочет верить, понимаешь – не захотят. Я – советский ариец. А ты еврей. А во-вторых, благополучие всех Епанчиных – это и твое благополучие. Антон – это сук, на котором ты надеешься просидеть до пенсии...

– Что ж, все правильно, – пожал он замшевыми плечиками.

Тут мы и подъехали к дому на улице Горького, на подъезде которого висела тяжелая парадная доска: «Главное управление по капитальному ремонту жилых домов Мосгорисполкома». Заперли машину и пошли к Антону.

4. Ула. Моя родословная

Еще ночь, но уже утро.

Таинственный миг суток – из черных чресел ночи рождается день.

Сумрак в комнате – не свет, а рассеянные остатки тьмы.

Размытое пятно на стене – драповое пальто деда, застегнутое на левую сторону.

Фибровый чемодан на полу раскрыт. Это наш родовой склеп. Это пантеон. Семейная усыпальница. Картонный колумбарий. Святилище памяти моей. Мое наследство – все, что мне досталось от умершей тети Перл. Чемодан полон фотографий. Там – мы все.

В рассветный час ожидают бессмертные души давно ушедших людей. По очереди, но очень быстро они заполнили мою маленькую квартиру – кирпичный стручок на усохшей ветви давно сгоревшего дерева ситтим, драгоценного дерева Востока.

Сядьте вокруг нашего деда, древнего Исроэла бен Аврума а Коэн Гинзбурга. Сядьте вокруг, семя его и ветви его. Сядьте, праведники и разбойники, мученики и злодеи. Сейчас вы все равны, вы все уже давно за воротами третьего неба. А судить вас пока никто не вправе – еще не выполнен завет, но ветви срублены и семя втоптанно в камень.

Сядь, бабушка Сойбл, вот сюда, в кресло, по левую руку деда. Это твое место, ты занимала его сорок два года – всем на удивление, всем на зависть. Сочувствием, вздохами, усмешками провожали под свадебный покров «хыпу» тебя – нищую восемнадцатилетнюю красавицу, принятую в дом завидным женихом – богатым купцом Гинзбургом, имеющим сто сорок тысяч рублей, три магазина, четырех детей и пятьдесят два года от роду. И бежал по местечку Бурбалэ-сумасшедший, и кричал нараспев: «...и была девица Ависага Сунамитянка очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, и лежала с ним, и давала тепло состарившемуся Давиду, но царь Давид не познал ее...»

И смеялся мой дед над сумасшедшим Бурбалэ, и познал тебя, бабушка Сойбл, и была ты ему сладостна, как мед, и радостна, как вино, и животворна, как дыхание Господне. Двенадцать сыновей и дочерей ты подарила деду, и в твоей огромной любви к нему пробежали годы, долгие десятилетия, и за то, что прилепились вы так друг к другу, Бог даровал вам величайшую радость – вы умерли в один день, в один час, в один миг.

Двенадцать детей, двенадцать колен, двенадцать ветвей. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом; время рождаться и время умирать...»

Все вы собрались ко мне, кроме дяди Иосифа, седьмого сына, потому что он один еще жив. Но он никогда здесь не бывает.

Присел на стул у окна Абрам – первенец, умница, талмудист и грамотей, лучший ученик иешибота, которого в тринадцатом году возили к виленскому цадику, и старый гуэн сказал: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше дня рождения», и все поняли, что уготована Абраму стезя еврейского мудреца и святого. А он спутался со студентами-марксистами, попал в тюрьму, вышел большевиком, стал комиссаром и секретарем Уманского горкома ВКП(б), и не было лучше оратора, когда с трибуны, обитой кумачом, разъяснял людям политику «на текущем моменте». Момент тек и тек, пока его светлые воды не подхватили дядю Абрама и не снесли в подвал областного НКВД, и дядя Иосиф слышал из соседней камеры, как

волокли по коридору Абрама на расстрел и он кричал силным, сорванным голосом, захлебываясь кровью и собственным криком: «...Товарищи!.. Коммунисты!.. Это секретарь горкома Гинзбург! Происходит фашистская провокация!.. Товарищ Сталин все узнает! Правда восторжествует! Да здравствует товарищ Сталин!..»

У Абрама с его женой Зинаидой Степановной Ковалихиной, заведующей наробразом, детей не было. Наверное, потому, что они были старыми товарищами по партии и дети отвлекали бы их сначала от революции, затем от мирного строительства, а потом от текущего момента. В газете «Уманская правда» Зинаида Степановна напечатала письмо, в котором известила своих единомышленников и прочее народонаселение, что очень давно замечала у своего мужа бундовские замашки, меньшевистские шатания и троцкистское вероломство, всегда давала им твердый большевистский отпор, в связи с чем он затаился, пробрался к руководству городской партийной организацией и где только мог пытался троцкистско-зиновьевски-каменевско-бухарински вредить партии и родному народу, пока пламенные чекисты, возглавляемые железным наркомом – дорогим товарищем Ежовым, – не сорвали лживую маску с его звериного облика замаскировавшегося фашиста и врага народа. В связи с чем она официально отрекается от него.

Я видела ее однажды – седенькая говорливая старушка с безгубым ртом, в грязной кофте с орденом на отвороте. Она работала директором Музея революции СССР.

А тогда – жарким страшным летом 1937 года – сидел дед на полу в комнате с занавешенными окнами, перед семью негасимыми свечами священной меноры и в плаче и стенаниях просил неумолимого и милосердного Господа, чье сокровенное имя Шаддаи, чтобы растворил он двери третьего неба и впустил грешную душу любимого сына-мешумеда и соединилась бы она там с душами еще двух братьев – Нухэма и Якова.

Вот они – и здесь они стоят в разных углах, и здесь они во всем различны. Огромный, под потолок, дядя Нухэм, в кубанке, весь в ремнях, со шпорами на коротких сапожках. Краснознаменец, кавалерист, пограничник. Дядя Яков, печальный, тихий человек в очках без оправы, шмурыгающий от непроходящего насморка носом. Учитель, книжник, сионист.

Четверть века топтал землю толстыми ногами дядя Нухэм. И много преуспел. Гулким ручьем пустил он по земле кровь человеческую – Кронштадтский мятеж он подавлял, и в расстреле Колчака участвовал, и бандитов-антоновцев ловил. Но дядя Нухэм знал не только, как лучше наладить сельское хозяйство и устроить прекрасную жизнь русским крестьянам. Позвали – и он поехал устраивать счастье дехкан и скотоводов в Среднюю Азию.

Тогда еще все были живы – все двенадцать ветвей, все двенадцать детей, и дед в тоске говорил сыну – красному командиру: ты красен, как раскаленный нож, ты красен, как лицо греха, ты красен, как безвинно пролитая кровь. Остановись, сын мой!

«Лучше ходить в дом плача об умершем, чем в дом пира – ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу...»

Но душа Нухэма уже омертвела, заржавев от пролитой крови.

Он уехал усмирять басмачей, диких бедных людей, которые никак не соглашались отдавать пищу, кров, жен и своего Бога. Нухэм хотел превратить их дом плача в общий дом пира. И басмач прострелил ему голову.

И сказал дед в скорби и слезах: «Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?»

А дядя Яков – читал, учился и учил. Бог не дал ему орлиного глаза, глаза Нухэма, и потому взирал он на жизнь не через прорезь прицела, а сквозь тяжелые крученые буквы старых пергаментов. Когда-то он прочитал книгу доктора Теодора Герцля, и взор его был обращен в прошлое, которое провиделось ему днем завтрашним. Кончается пора диаспоры – пришло время собираться на берега Сиона, где все мы будем мирно, трудолюбиво и радостно счаст-

ливы. Он проповедовал перед своими друзьями и влюбленно смотрящей на него женой Ривой, и щеки ее рдели от восторга и чахотки.

А дед грустно смотрел на друзей и учеников Якова, качал головой и мягко объяснял сыну: «Есть время искать, и время терять, время молчать и время говорить...»

Они исчезли однажды ночью, будто архангел Метатрон унес их в преисподнюю. Осталась от них на руках у бабушки Сойбл четырехлетняя тихая девочка Мифа и пришедшее полгода спустя уведомление о том, что они приговорены к десяти годам без права переписки. Еще через полгода пришел конверт, надписанный чужим почерком, и записка, что письмо нашли на рельсах железной дороги около деревни Погост под станцией Тайга. А в самом письме был написан адрес деда, и замученными буквами выведены слова: «Прощайте. Мой Иерусалим близок. Един и велик наш Господь. Целую вас, сохраните дитя. Яша».

И ледовитая серая вода безвременья сомкнулась над ними.

А посреди комнаты на табурете сидит тетя Рахиль и весело безмолвно смеется – на всех фотографиях она смеется, не улыбается, не усмехается, а от всей души хохочет. Смеясь, она писала стихи, смеясь, поступила в театр, смеясь, познакомилась со своим Иваном Васильевичем Спиридоновым, смеясь, шутки ради вышла за него замуж, смеясь, всем отвечала: «То, что вы говорите, я уже когда-то от кого-то где-то слышала, а то, что говорит он, я не слышала никогда». Знаменитый летчик, высокий, молчаливый, красивый, очень спокойный, он улетал на Чукотку, на КВЖД, в Испанию, на Халхин-Гол и возвращался неизменно спокойный, молчаливый, застенчивый – с новыми шпалами, ромбами, орденами и звездами. А Рахиль смеялась и терпеливо ждала и смеялась, когда он прилетал. Она носила огромную широкополую шляпу, горжет из чернобурок, бриллиантовые кольца и серьги, она была первой в Москве женщиной, которая научилась водить автомобиль и ездила за рулем «эмки», подаренной Спиридонову правительством. Она ходила на приемы в Кремль. И там, наверное, тоже смеялась, показывая свои жемчужные зубы.

Но у Спиридонова отобрали «эмку», ромбы, ордена, небо, набили грудь свинцом и засыпали красной тяжелой глиной в одной яме вместе с другими семнадцатью авиационными генералами, которые теперь – голые, синие, скрюченные, изуродованные – были мало похожи на сталинских соколов, и каждый бы поверил, что они враги народа.

Не знаю, смеялась ли Рахиль, когда ее допрашивал заместитель наркома госбезопасности Фряновский – басистый наглый кобель с двуспальной кроватью при кабинете, но «нет» она говорила твердо. Эти кавалеры – крутые ребята, и она пришла в лагерь уже с выбитыми зубами.

Двадцать лет назад тетю Перл разыскала подруга Рахили по лагерю и рассказала, что в 1946 году их вели колонной по Дубне, где уже работали над созданием нашей мирной атомной бомбы. Рахиль выбежала из строя за брошенной прохожими краюхой хлеба, и ее тут же срезал автоматной очередью конвойный-киргиз.

Конвоир не знал мудрости деда и не ведал слов Екклезиаста: «Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни». Конвоир не думал о том, что брат Рахиль – Нухэм разорил его дом и убил его отца-басмача, перед тем как другой басмач – брат конвойного-киргиза – застрелил Нухэма.

Киргиз был простым мирянином новой религии и аккуратно исполнял ее первый завет: «Руки за спину, шаг влево, шаг вправо считается за побег, конвой стреляет без предупреждения».

Конвой стреляет без предупреждения. Стреляет, стреляет, стреляет.

Старая ээчка, подруга Рахили, со слезами вспоминала ее – какая была добрая, веселая, отчаянная евреечка. Голодно, плохо, а она всегда смеялась. Все зубы выколотили, а она им назло смеялась!

Мне часто снится смеющаяся беззубым ртом Рахиль.

Дядя Меер, белокурый гигант, судья и мудрец среди одесских биндюжников, неспешно мнет толстыми пальцами сыромятный кнут. Его мир был пирамидой спокойной необдумываемой любви, на вершине которой находились три дочери – такие же крупные, рыжеватые и доброжелательные, как его лошади Зорька и Песя. После лошадей место в его сердце принадлежало покорной тихой жене Мирре, затем шли его друзья – бывший налетчик Исаак Ларик, мясник Мойша Зеленер, биндюжник Шая Гецес и дантист Тартаковер. Как атланты, держали они на себе его мир, в котором было полно веселья, драк, грубой ругани, несокрушимого товарищества, добрых шкаликов под кусок скумбрии с помидорами, имелись место в синагоге и единственная постоянная надежда – смысл и цель жизни – хорошо выдать замуж девочек. С добрым приданым, с шумной свадьбой на всю Мясоедовскую, с почтенными мехетунэм (родители жениха).

Но на верных своих лошадаках отвез Меер дочерей не к венцу, а к последнему поезду, уходящему в тыл. Посадил в вагон, оторвал полсердца и отправился на призывной пункт. И пирамида, которую он возводил целую жизнь, положив в фундамент весь добрый мир людей, рассыпалась на глазах. Под Житомиром прорвавшиеся немецкие танки в упор расстреляли поезд и всех пассажиров сожгли, перебили, изорвали гусеницами. Не вернулся из разведки Исаак Ларик. Убило бомбой Мойшу Зеленера. Повесили на Привозе Шаю Гецеса. Сгорел в крематории, пролетел черным дымом над польскими полями дантист Тартаковер. И билась на земле в пене, хрипя и дергая ногами, лошадь Зорька, пока Меер с татаринном Шамсутдиновым стреляли из последней уцелевшей пушки по приближающимся черным крестам. И тогда Господь дал ему наконец отдохновение от непосильной ноши из обломков разрушенной пирамиды – упал, обхватив землю огромными руками, последним усилием пытаясь удержать расколовшийся шар, и стало легко, и дед шептал в изголовье: «Участь сынов человеческих и участь животных – одна участь: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом...»

Тень дяди Мордухая быстро ходит по комнате – он никогда не мог спокойно сидеть на месте, он всегда куда-то торопился – на субботник, на партсобрание, на маевку. Он был общественник, рабкор, ворошиловский стрелок, ударник Осоавиахима, член МОПРа, профсоюзный активист и страхделегат. Дядя Мордухай любил песню «Еврейская комсомольская» и стыдился политической отсталости деда. Он объяснял деду, что только социализм смог наконец решить еврейский вопрос и теперь задача евреев, сохраняя свой язык для семейного общения и нереакционные традиции для истории, полностью раствориться в великой пролетарской культуре русского народа. Он носил бархатную толстовку и ругался неуверенным матерком. На праздники дядя Мордухай запевал – и остальных настоятельно просил подпевать – заздравную песню «Лейбн зол дер ховер Сталин, ай-яй-яй!» – «Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй!».

Он уехал в Биробиджан строить еврейскую государственность, редактировал там газету, писал боевые письма о том, что только глупцы и слепые не видят, как здесь, в вольной семье нанайского и удэгейского народов, евреи обрели наконец свою историческую родину.

В дяде Мордухае социализм потерял верного, надежного строителя, когда в 1952 году у выдумщиков очередного антисоветского заговора не хватило для пасьянса шестерки – какого-нибудь шумного еврея. И ангел смерти Саммаэль уронил со своего меча огненную каплю на общественника-выкреста Мордухая Гинзбурга. За восемь дней заговор был раскрыт, обезврежен, расследован и покаран.

В прошлом году меня разыскал его сын Иосиф – усталый медленный человек с сизыми стальными зубами. Он хотел познакомиться, повидаться, попрощаться. И уехал в Израиль. В аэропорту мы стояли, обнявшись с этим незнакомым человеком, и тихо плакали. Его слезы были на моем лице, и он сдавленно говорил: «...Суламита, девочка моя, поехали отсюда, я – слесарь, у меня золотые руки, для тебя всегда будет кусок хлеба...»

И безликими тенями суетились и печалились среди своих маленьких детей тетя Бася и тетя Дебора – я никогда не видела их лиц, не сохранилось даже фотографий. Адское пламя испепелило их следы на земле. В моем пантеоне нет их лиц – только имена – тетя Бася и ее муж дядя Зяма, их дети Моня, Люся и Миша. Тетя Дебора с дядей Илюшей и сыновьямилевой и Гришей. Все безмолвно сошли в Бабий Яр, фашисты лишили их души, плоти и имени, и изгладилась память о них. Искру памяти мне передала тетя Перл, на мне кончаются все те пути.

«...Напрасно пришли вы и отошли во тьму, и ваше имя покрыто мраком...»

А ты, юная веточка дедовского дерева, молодой веселый инженер Арончик? Ты говорил, что нет Бога, а есть материя. Нет духа, а есть энергия. Нужна не новая религия, а новая технология. Мир устроит не Мессия, а технический прогресс. Людям нужны не пророки, а инженеры.

Ты оказался прав. Инженеры сделали техническое чудо – «мессершмит». Дали ему энергию бензина, полученного по новой технологии из каменного угля. Он взлетел легко, как дух, и под Прейсиш-Эйлау испарил твою материю. И ты вернулся к своему Богу, ибо он начало и конец вечности. А деда уже не было, чтобы благословить тебя напутственно: «Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах...»

Адонаи Элогим, великий Господин мой! Как я устала! Я истратила все силы, чтобы собрать вас и оживить. Зачем? Не знаю...

Мы пришельцы из другого мира. Верю в тебя, Господи, пославший нас из тьмы в эту жизнь. Мы не умираем, пока хоть одна ниточка вечной пряжи хранит в себе память об ушедших. Мы вечны, пока храним огонь завета. И я не могу умереть, не передав нить памяти идущим за нами...

Все исчезли, отлетели от меня. Только лицо отца и мамы ясно светили передо мной. Но и они стали меркнуть, расплываться, рассеиваться.

– Подождите! – попросила я. – Мне надо спросить вас...

Покачал головой отец:

– Я знаю, о чем ты хочешь спросить... Но нас нет... Давно... Мертвые ничему не могут научить живых... Прощай, Суламита... Реши сама...

И мама шепнула:

– Как трава, увядаем мы в мире сем...

И дед пошевелил губами:

– «Род приходит, и род проходит, а земля пребывает во веки». Аминь...

В смятении и бессилии я заплакала. И сошла большая тишина.

5. Алешка. Игры

Антон расстроено смотрел по телевизору вчерашний футбольный матч. Увидев нас, с досадой показал на экран:

– Вот времечко-то пришло! Никто ничего не хочет! Инженеры не думают ни хрена, рабочие не работают, футболисты бегать не желают...

Со злостью нажал выключатель и пошел к нам навстречу:

– Здорово, братушка! Как хорошо, что ты здесь, малыш...

– Здорово, Антошка, – обнял я его. – А что толку с меня?

– Не скажи, – качнул своей лобастой огромной башкой Антон. – В делах-делишках ты, конечно, человек бестолковый. Но я люблю, когда ты рядом. Мне – увереннее...

Мы сели за боковой стол – красного дерева аэродром, затянутый зеленым сукном. Антон нажал кнопку, мгновенно в дверях выросла секретарша Зинка. Я уверен, что Антошка с ней живет – он вообще любит таких икрных задастых баб с толстыми ногами и чуть уловимым горьковатым запахом пота...

– Гони кофе и коньяк. Тот, что мне армяшки привезли... – А нам скомандовал: – Докладывайте, бойцы, хвалитесь успехами... Эх, мать твою за ногу, не было печали...

Так и сидели мы в конце необъятного стола, грустные, озабоченные, а на другом конце незримо витала тень Петра Семеныча с белесой дочерью, и никогда я еще не видел Антона таким озабоченным и неуверенным – может быть, потому, что он привык за этим столом обсуждать проблемы капитального ремонта ЧУЖИХ домов, а сейчас нам надо было сохранить от разрушения СОБСТВЕННЫЙ дом Антона.

Красный сидел олеворучь Антона, молча и внимательно смотрел ему в лицо. А раз он молчал, несмотря на команду докладывать, значит считал, что это правильнее сделать мне. И весь Лева – маленький, смугло-желтый, крючконосый – рядом с громадным Антоном был похож на ловчего ястреба, севшего на плечо к хозяину и в любой миг готового сорваться в атаку.

– Ее отец требует три с половиной штуки. И однокомнатную квартиру в кооперативе, – сообщил я.

– Ничего, побаловал сыночек, – тяжело помотал Антон головой.

– Надо будет объяснить Диме, что ты оплатил ему наперед батальон проституток, – пожал я плечами.

– А на роту вы не могли сговориться? – недовольно поинтересовался Антон у Красного, и Лев злобно поджал сухие синие губы.

– Не напирай, Антошка, – вмешался я. – Мы бы с тобой от этой сволочи дивизией не отбились.

– Да ты не обижайся, Лева, – надел бархатный колпачок на своего ловчего Антон. – Ты ведь знаешь – откуда мне такие деньжища взять?..

Вошла Зинка с подносом, на котором были тесно составлены рюмки, чашки, кофейник и бутылка золотого «Двина». Она все это расставляла по столу, и салфетки поправляла, и несуществующую пыль сметала, и к двери отходила, и вновь возвращалась – за бумагами, вроде бы забытыми, и коль скоро Антон не приглашал остаться, то хотелось ей хоть краешком уха уцепить, о чем здесь беседа идет. Но мы все молчали, пока она крутилась в кабинете и когда по первой стопе врезали, и лимончиком закушали, и кофе отхлебнули. А я подумал о том, что полжизни уже прожил, но никогда еще не покупал себе коньяк «Двин». И Антон не покупал. Ему армяшки привозят.

Я думаю, у нас никто легально не зарабатывает таких денег, чтобы покупать «Двин». Его выпускают специально для жуликов, которые привозят подарки начальству. Никого больше не интересуют борзые щенки – все мечтают о выпивке и закуске.

Антон, будто почувствовал, о чем я размышляю, и сказал Красному с досадой:

– Лева, ну где же мне взять три с половиной тысячи? Я ведь взятку не беру!..

– Надо думать, – осторожно сказал Красный.

– Думай, Лева, думай, ты у нас самый умный. Если не придумаешь, нам сроду не придумать. – Антон повернулся ко мне и сказал: – Ты знаешь, Алешка, я только недавно сообразил, почему начальникам платят такую маленькую зарплату...

– Ну скажем прямо, не такую уж маленькую, – усмехнулся я. – Пятьсот рублей, плюс спецкотлеты, плюс казенная дача, плюс казенная квартира, плюс казенная машина с двумя шоферами, плюс путевки, плюс бесконечность богатств нашей родины...

Антон не разозлился, а терпеливо сказал:

– Мальш, я не о том. Мне представляют бесплатные блага, которые в Америке может себе позволить только миллионер. А денег – как паршивому безработному негру. Смекаешь почему?

Я незаметно показал ему глазами на Левку – не стоило при нем все это обсуждать. Но Антон махнул рукой:

– Перестань! Левка – свой человек. Без него я бы не допер до всего этого.

Я пожал плечами:

– Так чем же ты недоволен, начальствующий диссидент?

– Зарплатой. Ты понимаешь, ИМ не жалко платить мне и три тысячи в месяц. Но не хотят. Нарочно не хотят...

– Почему?

– Чтобы не забаловал. Все мои блага – пока я сижу в этом кресле. А на сберкнижке у меня ноль целых хрен десятых. И если меня вышибают, я сразу становлюсь полным ничтожеством. За моей спиной всегда маячит бездна нищеты. И это гарантия: нет в мире мерзости, которой я бы не совершил, чтобы удержаться на своем месте...

– Перестань, Антошка, не надо, – попросил я, мне было невыносимо больно слушать его горестно-сиплый шепот, боковым зрением видеть алчно-стеклянный ястребиный глаз Левки, пронзительно желтый за толстыми стеклами очков.

Антон налил до краев большую рюмку коньяком и разом проглотил ее. Хлопнул ладонью по сверкающей полированной закраине столешины:

– Все! Поговорили, хватит. Какие есть идеи, Лева?

– Первое. Продать ваш «жигуль»...

– Не годится, – отрезал Антон. – Мне сейчас на «жигуль» наплевать, но за один день его не продашь...

– Если договориться, деньги могут выдать вперед.

– Я не могу сейчас продавать машину, которую я купил три месяца назад из спецфонда. Понятно? Меня не поймут... Там... – И он показал большим пальцем куда-то вверх.

– Второе, – кивнул Левка, сняв с обсуждения первый вопрос. – Занять на какое-то время деньги у Всеволода Захаровича. Он только что из-за границы, у него наверняка есть деньги...

Мы с Антоном переглянулись и, несмотря на серьезность момента, захохотали. Только сумасшедший или незнакомый мог рассчитывать перехватить денег у нашего брата Севки. Мамина кровь.

– Не глупи, Лева, – замотал головой Антон. – Наш братан – скупец первой гильдии. Он, кабы мог, деда родного похоронил у себя на даче, чтобы сэкономить на удобрениях. И вообще, его ни в коем случае трогать не надо, у него на беду нюх собачий. Сразу же пристанет – зачем? почему? что случилось? Ну его к черту...

Антон встал из-за стола, прошелся по огромному кабинету, остановился у окна, тоскливо глядя на улицу.

– Господи, где же денег взять? Из-за такого дерьма вся жизнь рушится. – Он взглянул на меня и сказал горько: – Вот тебе и Птенец...

И я вспомнил, что Антон и его идиотка-жена всегда называли Димку Птенцом. Не знаю, откуда взялось это непотребное прозвище, но они называли его только так – наш Птенец. Птенец уже не писается, Птенец обозвал бабку душой, Птенца вышибают из школы, Птенца устроили в Институт международных отношений.

– В чем же дело? Мы ведь росли как трава! А я Птенца тяну с третьего класса. Постоянно репетиторы, то отстал по русскому, то схлопотал пару по алгебре, то завалил английский. Потом – институт! Хвост за хвостом. И все время – подарки учителям, подношения экзаменаторам, услуги деканам. Этому – ондатровую шапку, этому – ограду на кладбище, этому – путевку в санаторий, этого – устроить в закрытую больницу, этого – вставить в кооператив, этому – поменять квартиру. И вот перешел Птенец наконец на четвертый курс, я уж решил, что все – конец моим страстям, вышел человек на большую дорогу, вся жизнь впереди... А он мне вот что подсуropил...

Я смотрел на Антошку и думал о том, что ни один человек в беде себе не советчик, и в делах своих не судья, и самый умный человек не слышит, что он несет в минуту боли и потерянности чувств. Птенец с большой дороги и белесая дочь.

В дверь засунула голову Зинка:

– Антон Захарович, к вам с утра рвется Гниломедов. Что?

– Пусть зайдет...

Гниломедов вплыл в кабинет – не быстро и не медленно, не суетливо и не важно, а плавно и бесшумно, и огибал стол он легким наклоном гибкого корпуса, и ногами не переступал по ковру, а легко взмахивал хвостовыми плавниками на толстой платформе, и кримпленовый костюм на нем струился невесомо, как кожа мурены, и можно было не сомневаться, что нет в нем ни одной косточки, а только гладкие осклизлые хрящи, сочлененные в жирно смазанные суставы.

И на изморщенной серой коже – дрессированная улыбка из дюжины пластмассовых зубов. Он наверняка дрессировал по вечерам свою улыбку, мял и мучил, он занашивал ее на харе, как актер обминает на себе театральное платье.

– Хочешь коньяку? – спросил Антон.

– Я бы с удовольствием, – выдавил из пасти еще пять зубов Гниломедов. – Но мне же к трем часам в партконтроль...

– Ах да! Эта напасть еще... – сморщился Антон. – Ты, Григорий Васильич, подготовил покаянное письмо?

– Конечно, – раскрыл папку Гниломедов. – При проверке факты подтвердились в целом, проведено совещание с руководителями подразделений, начальник СМУ-69 Аранович освобожден от занимаемой должности, начальнику управления механизации Киселеву строго указано...

– Подожди, Григорий Васильич, а что с бульдозерами?

– Тут написано. – Гниломедов взмахнул бумагой. – Как вы сказали, Антон Захарыч, бульдозеры сданы на базу вторчермета как металлолом...

Я ждал, что тут Гниломедов от усердия взмахнет хвостом, стремительно и плавно всплывет под потолок, сделает округлый переворот и вверх брюхом, как атакующая акула, поднырнет к столу. Но он, наверное, не успел, потому что Антон спросил мрачно:

– А Петрович все проверил?

– Безусловно – копии накладных предъявлены в УБХСС...

Как первоприсутствующий в своем заведении, Антон говорил всем подчиненным «ты», но это бесцеремонное «ты» имело много кондиций. Первому заместителю Гниломедову он говорил «ты, Григорий Васильич». Второму заму Костыреву – «ты, Петрович». Своему помощнику Красному – «ты, Лева». Начальникам поменьше – «ты, Федоркин». А всех остальных – просто «ты», ибо дальше они утрачивали индивидуальность и растворялись в святом великом понятии «народ».

Красный повернул к Гниломедову свою острую рожу:

– Григорий Васильич, вы в партконтроле напирайте на то, что УБХСС к нам претензий не имеет...

– А почему вы думаете, Лев Давыдыч, что обэхаэсэсники не будут иметь к нам претензий? – сладко улыбнулся ему Гниломедов, мягко вильнул верхними плавниками.

– Я вчера говорил с начальником хозуправления МВД Колесниковым – они нас просили включить в план капитальный ремонт трех зданий.

– И что? – заинтересовался Антон.

– Ну, я ему ласково намекнул – включить могли бы в этом году, да его же коллеги не дают работать, нервируют коллектив. Если он с ними договорится – мы сразу же займемся их домами...

– Молодец, Левка, – кивнул Антон.

– Толково, Лев Давыдыч, толково, – одобрил Гниломедов – жох, пробы негде ставить...

– А он обещал? – переспросил Антон.

– Сказал, что позвонит, – обронил Красный и с усмешкой добавил: – Ему же надо набить цену своей услуге...

– Может, зря бульдозеры на лом сдали? – пожалковал на пропавшее добро Антон.

– Да ну их к черту! – впервые без улыбки, от всей души, очень искренне сказал Гниломедов. – Из-за этой сволочи Арановича такие неприятности! Их брат всегда хочет быть умнее всех...

Гниломедов запнулся, увидев устремленный на него взгляд Левы, желтый, как сера, но ненависть к шустрому Арановичу почти мгновенно победила хранящую его сдержанность, и он со злобой закончил:

– Вы уж простите, Лев Давыдыч, но у вашего брата есть эта неприятная черта – соваться всюду, куда не просят... – Помолчал и добавил, сипя от ярости: – Вырастаете, где вас не сеяли...

Он уже не переливался, не струился и не плавал гибко по кабинету, а походил на корявый анчар – он весь сочился ядом. В охватившем душевном порыве напрочь забыл свою дрессированную улыбку, и пластмассовые зубы его клацали, как затвор, выпуская в нас клубы звуковых волн, отравленных смрадом ненависти. Наверное, они должны вызывать гнойные нарывы, зловонные язвы.

И не потому, что я люблю евреев или мне хоть на копейку симпатичен Красный, а потому, что мне противен Гниломедов, который – я не сомневаюсь – будущий Антошкин погубитель, я сказал с невинным лицом:

– А я и не знал, Лев Давыдыч, что Аранович ваш брат...

Красный зло ухмыльнулся, Гниломедов смешался, Антон махнул рукой:

– Да нет – ты что, выражения такого не слышал? – Повернулся круто к Гниломедову: – Хватит ерунду молоть. Давай я подпишу письмо, и езжай...

Он нацепил очки, еще раз пробежал письмо глазами и широко подмахнул, сердито бормоча под нос:

– Хозяева!.. Хозяйственнички!.. Бизнесмены хреновы, матери вашей в горло кол!.. Рассточители!.. Подлюки!..

Выплыл, чешуисто струясь, из кабинета Гниломедов, на прощание тепло поручкался со мной, и дал-то я ему только два пальца, а он не оскорбился и не разозлился, не заорал на меня и не плюнул в рожу, а душевно помял мне обеими руками два пальчика – не сильно, но очень сердечно, по-товарищески крепко, выдрал из хари своей мятой улыбочку, будто заевшую застежку «молнии» раздернул, шепнул напутственно: «Хорошо пишете, Алексей Захарыч, крепко! С удовольствием читаю! И жена очень одобряет!..»

Сгинул, паскуда. Понюхал я пальцы свои с остервенением – точно! – воняют рыбьей слизью. И налет болотной зелени заметен. Теперь цыпки пойдут...

– Арановича жалко, – тяжело сказал Антон. – Толковый человек был...

– А он что, воровал? – поинтересовался я.

– Кабы воровал! – накатил желваки на скулы Антон. – Горя бы не знали. Он, видишь ли, за дело болеет! Все не болеют, а он болеет! Вот и достукался, мудрило грешное!

– Так что он сделал?

– Из металлолома два бульдозера восстановил, – хмыкнул Красный.

– И что?

– Нельзя.

– Почему? – удивился я.

– Ах, Лешка, мил друг, не понять тебе этого, – вздохнул Антон. – Тут час надо объяснять этот идиотизм...

И Красный молчал. Я посмотрел на него – у Левки было лицо человека, озаренного только что пришедшей догадкой, какой-то необычайно ловкой и хитрой мыслью.

– Есть идея, – сказал он равнодушным голосом.

– Насчет Арановича? – все еще отстраненно спросил Антон.

– Какого черта! Насчет денег!

– Да? – оживился Антон.

Господи, какие пустяки определяют человеческие судьбы! Не мучай меня с утра похмелье, не пей я по дороге водки, а здесь коньяк и кофе, я бы выслушал Левкино предложение, и, может быть, ничего бы впоследствии не произошло. Или многое не произошло бы.

Но у меня распирало мочевой пузырь, я вскочил с места и, крикнув Левке: «Погоди минутку, я сейчас!», выскочил в туалет, за комнатой отдыха при кабинете.

Сколько нужно мужику, чтобы расстегнуть штаны, помочиться, застегнуть снова молнию и вернуться на свой стул? Минута? Две? Три?

Но когда я вернулся – понял, что они успели здесь перемолвиться без меня.

Они сидели с подсохшими отчужденными лицами, будто незнакомые, и в глазах их была недоброжелательность, и я сразу почувствовал, что их уже связал какой-то секрет или тайна, а может быть, сговор, в котором мне места не было.

– Что? – спросил я.

– Да ерунда, Лева тут предложил поговорить с одним человеком, но мне это кажется несерьезным, – как-то суетливо, скороговоркой зачастил Антон, и я понял, что он мне врет, Красный – НАШЕЛ ВАРИАНТ.

Мне бы подступить с ножом к горлу, а я, дурак, обиделся. Не хотят – как хотят. Это в конечном счете их личное дело. Мне наплевать. С какой стати?

И Антон, который хорошо знал меня и оттого точно меня чувствовал, тоже понял, что я знаю – он врет. И сказал, глядя в сторону:

– Лева тут попробует еще один вариант... Не наверняка, но попытаться можно... Как любил пошутить Лаврентий Павлович Берия: попытка – не пытка...

И засмеялся смущенно, на меня не глядя.

Я встал и, стараясь скрыть охватившую меня неловкость, тоже засмеялся:

– Пусть, конечно, попробует. Он ведь из нас самый умный...

6. Ула. Встречи. Проводы

«Внимание! На старт! – дико заголосила стена. – Внимание! На старт!..»

Я приподняла голову с подушки.

«Внимание! На старт! Нас дорожка зовет беговая!»

Гипсолитовая стенка вогнулась ко мне в комнату.

«Передаем концерт спортивных песен и маршей!»

«...Нас дорожка зовет беговая!»

«...Если хочешь быть здоров – закаляйся!..»

Трясся портрет на стене, дед испуганно жмурил глаза.

«Чтобы тело и душа были молоды!..»

В соседней квартире живет пенсионер-паралитик. Он любит радио.

«...Были молоды! Были молоды!»

Он хочет, чтобы тело и душа были молоды.

Ты не бойся ни жары и ни холода!..

...Закаляйся, как сталь!

Я не боюсь ни жары, ни холода. Я боюсь радио.

Если хочешь быть здоров – закаляйся,
Позабудь про докторов, водой холодной
обливайся!

Дребезжит стена, напряженная, как мембрана.

Удар короткий – и мяч в воротах!
Кричат болельщики, свисток дает судья!

Сыплется побелка, стонет паркет. Стена хрипит и воет, паралитик крутит приемник, как пращу.

В хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей!

Трус не играет. Трус не слушает радио. Трус жить не может.

...Все выше и выше, и выше!
Голы, очки, секунды!
Спорт! Спорт! Спорт!

Физкультурный парад. Спортлото. Звездный заплыв черноморских моряков. Спартакиада. Гимнастическая пирамида. Олимпиада. Самый сильный человек планеты Василий Алексеев поднял шестьсот килограммов. Советский народ – на сдачу нового норматива комплекса ГТО! Товарищ Сталин – лучший друг физкультурников! Хочешь в космос – занимайся спортом!

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот!

Радиоволны разmozжили, в клочья разорвали паралитика, липкими струйками, густыми потеками разметало его по стенам занимаемой им жилплощади.

...Чтобы тело и душа были молоды!
Были молоды!.. Были молоды!..

Физкультура и радио – плоть и дух. Люди без цели, без воли, без памяти занимаются физкультурой и слушают радио.

Только в ванной под сильной струей душа не слышно радио, и я счастлива: паралитик не знает, что я наплевала на предписание закаляться, как сталь, – я не обливаюсь водой холодной, поскольку тело мое и так молодо, а душа моя все равно незапамятно стара, ей несколько тысяч лет.

Из-за соседа я никогда не завтракаю дома – вдруг он проломит своей радиостенобитной машиной перегородку и ввалится ко мне в комнату? Мычащий, слюнявый, не боящийся ни

жары и ни холода, закаленный, как сталь. Мне его безумно жалко, но и себя тоже – я его очень боюсь...

Лечу по лестнице, лифта ждать глупо. Жую по дороге яблоко; у него кислый, свежий, радостный вкус. Во дворе, в песочнице, плавают пузатенькие, задумчивые, как рыбки гуппи, малыши. Мимо дома, мимо сквера, через школьный двор. В пустых гулких классах перекачиваются голоса маляров. Из окна выкинули большую карту мира, и повисли на мгновение высоко надо мной два цветных полушария – переливающееся пенсне вселенной. Раскачиваясь, медленно планируя, опускались они на землю, как солнечные очки мира. Синие очки слепого творца.

Сегодня я еду на час позже, чем обычно. Просторно в стеклянном дребезжащем сундуке троллейбуса. Я еду не на работу. Сегодня я сердечно приветствую. Я еще не знаю, кого я буду сердечно приветствовать: мне велено явиться в десять часов к столбу номер 273 на Ленинском проспекте, и там мне скажут, какого дорогого гостя столицы мы будем сегодня сердечно приветствовать.

В нашем гостеприимном городе самые сердечные люди работают в Октябрьском районе. Здесь проходит трасса следования гостей из Внуковского аэропорта, и не реже раза в неделю нас выводят сердечно приветствовать очередного нашего друга.

У метро я встретила Шурика Эйнгольца. Он медленно шел по тротуару, останавливался, с любопытством озирался на толпы бегущих мимо него людей. В безобразных мешковатых штанах, тяжелых зимних ботинках. На животе мучительно разъезжалась вязкая кофточка-тенниска. Нет, он не франт, в этом его никак не упрекнешь. Эйнголец смотрел на гостеприимных земляков, закидывая голову немного назад, и осторожно продвигался вперед, выдвигая каждый раз ногу с опаской, будто боялся провалиться в канализационный люк. Он был похож – в своих толстых бифокальных очках – на слепого. Кудрявые рыжеватые пряди над ушами, и нос, выраставший не из переносицы, а прямо из темени. Короткий толстый хобот, он шевелил им. Он принюхивался к смраду распаренной жарой и скукой толпы, он обонял тление: страх, равнодушие и общую усталость, которую называл формой неосознанной тоски.

– Шурик! – крикнула я ему. – Шурик, я здесь!

Эйнголец повернул ко мне линзы, приветливо поднял хобот.

– Я боялась перепутать метро – мы договорились встретиться у «Калужской», а она теперь называется «Октябрьская». А где теперь «Калужская»?

– В самом конце радиуса.

– Шурик, зачем это делают? – спросила я. – Это же им самим должно быть неудобно!

– Им, Ула, деточка моя, это удобно. Переименователи не ходят пешком и не ездят в метро, им безразличны переименованные города...

Мы шли по Ленинскому проспекту, мимо гостиницы «Варшава», мимо Института стали, а вокруг сновали обеспокоенные люди – это трудящиеся искали каждый свой столб, у которого им надлежит приветствовать, они находили и снова теряли в толпе сотрудников, бешено подпрыгивали на глазах уполномоченных, чтобы их видели в ликующей толпе гостеприимно встречающих, чтобы не подумали, будто они смылись и не выполнили своего важного общественного долга.

Проезжую часть уже очистили от транспорта, и пустая улица выглядела непривычно: пугающе, настороженно.

Плечистые ребята – при галстуках и пиджаках, несмотря на духоту, – стали сбивать народ в ровные шеренги вдоль бровки тротуаров. С серыми цинковыми лицами эти ребята выслушивали доклады старших трудящихся, давали им короткие указания, толкали людей, быстро разгребали ухватистыми лапами сгущения и передвигали своих сограждан, как вещи, в возникающие щели, наверное, по своим засекреченным представлениям об эстетике советского гостеприимного ликования. И все это – с неподвижными физиономиями, с белыми пустыми

глазами, тяжелыми желваками на скулах. Они читали в наших душах, они знали, что мы недостаточно искренне приветствуем, они видели, что мы больше хотели бы сбежать – в магазины, химчистки, на почту. И молча предупреждали нас: вы еще об этом пожалеете!

Уполномоченные представителей трудящихся озирались, как наседки, пересчитывая своих подопечных, сверяясь по спискам – все ли на месте, все ли машут флажками, все ли выражают на лицах безграничную радость по поводу приезда хоть и неизвестного пока, но все равно дорогого гостя.

По пустынной улице проехала милицейская машина – желто-синяя, с пульсирующими на крыше красными сполохами тревожных фонарей, с медленно вращающимися серебряными рупорами. Из рупоров доносилось покашливание надзирателя – «кх-ках-кхе», «кх-ках-кхе». Он прочищал глотку спокойно и естественно, не обращая на нас внимания, не стесняясь нас, как он не стеснялся окружающих стен, камней, деревьев.

– В этом есть что-то похожее на приготовления к казни... – сказал Эйнгольц.

Плотный, коренастый, тяжелый, с коротким толстым носом-хоботом, Эйнгольц был похож на тапира – маленького несостоявшегося слона. Красноватые глазки за бифокальными линзами печально смотрели на пустую дорогу.

Он положил мне на плечо руку – белая беззащитная кожа рыжего, измаранная сгустками веснушек, истыканная редкими щетинками белых волос.

– Кого казнить будут, Шурик?

– Наше достоинство.

Из магазина «Варна» порскнула толпа баб. Они бежали, держа в руках банки баклажанов «баялда». Хорошая штука, взять бы, но мы и так опаздываем.

Мне было жалко Шурика, потерявшегося здесь тапира, мудрого, сильного, застрявшего навсегда экспедиционера – красавца из другого мира. Он попал не в тот отряд генетического десанта.

– Шурик, тебе было бы хорошо стать профессором в маленьком университетском городке. Где-нибудь на Среднем Западе...

Он покачал головой:

– И что я бы им преподавал?

– По-моему, ты знаешь все. Рассказывал бы им о нас.

Эйнгольц сделал по крайней мере еще десять своих неровных ощупывающих шагов, наклонился ко мне и тихо сказал:

– Ула, я начинаю думать, что мы никому не нужны. Мир не хочет о нас знать, он нами не интересуется, он забыл о нас...

– А история? Этнографы? Археологи?

– Нет, их время еще не пришло. Мы – кошмарная Атлантида, дикая и кровавая, над нами океан лжи, насилия и забвения.

Какие-то фабричные девочки, крикливо одетые, в яркой косметике, пили из бутылки портвейн, пронзительно смеялись, а одна, посмотрев на Эйнгольца, громко запела:

Хорошо, что наш Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не калмык и не узбек,
А советский человек!

Девчонка была красивая, рослая, с круглыми глупыми голубыми глазами. Эйнгольц смотрел на нее с доброй улыбкой, почти ласково. Может быть, она будила в нем какие-то воспоминания? Мне казалось, что ему хочется погладить ее по голове. Там, в его мире, она, наверное, была кошкой. Или стройной длинношерстной колли.

И тут откуда-то издалека, с самого конца проспекта, донеслось завывание, вначале негромкое, вялое, будто плач большого кота, но с каждым мгновением оно становилось пронзительнее и гуще, оно приобрело яркий желтый цвет и уродливую форму падающего с неба зверя, вой был плотным, как замазка, и невыносимо скребущим, словно стеклянная вата за шиворотом.

Это мчался перед кортежем милицейский «мерседес». Сирена выла ритмично, она опускала животный крик боли до низкого ужасного рева и взмывала вверх яростно-синим свистом отчаяния и страха перед надвигающейся волной страдания. Казалось, что сидящие в «мерседесе» рвут руками его внутренности, и он вопит, рыдает и молит стоящих на тротуарах людей забыть о достоинстве. Сирена – электромеханический приборчик, симулянт и шантажист – своим ненастоящим страданием показывала людям, что можно сделать с ними, если так способны кричать металл и пластмасса.

Хлынул наконец черной рекой правительственный проезд. Огромные мрачные машины, стальные ящики на толстых колесах, лавиной мчались по проспекту. Взлетели вверх флажки, все заголосило, в задних рядах заматались, забегали. Визг, прыжки, суета и крики, толчея, отдаленные ноги, вопль восторга – вона, вон-а! на второй машине! усатенький! с погонами!.. Ур-а-а!

Какой-то дорогой гость с числительным титулом – первый заместитель, второй секретарь, третий председатель.

Эти черные страшные автомобили мчались бесконечной оравой, безбрежной, исчезающей за горизонтом, бронированные, тяжелые, непроницаемые, тускло сверкающие на солнце, неслыханный парад торжества силы, демонстрация ее громадности – голова проезда уже исчезла из виду, а конец еще не выехал, наверное, с аэродрома – десятки километров командиров, извергающихся подобно лаве из бездонных недр Тартара. С ревом моторов и глухим гудом шин они неукротимо катили по дороге в светлое будущее, окруженные счастливыми толпами ликующих, размахивающих флажками и транспарантами людей, которых, само собой, держали в должном порядке и на необходимом расстоянии плотные цепи железных парней с золотыми сердцами.

Тетя Перл рассказывала, как во время войны она стояла на Садовом кольце и смотрела вместе со всеми на тысячи пленных немцев, которых гнали по Москве. Они шли много часов, и в разгар дневной жары один из солдат упал в обморок. Сосед тети Перл, старый еврей-коммунист, эмигрант из Австрии, отсидевший там несколько лет в концлагере и перед войной все-таки пробравшийся к нам, подбежал к упавшему немцу и напоил его из бутылки водой. Солдат очнулся и ушел с колонной. А железный паренек увел соседа, и больше его никто не видел.

– Тебе плохо? – Я увидела перед собой ласковый толстый хобот моего тапира.

– Не обращай внимания...

Тапир умен и прекрасен. Но помочь мне он не может.

Мы вошли в вестибюль института. Пыль, обрывки флажков, духота. Огромный плакат – «Уважайте труд уборщиц!». Я всегда с испугом останавливаюсь около этого плаката, ибо мне мнится в нем какой-то тайный, непонятный мне смысл. Что-то ведь это должно значить? Это же ведь не буквально – уважайте труд уборщиц! Почему именно уборщиц? Почему никто не призывает уважать мой труд? Или труд Алешки? Или Эйнгольца? Что-то это все-таки значит? Уважайте труд уборщиц!

Не понимаю. Но уважаю. И люблю.

Послушно люблю начальство и уважаю уборщиц.

Уважайте труд уборщиц!

7. Алешка. Полет

По Тверскому бульвару медленно плыл я в раскаленном вареве этого невыносимого дня. Сладкая дурь коньяка во мне мешалась с горьковатым запахом пыльных тополей, синие дымы бензинового выхлопа оседали на цветах радужным нефтяным конденсатом, серый асфальтовый туман стелился по газонам, собирался в плотные клубы по кустам – как для внезапной атаки.

Из одинокой высоты опьянения я неспешно планировал вниз, на вязкую задымленную мостовую, в этот противный мир. Я ощущал, как вместе с потом истекает из меня топливо моего движения, горячее моего отрешения, радостного уединения, счастливой обособленности от всех. Синими ровными вспышками горит во мне спирт, питая неостановимый двигатель сердца, поддерживая стабильное напряжение на входах компьютера моего мозга – он снова громадный, всесильный, всепомнящий. Он – самообучающийся.

Я – беззаботный летчик, не заглянувший в баки перед вылетом.

Я лечу над пустыней, здесь негде приземлиться, если кончится горячее. Подо мной Сахара, невыносимый зной, говорящие на чужих языках, иссушенные жаждой и лишениями кочевники, заброшенные оазисы закрытых на обед магазинов, заледеневшие колодцы пивных, переделанных в кафе-мороженое.

Три тысячи шагов до бара в Доме литераторов. Далеко, на самом горизонте раскаленного московского полдня, он встает как мираж. Как надежда. Как обещание счастья. Как голубые снега Килиманджаро, вздымающиеся за смертельными песками Сахары.

Если не хватит горячего – наплывет незаметно вялое равнодушие, и всемогущий, бурно пульсирующий компьютер опадет, как проколотый мяч, засохнет и сожмется, превратившись в коричнево-каменный бугорчатый шарик грецкого ореха, и обрушатся тоска и бессилие раннего похмелья, полет перейдет в свистящее падение в черную пропасть беспамятства – сна, засыпанного жгучим, едким песком пустыни...

Но пока еще шумят во мне ветер коньяка и одиночество полета.

Слева под крылом проплыли безобразные серые утесы ТАССа, густо засиженные черными мухами служебных машин. Пять лет я прожил на этом острове – глупый дикий Пятница, наивный чистый людоед, попавший на обучение к корсарам пера, проводящим дни в общественной работе и страстном ожидании дня, когда попутный корабль увезет их с каменистых берегов моральной устойчивости на службу в загнивающую за границу, разлагающуюся, к счастью, так неспешно, что ее умирания и безобразных язв хватит еще на много поколений пламенных журналистов.

И пока шевелились эти воспоминания, я пролетел над графитным столбиком памятника Тимирязеву, хлопнул его по макушке и повернул круто направо, в сторону собора Вознесения, на котором было написано: «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ». Вдоль улицы Герцена выстроились запряженные лошадьми коляски, из бокового притвора, прямо из-под букв «...СТЕРСКАЯ» выходили люди – во фраках, дамы в белых платьях, с длинными шлейфами, с букетиками флердоранжа. Ба! Чуть не опоздал – это же Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной из электромеханической мастерской, где их сейчас повенчала депутат районного совета ткачиха-ударница Мария Гавриловна Погибелева.

Иногда ее фамилия Похмельникова. А иногда Погибелева. Может быть, их две?

Александр Сергеевич, дорогой, привет вам от пустякового писателя с шестнадцатой полосы!

Я – монгольфьер, надутый спиртовыми парами. Прощайте, Александр Сергеевич! Мне надо долететь, кончается горячее, я бешено теряю высоту...

Мелькнуло слева от меня турецкое посольство, и развивающийся над ним флаг окрасил небо вечерней зеленью. На этом ярко-зеленом небе взошел месяц. И проклюнулась звезда. Ах, как быстро я летел вниз! Как пропала высота моего сладкого полета! Как мгновенно кончился вечер над турецким посольством, как быстро зашел за моей спиной месяц, а звезда упала, не взойдя в зенит, – и полет был так стремителен, что я камнем пролетел через рассвет и упал снова в палящее марево раскаленного дня около посольства Кипра. Я чувствовал, что ноги мои задевают за асфальт, я чиркал подметками по мягкому тротуару, я отталкивался, чтобы еще немного пролететь, но туфли вязли в черной каше гудрона.

Я оттолкнулся руками от плотного горячего воздуха, чуть-чуть приподнялся и улетел в вестибюль, сумрачно- темный, мрачно-прохладный, прекрасно-пустой...

В большом деревянном холле тоже было пусто, и, подчеркивая нереальность всего происходящего, горланил в одиночестве телевизор, напудренный диктор передавал последние известия.

– Муся! Два по сто! – закричал я со ступенек буфетчице, и она молча, со своей простой, всепонимающей, доброй улыбкой мгновенно протянула мне две кофейные чашки.

Первую я хлестнул прямо у стойки, и водка рванулась в меня с жадным урчанием, как струя огнемета. Подпрыгнули, метнулись по стенам желтые огни, располосовали тьму исступленной жажды, кровь хлынула в сохший, почти умолкший компьютер – и я обвел прозревшими глазами кафе, задышал сладко и глубоко, будто вынырнул из бездонной ледяной толщи.

Мой родной сумасшедший дом – стены, исписанные самодельными стишатами, разрисованные наивными шаржами, стеклянный трафаретик «Водка в буфете не отпускается», пожелтевшее объявление «Сегодня в ресторане – рыбный день», зыбкие плывучие лица картонных человечков за столиками. Как мне близка тихая истерия этого перевернутого мирка: толстые официантки орут на маленьких писателей, вместо мяса те покорно жуют рыбу, водку тихонько пьют из кофейных чашек, а кофе нет совсем!

Спасибо, Мусенька, спасибо тебе, радость моя, спасибо – ты меня за что-то любишь, почему-то считаешь своим и наливаешь мне незаметно водку под прилавком!

Я уцепился за край углового столика и ногой обвился за стул – чтобы не взмыл под потолок мой монгольфьер, я боялся проткнуть стену олсуфьевского особняка и вылететь в садик канцелярии западногерманского ботшафта. И снова – легкость, бесплотность тела. Жаль только, что непрерывно сновали окрест коллеги. Говорили, задавали вопросы, рассказывали. Как хорошо было лететь над электромеханической мастерской Вознесения – никто там тебя не мог достать, а Пушкину было не до меня. Свадьба – это ведь такое хлопотное мероприятие!

Седой акселерат Иван Янелло – семидесятилетне-розовый, с голубыми глазами глупого ребенка – рассказывал о неполовозрелых девушках. Рассказывал скучно, для такого специалиста – дважды судили – мог бы придумать поинтересней.

Болотный нетопырь Коля Ушкин – талантливый, пьяный – свидетельствовал: «Это не выдумки, что черти бывают, я сам видел...»

Маленький усатенький Юрик Энтин, значительный, как богатый лилипут, снизошел ко мне, поведал: «Вчера после обеда сел, написал гениальную пьесу. Жаль, не успеют поставить в Комеди Франсез – сейчас в Париже готовят фестиваль моих пьес...»

Секретарь парткома Старушев дергал меня за рукав, просил жалобно, показывая на Римму Усердову: «Ну скажи ей, скажи, какой я писатель!» А она слабо мотала головой: «Не писатель ты и не человек вовсе, ты – моллюск, моллюск с чернильным мешком».

Откуда-то из подпола, с очень большой глубины, выплыл поэт Женя Корин, весь расплющенный давлением, очень худой, тонко вытянутый, с повисшими, как у утопленника, волосами, взмахнул бескостной, как водоросль, рукой, жалобно заморгал красными веками, беззвучно пошевелил губами – на лице засохли донный песок и капли слез.

Незаметно вырос надо мной официант Эдик – нежная душа. Он гомосексуалист и ценитель музыки. Поцеловал меня в темя и поставил на стол три бутылки чешского пива. Энтин заныл: «Эдик, а почему мне не дал чешского пива?»

Но Эдик сразу его осадил – таким не полагается! Вот так!

И не заметил я, упиваясь тонкой горечью моравского хмеля, как возник передо мной Петр Васильевич Торквемада – пастырь душ наших, хранитель всех досье, секретарь союза, бывший генерал МГБ, друг-соратник моего папки. Тусклый блеск очков, худое постное лицо инквизитора.

– Опять нализался, как свинья? – бесшумно, тихо орал он одними губами. – Отца только позоришь, мерзавец!

– Отец не ходит в ЦДЛ – не знает, что я его позорю...

– Сейчас с банкета из дубового зала пойдет все руководство союза – хорошо будешь выглядеть, засранец! – шипел, пиявил меня Торквемада.

– А они сами будут пьяные, не заметят, – вяло отбивался я.

Тут растворились двери, и хлынули с банкета писательские генералы. В глазах зарябило...

А мой постный истязатель поскакал вприпрыжку за начальством.

На стуле рядом уже сидел поэт Соломин – круглые глаза, на затылке маслянисто-гладкие рожки, ма-аленькие, как косточки фиников, в руках крутит хвост, будто ремень на брюках распоясал, сучит под столом сухими копытами, топчет потихоньку, козлоногий.

– Дай, Лешенька, рубль, дай до завтра, дай рубль до завтра, выпить надо – умираю, денег нет, меня вчера в туннеле под Новым Арбатом ограбили, последние сорок семь копеек отняли, а в милицию не могу пожаловаться – паспорт я узбекам продал за бутылку...

– Изыди, противный, серой воняешь! – и бросил ему металлический рубль, а он его не поймал, звякнула монета по полу, сверкнула в темноте, а ее уже подхватил зубами Володя Степанов, зарычал, отгоняя Соломина, и приклеил ее на курточку рядом с краденым орденом «Виртути милитари», а мне крикнул со своего стола:

– Вишь, Алеха, ордена? Мне их дали в Корее, я там американские летающие крепости на «По-2» сбивал...

Врет он все, он не умеет и летать даже, а форму пограничника купил в Военторге по безналичному расчету для самодеятельного театра, реквизит пропили, театр разогнали, самого Степанова вышибла из дому жена, и он теперь живет в зеленой форме пограничника...

Было жарко, шуршал песчаный ветер, и свет меркнул медленно, будто вселенский электромонтер постепенно гасил его яркость реостатом чувств. И шум был вокруг ровным, ничто меня не беспокоило, и было мне хорошо, тихо, только обидно, что все время соскальзывал локоть с пластмассового стола, и тогда резко бросало вперед-вниз мой заблокированный компьютер. Ему это было очень вредно, сейчас ему необходим покой, он самообучался. Тише, тише, не трогайте его, пусть он живет своей отдельной жизнью...

Летит голубой монгольфьер с зеленой макушкой.

Красное, тугой ковки медное солнце.

«Отдыхайте на курортах Черноморья!»

Синяя вода течет из ладоней.

Это ты, моя любимая, истекаешь из моей жизни.

Хотя это вздор – ты не можешь уйти из моей жизни. Ты можешь истечь только вместе с жизнью.

Плывет монгольфьер по синей воде – это я пролетаю в твоих зрачках.

Ула!

Я больше не могу без тебя. Прости. Не сердись. Прости меня.

Моих сил хватило на два дня. Два дня я не вижу с тобой, два дня назад мы разошлись навсегда. Какая глупость! Какое «навсегда»?

Ула, прости меня, дурака. Ула, я больше не могу. Ула, ты еще не знаешь, что ко мне приходили ночью судьи ФЕМЕ. Их пустил ночью потихоньку в квартиру мой сосед – стукач Евстигнеев. Ула, мне очень страшно жить без тебя. Только не бросай меня, Ула. Прости меня!

Я встану на колени и признаюсь тебе. Этого никто не знает! Ула, ты – мой дух, моя душа, ты – моя надежда на вечную жизнь. Если ты меня бросишь, улетучится душа, останется сморщенная пустая оболочка лопнувшего монгольфьера. Меня перестанут узнавать люди и будут называть Таурином, Степановым или Марковым – это все равно, они все разоренные пленочки давно улетевших душ. Я буду сидеть здесь всегда, сучить копытами, носить чужие ордена и жить в форме пограничника...

Прости меня!

8. Ула. Договорились – мишень с прицелом

По коридору бежали научные сотрудники. Поджарая сухоногая Светка Грызлова обошла на повороте задыхающегося, беременного портфелем Паперника, крикнула мне на бегу:

– Получку дают!

Бегут. Я пропустила их дробно топотававший косяк и толкнула дверь своего бомбоубежища с табличкой «Отдел хранения рукописей».

– Здравсте – здравсте – здравсте, дорогие товарищи. Здравсте. Получку дают, – объявила я, и ветер страстей шевельнул тяжелые своды.

Надя Аляпкина пошла со стула, как ракета со старта, – грузно воздымалась она, и в этой замедленности была неукротимая сила, которая еще в комнате зримо перешла в скорость, светлое пятно ее кофты мелькнуло в дверях и исчезло навсегда. Суетливо заерзала секретарша Галя, опасливо косясь в сторону заведующей М. А. Васильчиковой, недовольно поджавшей губы, и бочком, бочком, нырком, пробежками, по-пластунски ерзнула между столами на выход, ветерком сквознула в коридор. Кандидат в филологию, старший антинаучный сотрудник Бербасов Владимир Ильич, громогласный, с заплесневелой, тщательно выхоженной рыженькой бородкой, человек искренний, исключительно прямой, принципиально говорящий – невзирая на чины, прямо в глаза – только приятные вещи, поднялся над столом, как на трибуне, и я приготовилась услышать что-нибудь принципиально-приятное, но не смогла сообразить, как он это привяжет к получке, а он бормотнул скороговоркой:

– Ула, сегодня вы почему-то необычайно хорошо смотрите... – Потом торопливо откашлялся и со значением сказал Васильчиковой: – Я – в партбюро...

И через миг до нас слабо донесся его неровный ледащий топот застоявшегося мерина.

Я кинула на пустой, только вчера генерально расчищенный мною стол сумку, уселась и посмотрела на Марию Андреевну. Старуха горестно качала головой.

– Сердитесь?

– Нет, – сказала она, и в голосе ее, во взгляде, во всем облике была большая печаль. – Но не понимаю...

Я промолчала.

– Почему они так бегут? Что, не успеют получить свою зарплату? Или кому-нибудь не хватит?

– Не сердитесь, Мария Андреевна, у них нет другого выхода. Бытие определяет сознание, – засмеялась я.

Бабушка Васильчикова – человек старой закалки, совсем иного воспитания, мне трудно объяснить ей, что люди бегут не от кандаального грохота – их давно преследует лязг консервной банки на собачьем хвосте.

– Ах, Ула, никто и не заметил, как трагедия сталинской каторги постепенно выродилась в нынешний постыдный фарс всеобщего безделья...

По-своему она права: средний служащий нашего Института литературоведения может с гордостью считать, что он поквитался с системой трудового найма.

– Если посчитать, сколько нам платят и сколько мы делаем, то так и выходит – квиты, – сказала я расстроенной Бабушке.

– Не смейтесь, Ула! – сердито сказала Бабушка, слабо отбиваясь от меня. – Не смейтесь, я поняла окончательно, что современный обыватель – это новый Янус...

– А что в нем нового?

Она серьезно сказала:

– К посторонним он обращается голубоглазым ликом творца и созидателя, а к своим – чугунной испитой харей бездельника. Люди разучились работать...

Пронзительно, как милиционер, свистнул закипевший чайник. Он парит полдня, у нас все любят пить чай с сушками и дешевыми конфетами. Бедная моя, дорогая бабушка! Взгляни на чайник! Неужели раньше ты не замечала, сколько тысяч часов проведено за праздными чайными разговорами!

Влетела с грохотом Света Грызлова и еще из дверей закричала Бабушке:

– Марь Андреевна, я – в Библиотеку Ленина...

Бабушка смотрит на нее застенчиво-грустно, слегка поджимает губы. Ни в какую библиотеку Светка не поедет, а сейчас нырнет в продуктовый, а оттуда сразу – в магазин «Лейпциг», там Сафонова вчера оторвала сумку. Но ничего нельзя менять, да и не нужно, и они обе говорят обязательные слова, как старые актеры повторяют надоевшую роль.

– Хорошо, Светлана Сергеевна. Только запишитесь в журнал...

Господи, мы все столько лет повторяем слова из одной и той же надоевшей скучной пьесы, что знаем наизусть чужие реплики. Сейчас вернется с зарплатой Надя Аляпкина, тяжело отдышится и скажет, что поедет в Бахрушинский музей. А завтра, забыв, что ездила в музей, поведаст, что отстояла огромную очередь за колготками для младшенького в «Детском мире» – нигде детских колготок нет, а они их просто жгут на себе, а потом вспомнит, что у метро давали свежий котлетный фарш, а в «Диете» почти не было народа за рыбой простипомой.

Пришла Люся Лососинова, вернулась секретарша Галя, явился задумчивый Бербасов, уселся за стол и стал сортировать купюры, раскладывая их по разным отделениям портмоне. Отдельно положил десятку в тайный кармашек брюк. Ему тяжело – он платит алименты на детей прежней жене, а от нынешней заначивает деньги для отдыха с любимой девушкой. Видимо, будущей женой. Однажды, остервенясь, Бербасов кричал у нас в комнате: «Ничего! Ничего! Еще два года осталось этому идиоту до восемнадцати! Кончатся алименты – копейки от меня не увидите!»

Я возненавидела его навсегда...

Пыхтя, ввалилась Надя Аляпкина.

– Эйngoльц возьмет твою получку, – сообщила она мне и повернулась к Васильчиковой: – Марь Андреевна, мне надо в Бахрушинку ехать...

– Хорошо, Надежда Семеновна. Только запишитесь в журнал. Педус следит за этим строго...

Бербасов очнулся от своих финансовых грез при слове Педус, которое на его нервную систему рептилии действует как приятный раздражитель:

– Ула, чуть не запамятовал – вас просил зайти после обеда Пантелеймон Карпович...

Врешь, свинья, ничего ты не запамятовал. Никогда твой дружок Педус не попросит – зайдите сейчас ко мне, пожалуйста. Он всегда предлагает зайти через два часа, или после обеда, или к вечеру, или послезавтра – потерпи, помучайся, поволнуйся, подумай на досуге: зачем тебя зовет в свою комнатку с обитой железной дверью начальник секретного отдела. Господи,

какие у нас секретные дела в институте? Какие секретные дела у меня лично? Но Педус существует, он у нас всюду. И я его боюсь. Боюсь его неграмотной вежливости, боюсь сосущей пустоты под ложечкой.

– Давайте пить чай, – предложила Галя, а Люся Лососинова уже начала капитально обу-
страиваться за своим столом.

Люся – симпатичная сдобненькая блондинка – похожа на немецкие фарфоровые куколочки, изображающие балерин и пейзажников в кружевных длинных платьях. Я думаю, у мужиков должны чесаться пальцы от непереносимого желания пощипать ее за бесчисленные кругленькие, мягонькие, беленькие, сладенькие выступы. Всегда приоткрытые, чуть влажные семужно-розовые губки и прозрачные незабудковые глаза, не замутненные ни единой, самой пустяковой мыслишкой. За этими нежными глазками – неотвратимо влекущая бездна неодоушевленной пока органической природы.

Природа требует. Она требует неустанно питания, и Люсенька целый день ест. Из дома она приносит сумку с продуктами, и все у нее приготовлено вкусненько и аппетитненько, на чистеньких салфеточках и красивых картонных тарелочках, и вызывают завистливую раздраженную слюну бутербродики с селедочкой, и яичко с икорочкой, и золотистая, как шкварка, куриная пулочка, и вокруг пунцовая редисочка вперемешку с изумрудной зеленью молодого лука и грузинских травочек, огурчики махонькие, громко-хрусткие, помидорчик рыночный краснобокенький, и телятинки ломоточек – нежный, розовый, как Люсина грудка. Термос заграничный, крохотный – на один стакан, с кофейком душистым, от души заваренным. И пирожных три – эклер, наполеон и миндальное.

Беспрерывно, с самого утра Люся жует, хрумкает, тихонько чавкает, мнет сахарными зубами, язычком причмокивает, сладко урчит от удовольствия. Поев, аккуратно складывает пакетики, салфеточки, картонные тарелочки в сумку и подсаживается к нам пить чай с сушками и леденцами.

– Я бараночки – ужас как люблю! Особенно сушеные, – говорит она ласково.

Светка Грызлова, веселая грубиянка, добродушная ругательница, унижает ее неслыханно.

– Как же ты можешь жрать целый день и людям крошки не предложишь? А потом еще наши сушки молотишь, как машина! Ты, животное!

– Ну не сердись, Светочка! У меня организм такой!..

И сейчас она уже раскладывает на столе свои бесчисленные кульки, свертки и пакетики, краем глаза косясь на корзинку с сушками.

А тут зашли женщины из отдела библиографии посоветоваться – предлагали почти новые джинсы. Закипел торг. Во всех учреждениях женщины обеспечивают себя за счет натуральной торговли – дообщинного обмена. Продают неношенные кофточечки, покупают «фирменные» юбки, меняют сапоги на французские туфли с доплатой, косынки на бюстгальтер, ночную сорочку на шарф, польскую косметику на югославские солнечные очки.

Галя перепечатывает – для себя – со светоконии стихи Мандельштама. Круглова из отдела фондов списывает под диктовку Люси Лососиновой рецепт торта «Марика», Сафонова вырезает из газеты переведенную с выкройки модель платья, а тут вернулась неожиданно Аляпкина с полной сумкой бананов – около института с ларька продавали, народу почти нет, не таскаться же целый день с авоськой.

Заодно она рассказывает, что у нее есть адрес портнихи, которая перешивает из купленных в комиссионке на Дорогомиловке офицерских шинелей женское пальто – закачаться можно, последний импортный писк!

Заглянул Моня Фильштейн, просит разрешения в нашей комнате порисовать стенгазету – у них мужики устроили шахматный турнир, накурили – не продохнуть.

Закончив вопрос с джинсами – решили не брать, дорого, – женщины пьют чай, рассказывают мифические истории о прекрасных, щедрых любовниках и грустные притчи о пьющих мужьях, не спеша делятся сплетнями, обмениваются советами в лечении и воспитании детей, сообщают о новейших диетах, вспоминают об отпусках, свадьбах и примечательных домашних событиях.

Все время звонит телефон – за восемь часов массу делишек можно устроить с помощью этой милой выдумки Эдисона. А не устроишь – то просто отдохнешь за приятной беседой.

Галя кладет трубку внутреннего телефона и кричит:

– Девушки, внимание! Завтра в десять часов гроб!.. Все слышали?

– Какой еще гроб? – пугается Люся Лососинова.

– Гражданская оборона! Семинар!

Моня Фильштейн отрывается от сосредоточенного рисования огромного знамени на листе ватмана.

– Эй, старухи, а вы не забыли, что от вашего отдела на той неделе трое должны сдавать норматив ГТО?

Моня заведует спортсектором в профкоме, у него свои заботы.

На лице Бербасова тоска, он мучится, что сейчас лето, в сети политучебы каникулы, и он не может нам напомнить, что завтра у нас занятия по диалектическому материализму.

А старухи забыли, не помнят, они не желают думать обо всем этом. Они сейчас красят друг другу маникюр, Круглова начесывает мне перед зеркалом стрижку «а-ля сосон». Разве что не моемся. Наверное, потому, что нет душа.

Будний день. Не выходной, не праздник, не карантин, не сумасшедший дом, не светопреставление. Обычный рабочий день.

Раньше я думала, что так работают только в нашем институте. Но мои знакомые физики, инженеры, врачи, служащие рассказывают приблизительно то же самое про свои учреждения.

Наверное, это и есть та обстановка огромного трудового подъема, в котором, как уверяют ежедневно газеты, живет все наше общество. Наверное.

Но ведь летают ракеты, ходят поезда, где-то льют сталь и добывают на-гора уголек. Все это кажется мне не естественным результатом человеческого труда, а каким-то удивительным чудом. Ведь и там царит обстановка огромного трудового подъема? Правда, ракеты падают, поезда разбиваются, а сталь льют плохую. Но...

– Ула, вот твоя получка, – протянул мне через стол тощую пачечку Эйнгольц, подслеповато щурясь за толстыми линзами своих бифокальных очков, и от этой прищуренности и рыжего румянца у него был застенчивый вид, будто он стеснялся того, как мало я зарабатываю.

Сегодня малая получка – расчет. В аванс я получаю пятьдесят пять рублей, а сегодня – минус восемь рублей двадцать копеек подоходного налога, минус пять сорок бездетного налога, минус рубль десять – профсоюзный взнос, минус девять шестьдесят в кассу взаимопомощи – долг за стиральную машину. На руки – тридцать рублей семьдесят копеек. Одна десятка, две пятерки, две трешки, четыре мятых рублика, пригоршня медяков.

Поквитались лень с нищетой.

Но скоро я разбогатею. Как только аттестационная комиссия утвердит мою кандидатскую диссертацию, мне добавят пятьдесят рублей.

– Спасибо, Шурик, я тебе очень обязана...

Шурик ласково ухмыляется, часто помаргивает толстыми красноватыми веками:

– Неслыханный труд! Надорвался, пока нес твои миллионы!

Суетливый ровный гомон голосов вокруг прорезал скрипучий отчетливый возглас Марии Андреевны Васильчиковой:

– Запомните, Бербасов, что дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, а пресмыкаются перед одним настоящим...

На миг наступила зловещая тишина, которую Бербасов, забыв о своей принципиальной установке разговаривать приятно, вспорол пронзительным вопросом:

– Хотелось бы яснее понять, на что вы намекаете, уважаемая Мария Андреевна?

Бабушка немного помолчала, потом тихонько засмеялась:

– Я не намекаю, а цитирую. Вам, Бербасов, как профессиональному литературоведу, не мешало бы знать, что это слова Пушкина. Впрочем, вы не пушкинист. Вы ведь специалист по поэзии Демьяна Бедного...

Наверное, нервную систему Бербасова расшатали денежные неурядицы. Он скинул с себя заскорузлую робу всегдашней приятности, как пожарный свой комбинезон после ложной тревоги, и запальчиво крикнул:

– Да-да-да! И несколько об этом не жалею. И очень я доволен темой своей диссертации! И если бы пришлось выбирать снова, я бы, не задумываясь...

Бабушка грустно покачала головой:

– Ах, Бербасов, Бербасов! Боюсь, мне не объяснить вам, что поэт – это не тема. Поэт – это мир...

Эйнгольц хлопнул Бербасова по плечу:

– Утомись, боец! Не демонстрируй. Человек, довольный собой к старости, ни о чем не жалеющий и не мечтающий все изменить, – просто кретин...

Я встала:

– Ладно, я пойду к Педусу. – И мучительно заньло под ложечкой.

Великая сила ужаса, неслыханная энергия страха.

И частичку этой энергии я внесла в складчину нашего кошмара, нажимая на кнопку звонка перед дверью спецотдела. Страх начинается с необъяснимости – никому не понять, почему на всегда запертой двери спецотдела должна быть звонковая кнопка, почему сюда надо звонить, а не стучать, как в любую дверь института.

Звонят и долго ждут. Там, за дверью, не опасаются, что, разок звякнув, можешь уйти, не дождавшись приглашения. Сюда никто сам не ходит, а если вызвали, то есть пригласили, то постоишь, подождешь как миленький.

Потом шелкнул замок, приоткрылась тяжелая, обитая железом дверь, и на меня воззрилась белым оком без бровей Кирка Цыгуныева – секретарша Педуса. Она называется инспектор первого отдела. Через ее плечо я видела – сейчас она инспектировала банку с сельдью, раскладывала, по росту делила в два пергаментных пакета. Селедка нынче дефицит, нигде нету. Видимо, как говорит мальчонка Нади Аляпкиной, где-то «скрали». Или за трудную работу паек им полагается.

– Меня Пантелеймон Карпович вызывал, – сказала я и с ненавистью к себе заметила, что против воли, против разума, против всего на свете говорю тихим, заискивающим голосом.

Я эту белоглазую суку тоже боюсь. Она сидит за запертой железной дверью. Господи, как мы привыкли к театру абсурда! Любую пару разнополых сотрудников, застигнутых на работе в запертой комнате, замордовали бы разбирательством «аморалочки на производстве», замутили бы бесстыдными грязными расспросами, допросами, очными ставками.

Но не этих. Эти двое вурдалаков сидят взаперти по должности. Им полагается сидеть при закрытых дверях. Видно, их миссия предполагает такую святость, такую избранность функций, что сама мысль об их мерзких забавах на скользком дерматиновом диване должна быть кощунством. Да и я бы думать об этом не рискнула, кабы не работала так давно в нашем институте. Уже на моей памяти произошел громкий скандал, когда явилась в институт моложавая бойкая жена прежнего дряхлого директора и долго, с матерком, жуткими криками возила за волосы по коридору его тогдашнюю секретаршу Кирку Цыгуныеву, шумную, добродушно-распутную белоглазую девку.

Супруга вернула директора окончательно в лоно семьи, поскольку вскоре после замятого скандала его вышибли на пенсию, и он успел лишь, как падающий вратарь в броске, сплавить Кирку в первый отдел, где за годы сидения взаперти ее добродушие усохло вместе с блеклыми прелестями. Круглыми белыми глазами без ресниц смотрит она на нас, и взгляд ее подсвечен тусклым блеском злорадства и угрозы: «Я о вас такое знаю!..»

Кирка и Педус, наверное, ласкают друг друга чистыми руками. Пахнущими пайковой селедкой.

В этой вольере есть электрический звонок на входе, но нет умывальника – Пантелеймон Карпович утирает измазанные селедкой руки газеткой. Эти руки гипнотизируют меня – в них страшная ненагруженная сила, нерасплесканная прорва жестокости. Толстые пальцы с короткими обломками ногтей, заросших пленкой серой кожи, рвут газетный лист, стирают жир, слизь и селедочные чешуйки.

Бросил Педус мятый газетный ком в корзину и поднял на меня безразлично-строгий взор. Верхняя кромка его взгляда упиралась мне в подбородок, будто я через отдушину в потолке высунула голову на второй этаж, и он при всем желании не может посмотреть мне в глаза.

– Так, Суламифь Моисеевна, – сказал Педус и замолчал. А я поймала себя на том, что стремлюсь заглянуть ему в глаза, показать, что я во всем искренна, что я еще ни в чем не провинилась. Но он мне этого не позволил, он смотрел мне в подбородок, и еще немного в бок, за спину, туда, где шуршала бумагой Кирка Цыгуныева. Ей-то он доверял, но среди них первый принцип – доверяй, да проверяй. Вдруг «скрадет» на селедку больше?

– Руководитель агитколлектива товарищ Бербасов жалуется, что вы уклоняетесь от работы в избирательной кампании, – огласил он обвинение, почти не открывая длинную и очень узкую ротовую щель.

У кого просить снисхождения, кому жаловаться? Педусы претерпели эволюцию как физиологический тип. Социальная мутация, новая порода человекообразных существ. Среди них почти нет лысых – последней исчезла лысина Хрущева, и с ней окончательно пропало хоть что-то человеческое в них. Нет лысых. Мало думают. Командуют и сердятся.

Тяжелые брыластые щеки, раздавившие змеистые безгубые рты. Нет толстогубых добрых весельчаков. Сердечный веселый человек не может стать начальником – он ненадежен в предназначении вечному злу. Атрофировались губы, превратились в роговые жвалы, которыми косноязычно гугнят что-то написанное на бумажке. Артикуляции нет, жвалы мешают, все дело в этом.

Глаза пропали. Стекловидные мутные пузыри в заграничных очках. Как они все похожи, бессмертные злые старики-здоровяки!

– Что же вы молчите? – шевельнул крепкими жвалами Педус. – Нехорошо...

– Я не уклоняюсь, – тихо ответила я и поразила сиплости своего голоса. – Я только недавно закончила оформление документов для представления диссертации в ВАК – вы же знаете, как много их требуют. Вчера я завершила опись архива писателя Константина Мосинова – это была срочная работа по указанию директора...

Педус приподнял взгляд на два сантиметра:

– А зачем – Мосинов ведь жив?

– Не знаю. Он почему-то при жизни передал нам весь архив. Директор мне велел...

Взгляд снова опал – он не обнаружил ничего занимательного в том, что здоровенный и якобы активно работающий литератор при жизни сдает свой архив. Во всяком случае, ничего нелояльного в этом не усматривается. А если даже что не так, то это вопрос не его уровня – не ему судить о лояльности такого выдающегося писателя, как Константин Мосинов. Раз директор сказал – значит нечего рассуждать. Лучше поговорить обо мне.

– Ваша диссертация – это ваше личное дело, и нечего оправдывать личными делами отсутствие общественной активности...

– Моя диссертация включена в научный план института, – робко заметила я.

– А вы не препирайтесь со мной, я вас не за этим вызывал, – сжал свои страшные желтоватые пальцы с обломанными ногтями Педус, и я испугалась, что он мною оботрет их, как недавно газетой. – Оправдываться, отговорки придумывать все мастера, все умники. А как поработать для общего дела всей душой – тут вас нет...

– Я никогда не отказываюсь ни от какой работы, – слабо вякнула я.

А он неожиданно смягчился, пожевал медленно фиолетовыми губами, будто пробуя на вкус свои пресные, линиялые слова:

– Вот и сейчас нечего отлынивать. Вы человек грамотный, должны понимать общественно-политическую значимость такого мероприятия, как выборы... – Подумал не спеша и добавил, словно прочитал из смятой, вымаранной селедкой газеты: – Надо разъяснить населению обстановку небывалого политического и трудового подъема, в который наш народ идет к выборам...

Он – киборг. Порочный механический мозг, пересаженный в грубую органическую плоть. Он – неодушевленный предмет, ничей он не сын, никто его никогда не любил. И вызвал он меня не ради выборов.

– Значит, больше не будет у нас разговоров на эту тему. Договорились? – утвердительно спросил Педус. – Согласны?

– Договорились, – сказала я. – Согласна...

Мы согласны. Со всем. Всегда. Все. Миры замкнуты. Педус наверняка не слышал о декабристе Никите Муравьеве, а то бы он ему показал кузькину мать за кощунственные слова – «Горе стране, где все согласны».

Они – звено удивительной экологии, где горе страны и униженность граждан – источник их убогого благоденствия, извращенной звериной любви за железной дверью и пайков с баночной селедкой.

А Педус уже крутанул маховичок наводки и впервые посмотрел мне в глаза. С настоящим интересом снайпера к мишени.

– Еще у меня вопросик к вам есть, товарищ Гинзбург...

Молчание. Пауза. Палец ласкает курок. Мишени некуда деться.

– Я оформлял для аттестационной комиссии объективку на вас, возник вопросик...

Жвалы уже не шипят, они щелкают ружейным затвором. Не стучи так, сердце, затравленный зверек, мишень в тире должна быть неподвижна.

– Там как-то не очень понятно вы написали о родителях...

– А что вам показалось непонятым?

– Когда был реабилитирован ваш отец?

– Моему отцу никогда не предъявлялось никаких обвинений. Он был убит в тысяча девятьсот сорок восьмом году в Минске...

– При каких обстоятельствах?

– Прокуратура СССР на все мои запросы всегда сообщала, что он пал жертвой не установленных следствием бандитов.

– Ай-яй-яй! – огорчился Педус. – Он был один?

– Нет, их убили вместе с Михоэлсом...

– Так-так-так. А ваша мамаша, извините?

– Она была арестована в сорок девятом году, в пятьдесят четвертом направлена в ссылку, в пятьдесят шестом реабилитирована. В шестьдесят втором году умерла от инфаркта. Все это есть в моей анкете...

– Да, конечно! Но, знаете ли, живой человеческий разговор как-то надежнее. А копия справки о реабилитации мамы у вас имеется?

– Имеется.

– Ну и слава богу! Все тогда в порядке. Вы ее занесите завтра, чтобы каких-нибудь ненужных разговоров не возникло. Договорились?

– Договорились.

Захлопнула за собой железную дверь, медленно шла по коридору, и мне показалось, что от меня несет селедкой. Договорились мишень с прицелом.

Зачем ему справка?

9. Алешка. Брат мой Сева

Во сне я плакал и кричал, я пытался сорвать свой сон, как лопнувшую водолазную маску. Он душил меня в клубах багровых и зеленых облаков, в разрывах которых мелькали лица Антона, Гнездилова, Торквемады, Левы Красного, и все они махали мне рукой, звали за собой, а я бежал, задыхаясь, изворачиваясь, как регбист, потому что в сложенных ладонях своих я нес прозрачную голубую истекающую воду – Улу. А там – на границе сна, в дрожащем жутком мареве на краю бездны – меня дожидались зловещие черно-серые фигуры судей ФЕМЕ. Во сне была отчетливая сумасшедшая озаренность – судьи ФЕМЕ хотят отнять мою живую воду...

Открыл глаза и увидел за своим столиком Севку.

– Здорово, братан, – сказал он, ослепительно улыбаясь, как журнальный красавчик. Он и по службе так шустро двигается, наверное, благодаря этой улыбке.

– Здорово... Как живешь?

– А-атлична! – белоснежно хохотнул. А глаза бульжные. Он меня жалеет. Севка на шесть лет старше меня. А выглядит на десять моложе. Он полковник. А я – говно. Он – всеобщий любимец, папкина радость, мамкино утешение. А я – подзаборник, сплю в кафе ЦДЛ.

– Выпьем по маленькой, малыш?

– Выпьем, коли ставишь.

Охотнее всего он бы дал мне по роже. Но нельзя. Севка вообще ни с кем никогда не ссорится. Это невыгодно. Интересно, их там учат драться?

– Конечно поставлю! Я сейчас пока еще богатый!..

– Не ври, Севка. Не прибедняйся, ты всегда богатый.

– Ну, знаешь – от суммы да от тюрьмы...

– Брось! – махнул я рукой. – У тебя профессия – других в тюрьму сажать да чужую сумму отнимать...

– А-аригинально! – захохотал Севка. – Надеюсь, у тебя хватит ума не обсуждать этот вздор с твоими коллегами?

– Зачем? Тут каждый пятый на твоих коллег работает!

Севка кивнул Эдику, и тот как из-под земли вырос с графинчиком коньяка и парой чашек кофе.

– Еще кофе! Много! – сказал я Эдику, он обласкал меня своей застенчивой улыбкой и рысью рванул к стойке.

Севка достал из красивого кожаного бумажника с монограммой десятку и положил ее на столешницу, пригладил ногтем и рюмкой прижал. Не шутил, не смеялся, не глазел по сторонам, а молчал и смотрел на десятку, как вглядываются в лицо товарища перед расставанием. Он с детства любил просто смотреть на деньги. Он тяжело расхотелся с ними – как с хорошими, но блудливыми бабами.

– Не жалея, Севка, денег, – сказал я ему. – Скоро война начнется – сами пропадем.

Полыхнул он улыбкой, головой помотал, разлил по рюмкам коньяк.

– Ну что, будем здоровы? Давай за тебя, обормот, царапнем. – Вылакал, не сморщившись, наклонился ко мне, сказал тихонько: – Тебя твоя профессия очень дурачит, ты начинаешь придавать слишком серьезное значение словам. Ты верь не словам, а тому, что они скрывают. Ну что, еще по рюмке?

– Нет, мне хватит. Ты на что намекаешь?

– Я намекаю на то, чтобы ты молол языком поменьше, а побольше думал. Тебе уже пора...

– Так о чем велишь подумать?

– О том, что, сидя на двух стульях, ты себе задницу разорвешь.

– А почему – на двух стульях?

Севка вылил из графина коньяк в свой фужер – чтобы не пропало оплаченное, со вкусом выпил, вытер свежие губы херувима и сказал мне отдельно:

– Великий Гуманист объявил: «Кто не с нами, тот против нас». В твои годы человек должен определить позицию, а не болтаться, как дерьмо в проруби...

– Отсутствие твердой позиции – позиция художника, – ответил я вяло.

– Малыш, я говорю с тобой серьезно. Писатели в первую очередь – служащие, мелкие или крупные – уж как там у них выходит, а потом лишь художники. Нам не нужны Пегасы, а потребны тихие ленивые мерины. Поэтому вам сначала надевают на морду торбу с овсом и сразу же подвязывают шоры, потом вдевают удила, затем – шенкеля, потом дают шпоры, а если понадобится – ременную плеть...

– Тебе приятно унижать меня? – спросил я его просто.

– Нет, малыш. Я хочу, чтобы ты взялся за ум и стал человеком.

– А что это такое – стать человеком?

– Определись. Хочешь стать нормальным писателем – мы тебя за два года в секретари Союза протащим. Не хочешь слушаться Маркова и Кожевникова – слушайся Солженицына, мы тебе быстро вправим мозги своими методами. Только не сиди здесь и не спи за столиком пьяный.

– А тебе что до этого?

– Потому что, Алеха, ты мой брат. Ты меня когда-то очень любил. И слушался.

– А теперь не люблю. И не слушаюсь... – сипло сказал я и почувствовал, что сейчас заплачу. И очень боялся, что он это заметит, – я хотел, чтобы ему было обидно, больно и горько, а в груди у меня гудела черная гулкая пустота.

Севка пожал плечами, криво усмехнулся и устало предложил:

– Поехали ко мне ужинать?

– Нет, я устал сегодня. Если можешь, отвези меня домой.

– Давай... А-аглично отведу. – И снова залучился, просиял, залыбился.

Пошли мы с ним через дым, парной гомон кафе, толкотню и перебранку – как поплыли, а шел Севка чуть сбоку от меня и чуть сзади – вроде бы он и не со мной, а сам по себе прогуливается. Он стеснялся меня. Жалел и стеснялся. Он хотел, чтобы я стал человеком.

В деревянном вестибюле играли в шахматы писатели-подкидыши, одинокие старые сироты. Томимые безмыслием и отвращением к своему родному домашнему очагу, они сползают сюда по вечерам, бездарно выигрывают и бессмысленно проигрывают, гоня по клеткам деревянные резные фигурки, в надежде растратить тягостное свободное время. Они похожи на деревенских старух, коротающих на завалинке вечера в поисках вшей. Свободное время терзает их, как эти мерзкие злые насекомые, и они хищно ловят его и с треском давят обкусанными ногтями короткопалых тупых рук.

И с балкончика второго этажа смотрит за ними Петр Васильевич Торквемада, ими он доволен, эти в свободное время запрещенных книжонок не читают, о свободе не пустобрешат, анекдотов о начальстве не рассказывают.

Тут он нас увидел с Севкой – махнул рукой, полыхнул мутно окулярами, щелкнул протезной челюстью и взвился в воздух, со свистом в пике вошел, у паркета повернул ногой, как рулем вертикали, повис на миг и плотно в пол впечатался. И Севку душевно обнял, за плечи потряс, сказал на всхлипе:

– Ах, какой ты добрый молодец вымахал!..

Тут только я сообразил, кто Севку так быстро разыскал, ко мне неотложкой в кафе вытребовал. Отошли они в сторонку, Торквемада быстро, бойко буркотел Севке на ухо, в грудь его пальчиком подталкивал, по спинке нежно ладошкой оглаживал, втолковывал, в мозги ему впрессовывал, доверялся, жаловался, в душевной боли раскрывался, с боевым товарищем советовался, и над этой кислой кашей пережеванных страстей вонючими брызгами вылетали отдельные словечки:

– Мы... с панталыку... с вашим баткой... балбес... враги... окружение... вербовка... чекисты...

А мне было все равно, я сегодня устал, пропал кураж, пьянка назад покатила. Подступила блевотина, и распирало мочевой пузырь. Я подумал, что хорошо бы сейчас подойти к Торквемаде и Севке, пока они так дружно обнялись в своем педсовете, и обоссать их. Они так увлеклись, что и не сразу бы заметили. Два обоссанных шпиона – замечательно!

Но тут они обнялись еще раз, трогательная картина – старый мастер заплечных дел и признательный талантливый ученик.

Господи, как мне надоело все! Господи, как мне все невыносимо противно!

А Севка махнул мне рукой и направился к выходу. Торквемада, не глядя на меня, вприпрыжку зашагал на своих подагрических ходулях, захрустел артритными суставами вверх по лестнице. Там, наверху, у него логово, где пахнет архивной пылью, звериной мочой, плесенью, вдоль стен стоят шкафы, в которых, поговаривают, на каждого из нас есть досье, огромный старинный диван, похожий на эшафот, по углам валяются недогрызанные человечьи кости, а на столе – вертушка, правительственный телефон.

На улице было все покрашено кричащим желто-красным светом июльского заката. Жарко и пустовато. Напротив, из ворот бразильского посольства, выкатили на шикарной машине хохочущие нарядные негры. Наверное, поехали к бабам. А может, по делам. Один из них почему-то помахал мне рукой, ладонь была как у обезьянки – длинная, розовая.

– Жуткий народ, – сказал у меня над ухом Севка, он тоже смотрел им вслед.

– Да-а? Почему?

– Грязные ленивые твари. И очень наглые. Мы еще с ними наплачемся...

Пузырь внутри меня стал огромным и тяжелым, как Царь-колокол. И так же мог треснуть каждую минуту. Севка обошел свою сияющую, вылизанную «Волгу» и стал отпирать дверь, а я притулился к заднему крылу, расстегнул штаны и обильно полил ему колесо. Севка сначала не понял, что я делаю, – ему такое в голову не могло прийти, ведь за такое хулиганство можно с загранслужбы вылететь. А кроме того – мочиться на его машину! Полированную, лакированную, в экспортном исполнении, оплаченную новенькими распрекрасными зелененькими долларами, с каждого из которых Севка сам заботливо и любовно стирал ком грязи и ком крови.

Наклонив немного голову и повернувшись назад, он смотрел на меня через стекло, и на лице его была оторопь и мука, потому что сейчас уж было ему совсем не понять: кого надо жалеть больше – меня или валютную обоссанную «Волгу».

Но видать, их там чему-то учат, потому что утерпел, ничего не сказал, дождался, пока я открыл дверь и с облегченным вздохом плюхнулся на сиденье, затянутое алым финским чехлом.

Покатались, помчались, пошуршали на Колхозную, и до самой Маяковской площади Севка переживал в себе боль и копил жалость к нам обоим, пока не сказал, собравшись с силами:

– Мне Петр Васильевич на тебя жалуется...

– Пусть он поцелует меня в задницу, твой Петр Васильевич, – ответил я сердечно.

Севка похмыкал, и это выразительное хмыканье было красноречивее всяких слов – что с пьяным дураком говорить?

Так мы и катились по вечерним тихим улочкам в насупленном злом молчании. Убаюкивающе ровно гудел мощный мотор, ласково шоркали, с шелестом и присвистом раскручивались колеса по Садовой, залитой безнадежно желтым вечерним светом – цветом отчаяния, и воздух, пропитанный бензиновыми парами и запахом теплого гудрона, медленно и верно удушал, как «циклон Б». На тротуарах у закрытых овощных киосков стояли огромные пустые ящики-клетки с раскатившимися на дне окровавленными мятыми головами арбузов. Жившие в клетках звери пожрали своих гладиаторов и в голоде, тоске и ненависти разбежались по замирающему городу. Гладиаторы с отъеденными головами – как знак безнадежности – бесплотно струились у запертых дверей магазинов с вывеской «ВИНО».

Лохматые хулиганистые подростки с гитарами и велосипедными цепями пили в подворотнях бормотуху, пронзительными голосами кричали, матерились и громко хохотали.

А на углах стояли подкрашенные дешевки с прозрачными лицами идиотов.

Ах, пророки, прорицатели, предсказатели, сказители! Иерархи и юродивые! Вы это имели в виду, предрекая – быть Москве Третьим Римом? Вы про что толковали, про величие или вырождение?

Эх, дураки, мать вашу! Все сбылось...

Севка плавно притормозил около моего дома, встав сразу же за моим обшарпанным грязным «москвичом». Я подумал, что наши машины похожи на своих хозяев.

– Смотри, бегают еще твой «москвиченок», – удивился Севка.

– Бегают.

– Пора менять на новую...

– Хорошо, завтра куплю «мустанг»... – Я полез из машины, норовя как-нибудь так попрощаться, чтобы не давать Севке руки, но он положил мне свою крепкую большую ладонь на плечо и сказал негромко:

– Алеха, не дури. Не из-за чего нам ссориться. Ты этого не знаешь, но еще поймешь. Ты еще поймешь, Алешка, что тебе глупо меня ненавидеть. Да и за что?..

Я захлопнул за собой дверцу, и Севка крикнул мне в окошко:

– Завтра приходи к старикам обедать...

И умчался.

Господи, зачем ты отнял у меня мой голубой монгольфьер?

Вчера в издательстве мне сказала редакторша Злодырева: «Ваш герой в романе заявляет – мы погибнем от заброшенности и озабоченности». Что это значит? Действительно – что это значит?

Ула! Ты ведь знаешь, что это значит. Какая пустота! Какая бессмыслица во всем. Мне надоело все. Мне надоела эта жизнь. Я сам себе невыносимо надоел.

Идти домой было боязно – там темнота, запустение, в коридоре поджидает ватный кабан Евстигнеев.

Отпер дверь «москвича» и сел за руль. Не знаю, сколько я сидел в маслянистой тишине, облокотившись на пластмассовое колесо баранки. А дальше все произошло как под гипнозом. Я сунул в замок зажигания ключ, мучительно заныл от усталости стартер, чихнул, затрещал, рывкнул мотор, и, не давая ему прогреться, а скорее самому себе одуматься, остановиться, перерешить, рванул руль налево, колеса спрыгнули с тротуара, и я помчался по улице...

Я гнал по пустынным улицам, вжимая каблуком до пола педаль акселератора, и мотор захлебывался от напряженного рева, полыхал большой свет фар, тревожно бились оранжевыми вспышками на поворотах мигалки, когда я на полном ходу прорезал редееющие ряды машин,

колеса испуганно гудели на выбоинах и трамвайных рельсах. Засвистел у Красных ворот милиционер, но я плевал на него. Что будет завтра – не имеет значения, а сейчас никто меня не мог догнать и остановить. Я бежал от себя самого.

Бросил незапертую машину во дворе, вбежал в подъезд, поднялся на лифте, нажал на кнопку звонка и, услышав за дверью негромкие шаги, почувствовал, что у меня сейчас разорвется сердце.

– Что с тобой? – испуганно спросила Ула.

Я толкнул ее в переднюю, захлопнув за собой дверь, и прижал изо всех сил к себе.

– Ты моя... никому не отдам... ты моя душа... ты мой свет на земле... ты мой монгольфьер... ты вода в ладонях... ты воздух... ты свет... ты остаток моей жизни...

Ула не отталкивала меня, но она была вся твердая от напряжения и уходящего испуга. Она молчала. Она не раздумывала – она слушала себя самое.

В освещенной комнате на стене мне была видна большая фотография деда Улы – смешного старикана в пейсах, картузе и драповом пальто, застегнутом на левую сторону. У него сейчас лицо было как у иудейского царя – высокомерное и горестное. В нем была замкнутость и неодобрение. Мне пришла сумасшедшая мысль, что Ула прислушивается к нему. От страха я закрыл глаза и почувствовал, как она обмякла у меня в руках.

10. Ула. Мой любимый

Мне кажется, я помню тот вечер, когда мы пришли сюда.

Отгрохотала тяжелая, труднодышащая гроза, унося лохмотья туч на восход, туда – за мутный Евфрат, бурливо-желтый Худдекель, еще называемый Тигр.

Бушевали на горизонте голубые сполохи молний, и в их истерических коротких вспышках видны были низкие кроны пустынных акаций ситтим, прижимающихся к земле, как спящие звери.

Красный мокрый грунт. Пучки клочковатой выгоревшей травы.

Пахло горелым навозом, прибитой пылью, пряными цветами.

Вдалеке у леса багровым заревом нарывал костер.

Человек спрыгнул на Землю, и отпечатались в ней его следы. Наклонился и набрал рукой пригоршню, помял в ладони.

– Адама – глина, – сказал высоким звенящим голосом.

Помахал рукой на прощание, крикнул:

– Будь благословен, Пославший нас!

И пошел на север, в сгустившуюся тьму, где расстилалась земля обетования, суровая колыбель новой жизни, юдоль горечи, вечного узнавания.

Его еще видели все, когда он поскользнулся в луже и упал, перемазавшись в глине.

И слышали в немоте ночи его смех и его голос, в котором дрожали слезы бесстрашия, упорства и одиночества:

– Я – Адам. Сотворенный из глины. Я – Адам. Помните меня под этим именем. Я – Адам...

Адам... Адам... – звучало в моих ушах, а я уже не спала.

Да я и раньше не спала. Блаженство было невыносимым, как мука, и сотрясающие меня токи с ревом и стоном оживляют ячейки моей древней памяти, заглушая, стирая все происходящее вокруг.

Повернулась на бок и увидела, что Алешка не спит. Он смотрел мне в лицо, положив свою горячую ладонь на мою спину. Прижал меня ближе к себе, и мы молча смотрели друг на друга и думали мы об одном и том же. Я уверена: он тоже вспоминает, как мы познакомились.

А я вдыхала его сильный горьковатый запах и смотрела, как мерцают блики уличного света в его глазах.

* * *

...Я ехала на день рождения к подруге – от метро «Войковская», почти час на автобусе до Бибирева. Зима. Конец декабря. Он вошел на остановке, рослый, красивый, без пальто и без шапки, и от его белокурой головы поднимался прозрачный парок. Он прижимал к себе три бутылки шампанского. И был уже слегка навеселе. Почему он без пальто? Он огляделся мельком в автобусе, увидел меня. Шагнул ближе, свалил на сиденье бутылки, как дрова, и сказал:

– Девушка, у меня нет мелочи. Купите у меня за пятак бутылку шампанского!

– Я не делаю дешевых покупок, – сухо сказала я ему и отвернулась к окну. Он мне понравился, он мне сразу очень понравился...

Алешка приподнялся на локте и стал целовать меня в грудь, жесткие шершавые губы, волнующие, алчные, ползет от вас по коже шершавый холодок, сладко замирает в груди.

...Он уселся рядом, сложив свои бутылки на колени.

– Поеду без билета, – сказал он весело. – И если контролеры заберут меня в милицию, грех падет на вашу распрекрасную головку.

Я молча смотрела в окно, в круглую черную дырочку, протертую в наледи на стекле – прорубь в черный бездонный мир, оттаянную любопытными теплыми пальцами. Громадный океан тьмы, слабо подсвеченный огнями уличных фонарей и встречных машин – глубинных фосфоресцирующих жителей. Агатый дымчатый кружок – иллюминатор батискафа, проваливающегося в бездну. Я видела, как там, за тонкой холодной стенкой, взмахивают костистыми плавниками голых веток заледеневшие деревья-рыбы и упираются в мой зрачок стальные глаза светодиффузоров, висят невесомые коробки затонувших домов.

Он мне очень нравился. И я боялась его. Я не хотела его тепла, мне боязно было смотреть, как курится белый парок над его головой, я так страшилась взглянуть в его светлые глаза оккупанта! Но он мне нравился. С ним было не так ужасно в душной капсуле батискафа, летящего в тартары...

Алешка думает о том же, он вспоминает вроде бы отдельно, но и вместе со мной. Я закапываюсь лицом в его грудь, а от рук его, быстрых, жарких, легко скользящих по моему животу, ногам и снова по груди, вливается в меня сухой жар, и каждая клеточка рвется к нему – быть ближе. Господи, неужели когда-то его не было со мной?!

* * *

Он остановил бесцельный пролет батискафа, ткнув пальцем в мои чахлые гвоздики, запеленутые вспотевшим целлофанчиком:

– У вас есть цветы, а у меня вино. У вас – очевидная красота, а у меня – общепризнанный талант. Давайте объединим наше богатство и станем счастливы, как первые люди.

– Слушайте, талант, по-моему, вы просто волокита. Дайте пройти, сейчас будет моя остановка.

– Какое совпадение! Моя – тоже!

Это он, конечно, врал. Ему надо было выкидываться в створчатый люк батискафа давным-давно, когда плавающие в черноте пятиэтажки Лихоборов висели на самой малой глубине...

Алешенька, любимый мой, почему люди не придумывают названия для любовных игр? Я не понимаю, почему, написав миллионы стихов о любви, романтики, мечтатели и поэты постыдились дать имя блаженному слиянию, венцу и вершине любви, и осталось оно как название болезни – имуществом и достоянием врачей, именующих его собачьим словом «коитус», и арсеналом хулиганья и дикарей, подобравших ему матерные прозвания и пакостные клички.

Алешка, как крепки твои руки, как горячи твои бедра на ногах моих, которые я распахиваю тебе навстречу, любимый мой! И сколько бы раз мы ни любили друг друга до этого, сердце снова замирает в миг, когда ты со стоном-вздохом-вскрикомходишь в мое лоно, разжигая своим яростным факелом внутри все нарастающее пламя, гудящее, слепящее, счастливое.

– ...Я иду с вами, – сказал он на заснеженном кусочке бездны – наш батискаф с хриплым урчанием уже мчался дальше вглубь, унося во мрак и прорву Бибирева красные хвостовые огни.

Я молча пошла по тротуару, надеясь и боясь, что ему надоест и он отстанет. Но он шел рядом, насвистывал, радостно смеялся, разговаривал, будто сам с собой:

– А почему бы и нет? Где же еще в наше время знакомиться двум приличным людям? На работе все надоело. Всех знакомых уже знаешь. Знакомых знакомых – тоже. В рестораны женщины ходят со своими мужчинами. На концертах я не бываю. В библиотеки не хожу. Нет, автобус – все-таки самое подходящее место. И пожалуйста, не спорьте со мной, я это понял точно.

– Я с вами не спорю. А знакомиться не хочу.

– А почему? – искренне удивился он. – Почему, не зная обо мне ничего, вы заранее против меня? Подумайте сами, со сколькими дрянными людишками вы знакомитесь только потому, что какой-то третий, тоже малознакомый гусь говорит: «Познакомьтесь, это мой друг» или «Это наш новый сотрудник».

Я засмеялась и спросила:

– Чего вы ко мне привязались? Зачем вам нужно это?

Он загородил дорогу, поставил на снег свои бутылки и серьезно сказал, прижимая руки к толстому свитеру:

– Вы – женщина из моего забытого сна. Я забыл вас, когда проснулся. А сейчас увидел в автобусе и сразу вспомнил. Конечно – это вы! Вы мне приснились впервые очень давно, на рассвете, а потом еще снились много раз. И я снова забывал. Но я знаю ваш голос, ваши словечки, я помню ваш смех, я испугался сейчас, увидев сердитую морщинку на переносице – это уже было!

Я не удержалась и сказала глупость:

– Вы это всегда говорите, знакомясь в автобусе?

Он зажмурился, потом смущенно улыбнулся:

– Не надо так. Вы разрушаете память сна моего...

Я рассердилась – идиотизм какой-то! Выпивший человек без пальто, зима, вечер, бездонная затопленность пустынного Бибирева.

– Я уйду! Мне надоело. И вы идите домой, вы простудитесь, сейчас очень холодно.

– Может быть, – кивнул он и пошел за мной.

– Куда вы идете? – спросила я через несколько шагов.

– К вам домой.

– Я иду не домой, я иду в гости!

– Еще лучше. Вы сразу поймете, что я лучше всех ваших старых знакомых...

Да, мой дорогой, ты был прав, ты лучше моих старых знакомых, лучше новых, лучше незнакомых. Для меня – лучше.

Какая в тебе нежность и сила! Когда ты любишь меня, когда ты
входишь в меня, у тебя всегда закрыты глаза, ты весь во мне.

Ближе!

Ближе!

Возьми все, мой любимый!

Как тяжело ты прильнул ко мне, какая сила внутри меня от твоей
мускулистой тяжести!

Теснее!

Крепче!

Крепче!

Какая радость!

Она бушует во мне и ревет.

Отнялись ноги. И руки не весят ничего.

Только твоя тяжесть на мой груди.

Ты щит на сердце моем.

Ах, как легко, как невесомо лечу я над миром!

Какая счастливая истома в спине!

Нечем дышать.

А впрочем – и не надо!

Я – двоякодышащая,

я дышу каждой порой. Каждой клеткой.

Сильнее,

Алеша!

Сильнее,

любимый!

Пусть будет тебе сладостно со мной —

мы прилепились друг к другу.

Мы стали одной плотью.

...А тогда, в Бибиреве, на улице, измученной зимой, стоял он без шапки, с бутылками
в руках, и со смехом говорил, что незнакомых мужчин очень даже удобно приводить в гости.
И шел со мной до дома, до подъезда, до самой двери, и, когда уже на лестничной клетке я
пыталась прогнать его, страшась, что уйдет, он сказал мне:

– Я замерз и никуда не пойду... – и нажал кнопку звонка.

Прислушиваясь к гомону за дверью, я механически спросила:

– А где же ваше пальто?

Простучали в передней каблуки, с железным чавканьем заелозил замок, но он успел отве-
тить:

– У меня нет пальто. У меня была куртка. Как у папы Карло. Я поменял ее на шампанское.

Распахнулась дверь, в передней было полно людей, все они радостно, нетерпеливо
заорали, и этот безумный сон продолжался – никто не удивился, что я вошла в дом из зимы,
с улицы, с раздетым незнакомцем, все кричали:

– Быстрее, быстрее! Мы жаждали! Садитесь...

– Алексей Епанчин...

– Очень приятно. А это вы пишете такие смешные рассказы в «Литературке»?

– Случается.

– Ой, как здорово! Девочки, помните, мы еще хохотали...

– Я вас сейчас не так рассмешу!

– Ула, ну что ты копаешься – как замороженная...

– Значит, вас зовут Ула...

– Где вас посадить, Ула?

– Слушай, Улка, а что же ты не говорила, что с ним знакома?

– Я с ним не знакома.

– Ха-ха-ха – ты всегда что-нибудь сказанешь.

– Эйнгольц, подвинься на диване.

– Ой, какое шампанское холодное, просто прелесть.

– Ула, я же вам говорил – вы женщина из моего утреннего сна...

Не беги так, время! Остановись! Продли мою невесомость и тяжесть чресел моих, полных тобой, Алеша.

Если бы так было всегда!

И кажется, не может быть счастья острее и светлее, и все-таки – наслаждение становится все больше.

И сильнее.

И подъем еще вершится, и туманное полузабытье, полное страсти и движения, воздымает меня все выше.

Не верится, будто такая радость может еще расти, и хочется рухнуть в беспамятство опустошенности.

Быстрее,

любимый,

быстрее!

...Как быстро пролетел тот вечер! Действительно – он был лучше моих старых знакомых. Как он веселился, шутил, произносил пышные грузинские тосты, рассказывал анекдоты с веселым легким матерком, вызывая восторг целомудренной интеллигентной компании.

А на меня не смотрел, не говорил со мной, просто не замечал, будто знакомство со мной ему понадобилось только для того, чтобы проникнуть в эту недостижимую для него компанию рядовых служащих, маленьких научных работников. Я начала тихо ненавидеть его. Пока он не подошел ко мне и строго не сказал:

– Собирайтесь, мы идем.

– Куда? – удивилась я.

– Домой. Я честно отработал номер.

Самое удивительное, что я безропотно встала и начала собираться. Господи, какое счастье, что я не стала с ним спорить, препираться, не послала его ко всем чертям!

Ветер вспурживал по земле низкие белые гребешки снега, ой, как было холодно! А он шел рядом, без пальто, без шапки, засунув ладони под мышки. Мелькнул зеленый фонарик такси. Я помахала рукой.

Он спросил со смехом:

– А у вас деньги-то есть? У меня – ни копя!

– Садитесь, подкидыш, черт вас подери! – сердито сказала я. – Где вы живете?

– Это не имеет значения – мы едем к вам. Спать.

Он говорил не нахально, а несокрушимо твердо. И в его раздетости, в безденежье не было жалости, а звучало в его голосе уверенная радостная раскованность человека, доплывшего до берега с затонувшего корабля. Чего стесняться и о чем жалеть, коли под ногами снова

твердь земная? И пока подтормаживало рядом с нами такси, я сказала ему, старательно скрывая необъяснимую внутреннюю дрожь:

– Я не собираюсь с вами спать.

А он очень крепко прижал меня к себе:

– И не надо. Пока – не надо. Счастье – не в тех женщинах, с кем хочешь спать, а в тех, с кем хочешь просыпаться. Их на земле единицы. И мне повезло – я встретил вас в автобусе...

Любимый мой,

мы —

наверху!

О-о, я больше не могу! Не могу! какая боль, какая радость! Судорога наслаждений,

пик восторженной муки,

вот оно, счастье соития!

Ты весь —

во мне,

я чувствую тебя под сердцем.

Не вздохнуть,

не шелохнуться,

все отнялось.

И трепет плоти —

последняя конвульсия,

как смерть зерна —

перед зачатием нового плода.

И дыхание твое – хрип, и тело твое бьется в моих объятиях, словно улетающая птица. И стон твой на пытке любви – как песня.

...Я до сих пор не могу понять, что произошло со мной в тот вечер – почему не прогнала его, не высадила где-то в центре из такси. Я привезла его домой, замерзшего, пьяного, счастливого, загнала в горячую ванну, а потом показала диванчик на кухне:

– Здесь вы будете спать. – А он молча мотал головой – нет, не буду.

И не стал. А спал со мной, и нам было прекрасно. Как сейчас. Как всегда, когда мы вместе.

Только под утро я задремала, а проснувшись, увидела, что его нет.

Его рядом со мной не было. И стало мне обидно и тревожно. Приподнялась на локте – на его подушке лежал исписанный неряшливым торопливым почерком лист. Я поднесла его к глазам, в неверном свете зимнего утра было не разобрать.

«Любимая! Не просыпайся без меня, не вставай. Скоро буду».

Куда это его понесло спозаранку? Я облегченно засмеялась и снова погрузилась в дремоту.

Без пальто и без шапки. Придурок.

А еще говорил, что хочет просыпаться со мной! Впрочем, он – проснулся, это я проспала...

Алешка лежал, не шелохнувшись, почти не дыша, отстраненный, отрешенный, очень далекий, совсем чужой.

Ах, как далеко нас разбросало во время стремительного падения с вершины счастья. Алешенька, ты ведь знаешь тысячи слов, ты ведь держишь их все в голове, как фокусник диковины в кармане. Придумай слово – имя любви. Она безымянна и от этого будто нема. Люди совестятся называть ее гадкими именами. И в ней самой появляется от этого гаденький тусклый налет.

Алеша, как хорошо, что ты настоящий мужчина, что ты знаешь сокровенную тайну любви, и от этого я чувствую, я знаю наверняка: тебе неведомо мерзкое слово «коитус», когда тыходишь ко мне. И ты не совокупаешься со мной, не гребешь меня, не трахаешь – ты познаешь меня.

...А тогда, утром, я проснулась вновь от трезвона дверного звонка, рвавшегося от злости и нетерпения. Накинула халат, выбежала в переднюю, распахнула дверь, огромный букет роз вплыл яростным взрывом света в сизый унылый сумрак, и на нем висел, как на летящем аэростате, Алешка.

Без пальто и без шапки. С сизым от холода лицом. Смеющийся, легкий, пролетел он на своем волшебном букете в комнату, бросил его на стол, и рассыпавшиеся розы завалили его, их было так много, что они падали на пол...

Схватил меня в охапку, и озноб объял меня от холода его рук, от ледяного прикосновения его толстого свитера, и мы бросились на тахту – как в воду.

Он любил меня, не успев раздеться, весь трясущийся от стужи и возбуждения, но и тогда он был мне сладостен, он познавал меня.

– Где же ты взял такие цветы? – шептала я растерянно.

– Они росли на тротуаре около твоего дома. Я сорвал сто одну розу – на каждый год нашей жизни с тобой...

И началась моя странная жизнь с этим сумасшедшим, который менял пальто на шампанское, печатал в периодике нелепые – как бы смешные – рассказы, забившись в угол тахты, читал мне по ночам свою удивительную фантазмагорическую прозу, отнимал мою зарплату на выпивку и покупал у кавказских спекулянтов букеты из сто одной розы.

Алешка заснул. Он спал, уткнувшись лицом в подушку, судорожно вцепившись в мою руку, тихонько постанывая и всхлипывая.

11. Алешка. Зуб буфетчицы Дуськи

Проснувшись, я подолгу смотрю в неподвижное лицо Улы и гадаю – спит или слушает себя? И томят меня нежность, удивление, отчаяние.

Я никогда не знаю – останешься ли ты со мной до вечера.

Редеют сумерки, и в сгустившемся свете видно, что лицо твое стало беззащитно-детским, как у вифлеемских младенцев перед избиением. И тогда ревет во мне их голосами тоска – тоска по нашим детям, которым не суждено родиться никогда – ибо бессмысленно и жестоко плодить нищих алкоголиков и истеричек.

А ведь наверняка Ула мечтала иметь ребенка. Детей. Много.

Даже этого я ей не дал...

Спи, моя любимая. Ты – моя судьба. Ты – мое всегдашнее ощущение зыбкости этой жизни, ты мое постоянное искушение и вечный укор. Ты – моя единственная надежда на новую, иную жизнь.

Я неудобно лежал на одном боку, боясь разбудить Улу, слушал ее тихое дыхание, и в слабом свете занимающегося утра рассматривал ее лицо, и мое сердце сжималось от нежности и испуга. И меня все время раздражала ветка шиповника в стеклянной банке на столе. Толстые набухшие цветы, как треснутые помидоры.

Я высвободил потихоньку руку из-под шеи Улы, сполз с тахты, на цыпочках подошел к столу и вытащил ветку из банки. Уколол руку, холодные капли с нее падали на мой голый живот.

Высунулся из окна и кинул ветку вниз. Она падала почти отвесно, тяжело, и только отдельные лепестки с перезрелых цветов отрывались на лету и медленными красноватыми каплями кружились в воздухе.

Глухо, как тряпка, с мокрым шлепком шмякнулась на асфальт. И казалась сверху просто грязным черным пятном на сером асфальте.

Прочь от воспоминаний! Прощай, память. Сладких тебе сновидений. Ула, я должен ехать. Долгое утро, медленные сборы. Сегодня – воскресный обед у моих стариков, обязательный, скучный, последний узкий мостик в семью, когда-то сплоченную, как кулак в ударе, а ныне растопырившуюся слабой пригоршней попрошайки у судьбы.

Неслышно притворил за собой дверь, еле слышно цокнул замок, я спустился на один этаж и оттуда вызвал лифт – я не хочу, чтобы тебя, Ула, разбудила гремящая коробка лифта, я берегу твой покой, Ула. Я берегу твой покой и боюсь грохочущего тормоза лифта, я боюсь кричащих во мне воспоминаний.

Боже, какой тяжкий дал ты нам крест – нашу память!

Качается кабина в темной шахте, гудят тонкие стенки, визжат над головой тросы – я стою в пластмассовой коробке, подогнув немного колени, упершись изо всех сил руками в дверь. Я уверен, что умру в оборвавшейся кабине лифта. Лопнет последняя нитка давно перетертого троса, и полетит вниз моя хрупкая скорлупка с воем и железным скрежетом, преследуемая чугунной чушкой противовеса.

Дурацкая фантазия! Этого не может быть. Тросы проверяют в первую очередь. Но все стали так плохо работать.

Растворяются двери, и я сразу же забываю о своем страхе. Пока снова не войду в лифт. Мы входим в свои воспоминания, как в лифт – ап! – захлопнулись дверцы, нажимайте кнопки лиц, времен, событий – поехали.

Я сел в незапертую машину и удивился, что за ночь ее всю не разворовали. Завел мотор, из ящика достал пачку мятых сигарет и с удовольствием, со вкусом жадно затянулся. Слушал гул прогреваемого мотора – чвакали и стучали разбитые поршни в изношенных цилиндрах, пронзительно свиристела помпа, маячили перед глазами раскачивающиеся стрелки приборов. Курил и думал о себе, и мысли эти были мне противны. Ибо со мной случилась беда – и виновата в ней тоже была Ула.

Я стал раздумывать в последнее время о смысле жизни. А это худшее, что может случиться у нас с человеком, поскольку с этого момента над ним начнет дымиться серый нимб обреченности.

Докурил, включил первую скорость и поехал тихонько со двора. У ворот остановился, отворил дверцу и посмотрел наверх – Ула стояла на балконе. Я высунулся и заорал: «Вечером приеду!» – и она помахала рукой.

Сейчас надо обязательно выпить. Я автоматически вырубивал в направлении Садовой и медленно соображал, где можно в такую рань, да еще в выходной день хлебнуть стакан-другой.

Те, кто задумался о смысле жизни, наверное, умирают в такие часы. Когда выпьешь – оно все-таки легче. А вообще-то – не факт.

Генка Шпаликов повесился в Переделкине на рассвете. На столе – полбутылки бормотухи, надкусанное яблоко и раскрытый том Флобера. Почему Флобера? Непонятно.

А Голубцов выстрелил в себя из охотничьего ружья вечером, часов в десять, магазины были закрыты, да и денег не было.

Манана Андронникова, безумная, отчаявшаяся, выбросилась ночью из окна и повисла, пронзенная насквозь флагштоком праздничного украшения в честь Международного женского дня.

И Юлик Файбишенко, талантливый беспутный босяк, весельчак и пьяница, удавился на своем ремне – в лесопосадке у железной дороги под Донецком. Я читал заключение – «...в

полосе отчуждения железной дороги...». Как ты попал в полосу отчуждения под Донецком? Что ты там делал? Почему ты именно там понял, что никакого смысла нет, что все мы вялые похмельные ханурики? Ничего не разобрать – все сумеречно и мутно, как наши замусоренные искривленные души.

Я не хочу умирать. Я утратил вкус к жизни, но я еще не потерял надежду. У меня есть Ула, – может быть, что-то еще случится, может быть, она выведет меня из этой мглы и потери самого себя.

Ох, Господи, как мне тяжело! Только выпивка ненадолго освобождает от этого страшного сумасшедшего напряжения. Надо быстрее выпить!

Быстрее! Быстрее! Правильнее было бы остановиться и подумать – куда вернее податься в это безвременье, но во мне уже все бушевало, кричали пронзительными голосами внутренности – дайте выпить! Мне надо выпить!

Сердце билось редко, тяжело, с густым протяжным всхлипом.

Володька Вейцлер умер в воскресенье утром – негде было опохмелиться.

А у Олежки Куваева остановилось сердце за несколько часов до свадьбы – посовестился в доме у невесты попросить стакан водки.

Всем им не было сорока, и уже давно пришла мука – неразрешимый вопрос о смысле жизни. Нигде, как в России, нет столько писателей – тяжело пьющих людей, безнадежно убивающихся совестью.

Беда в том, что сейчас всерьез разговаривать о смысле жизни стало смешно. Почти неприлично.

Большинство людей вообще пробегают через жизнь, не успев задуматься о такой ерунде, как ее смысл. Загнаны, озабочены, замучены, утомлены пустяковыми неприятностями. Целый день голодны, а вечером слишком сыты.

Быстрее! Быстрее! Как хорошо, что по утрам в воскресенье так мало машин, так мало пешеходов.

Стоп! Стоп! Направо! В первый ряд! Вспомнил! «Моська» с визгом вынес меня на Новослободскую – прямо на Савеловский вокзал. Если в буфете дежурит Дуська, у нее найдется и выпить.

Они работают сутками. Сутки торгуют, двое отдыхают. Тридцать три процента вероятности. Если она выходная, поеду на аэровокзал, там в ресторане у швейцара Коломянкина всегда есть водка по двойной цене.

Подогнал машину к кассовому залу – оттуда ближе к буфету, – выключил мотор, и «моська» еще судорожно подергался и забулькал, его сотрясал азарт детонации, он разделял мое состояние, у него, наверное, тоже абстиненция. Я уверен, что мы передаем своим машинам свою судьбу, свой характер. Старея вместе с нами, они, как жены, становятся похожими на нас внешне.

Пробежал по лестнице, через две ступеньки, ворвался в буфет, рысью ударил к стойке – над ней возвышалась раскаленным идиолом Аку-Аку подруга моя Дуська, разлюбезная моя воровка, дорогая моя спекулянтка, родненькая моя несокрушимая вымогательница – проклятая ты наша спасительница, мерзкая наша надежда, отвратительная утешительница моя. Гора неряшливо слепленных окороков, бесшумно и ловко снует она за прилавком, взвешивает, наливает, выдает, принимает, негромко и зло командует двумя подсобными девками-чернавками, проходящими у нее трудную науку украсть с каждого завеса, недолива в каждый стакан, обсчета пьяных, всучивания тухлятины, сбавливания «левака». Громадная, как всплывший утопленник, она не знает удержу и усталости в воровстве, страха перед милицией и жалости к своим пропившимся должникам.

Она сухо кивнула мне и показала глазами на дверь подсобки, я нырнул в заставленную ящиками и коробками клеть, и она вышла мне навстречу из-за шторки:

- Ну?
- Стакан.
- Два рубля.

Она наливала водку, томя меня дополнительными секундами ожидания, сначала в мензурку – наверное, для того, чтобы точнее самой знать, сколько недолила. И отодвинула меня от тарированной стекляшки подальше своим рыхлым огромным плечом, и на лице не было черточки человеческой – только губы еле шевелились.

Ап! А-ах! Ой-ой-ой! Пошла по горлышку, покатила. Полыхнуло пламя, задохся. И тишина.

Открыл глаза – смотрит на меня Дуська равнодушно, оценивающе – на сколько еще стаканов располагаю.

Я только один раз видел на ее красномясом лице человеческое выражение – гримасу страдания. У нее чудовищно болел коренной зуб. Но смениться и пойти к врачу она не хотела ни за что – пропал бы весь профит за смену. Она страдала, но, как настоящий боец, погибая от боли, свой боевой пост не покидала. Я был в тот момент как сейчас – на первом веселом кайфе, когда все легко, никого не жалко и душа закипает жестоким озорством. Я сказал ей:

- Давай вырву зуб. И все пройдет...

Окинула меня оценивающим взглядом:

- А умеешь?

- Чего тут уметь...

- Чем рвать будешь? – деловито спросила Дуська.

– Пломбиром, – кивнул я на никелированные толстые клещи, которыми она опечатывала буфет.

Она твердо уселась на ящик с консервами «Сайра», широко расставив свои окорока, мрачно приказала:

- Давай, чего там...

Мы боролись, как античные герои. Я засунул ей руку в пасть, упираясь локтями в наливные зельцы толстенных грудей, она мычала и басом взревела, когда я накладывал, умащиваясь поудобнее, пломбирочные клещи на ее желтый бивень, там что-то хрустело и пронзительно трещало, она сжимала меня, как в оргазме своими пылающими мягкими ляжками, страшными ручищами вцепилась в мои ягодицы и выла жутким нутряным стоном, а я раскачивал клещами зубище, ломая, к чертям, ее десну, и руки мои заливала ее густая, как пена, слюна и горяченькие жиденькие слезы, она хрипло дышала, я чувствовал в этой извращенческой близости с ней трепыхание ее несокрушимого сердца злого животного и входил в еще больший садистский азарт – так, наверное, убивают.

Сжал изо всех сил клещи и рванул на себя – хрясть! И сам испугался грохота, с которым вылетел зуб, будто сосновую доску переломили.

Огромный зуб, на четырех корнях-ножках, как у пожилого мерина. Он был размером с мой мизинец. В ошметках мяса.

Оцепенело смотрела на меня Дуська, сплевывая время от времени на пол сгустки крови. Я положил зуб в спичечную коробку и сказал:

- Зуб я возьму себе...

Не открывая рта, полного крови, она покачала головой и показала мне кукиш величиной с грушу.

- Я тебе за него рубль дам, – предложил я.

Она подумала немного, утвердительно кивнула.

Я зуб берегу. В нем есть страшное значение. Однажды он из символа, отвратительного талисмана, станет реальностью...

- Еще выпьешь? – спросила Дуська.

Хотелось. Уже было хорошо, прекрасно было бы добавить. Но мне надо сегодня к старикам. Нельзя приходить пьяным до начала игры.

– Нет, я пойду.

– Иди. – И выпихнула меня за дверь.

«Моська» стоял у тротуара замурзанный, серенький, будто дремал. Я пнул его ногой в колесо – поедем? Капот мотора был еще теплый.

Уселся за руль, достал из тюбика таблетку валидола, пососал не спеша – не от сердца, а чтобы сбить маленько водочный запах. Поедем, пожалуй. Хорошо бы «моську» вымыть. В условиях нашего неназойливого сервиса уйдет на это часа два. А! Так обойдемся!

Завел мотор и покатил в центр. Оттуда на Ленинский проспект, на Профсоюзную, в Зюзино. По пустым улицам летнего, пустого, словно вымершего города, я катал самого себя, свое одиночество, свои грустные копеечные размышления.

Это было приятное, необременительное одиночество, почти покой – когда спирт в твоей крови убил адреналин, наступил недолгий химический баланс. Мозг ясен, мысль легка, и нет мучительного бремени уставшего тела, нет волнующего присутствия Улы и нет взвинчивающего разгона нарастающей пьянки, не надо выламываться перед приятелями и нет повода взъяриться на коллег-идиотов, не вызывает ненависти начальство, и невозможно заплакать из-за тупости родителей.

Я ехал по необитаемым улицам городской пустыни, где дома были неотличимы, как барханы, и замурованы, как термитники, и твердо знал, что людей там нет – их всех увел за собой волшебной дудочкой бродячий крысолов.

Зачем поверили? Теперь не вернетесь никогда.

Как мне было покойно и хорошо – какие я придумывал книги! И без сожаления их сразу забывал. Маленькая кабина «моськи» была полна голосов – отчетливо звучали и навсегда отлетали, растворившись в шорохе колес, диалоги выдуманных людей, удивительно живых, настоящих, ярких! Одним подрагиванием ресницы я стирал их внешность, и они исчезали, будто в клубах дыма, и выскакивали из этих волшебных кулис уже преображенные, и характер у них был другой, и говорили они другими голосами совсем иные вещи.

У них были прекрасные идеи, и выражали они их с элегантно лаконичностью.

Мне это было так легко! Почему же так трудно все это начирикать перышком на бумаге?

Ах, какие божественные драматургические повороты! Какие сказочные рывки сюжета!

Эй, люди, куда же вы? Зачем вы все послушно бредете за унылым крысоловом? Вы ведь больше не вернетесь! Не слушают. Не хотят слушать. Они все – придуманные и живые – хотят верить дудочке крысолова.

Ну и черт с вами! Поеду дальше, придумаю других. Придумаю и вспомню.

Если хорошенько припомнить, то ничего и придумывать не надо – со мной уже было все.

Но сейчас не хочется вспоминать, потому что почти любое воспоминание окрашено черно-желтым цветом горечи.

Сейчас лучше придумывать. Катится «моська» по безлюдным улицам, катится стрелкой по циферблату, теплый толстый ветер вваливается в открытое окно – он пахнет травой и пылью, хрипло мурлычит приемник, не заглушая голосов набившейся в машину компании. Пора разворачиваться, ехать к старикам на обед, и еще на полпути вся компашка незаметно выскочит на ходу – по одному, не прощаясь. Навсегда.

12. Ула. Мой мир

Ходить в магазин воскресным летним утром – самое милое дело. По мне, во всяком случае. Продуктов, правда, почти нет. Но покупателей немного. Все отоварились за пятницу и субботу.

По пятницам с половины дня служащие бегут из своих бесчисленных учреждений – министерств, комитетов, управлений, бюро, контор, дирекций, институтов, секторов, отделов, подотделов, групп, отделений и советов – и бурным потоком врываются в магазины, заполненные бесчисленными провинциалами, крестьянами – ударниками полей, прочим городским людом, добывающим на уик-энд колбаски, масла, кусок мяса, а в случае особого везения – импортную курицу, поскольку отечественная птица превратилась в такой же реликт, как птеродактиль.

Горожане набирают еду авоськами, командированные – чемоданами. Крестьяне, наши кормильцы, нагружаются мешками. Ничего не попишешь – кушать всем хочется.

Странно, однако. Крестьяне ездят в город за мясом и маслом, горожан тысячами посылают работать в колхозы. И те и другие недовольны.

Нигде люди так не разобщены в своей тошнотворной сомкнутости, как в очереди за вареной колбасой. Нигде так люди не проникнуты злобой, как в этой многочисленной извивающейся змее, каждый сустав которой ненавидит предыдущий и мертво равнодушен к последующему. Бесконечная гидра никогда не становится короче, и сколько бы людей ни отваливалось от прилавка, она растет с хвоста, матеря от злости и надежды урвать хоть полкило вареньюшкой. Вьются без края, изгибаются, заполняя своими кольцами магазин, змеи очередей, неспешно переваривая в себе все доброе, милосердное, человеческое.

Чем ближе к продавцу, к голове очереди, тем злее, безжалостнее, остервенелее становится змея. Ее позвонки срстаются намертво, между ними нож не просунешь, они тяжело дышат друг другу в затылок, острый пот капает на соседей, тычат в нос лохматыми подмышками и острыми локтями, их зубы сомкнуты, а глаза устремлены на прилавок – хватит ли на их долю?

Бессмысленно просить, чтобы тебя пропустили без очереди. Можешь рассказывать, что дома у тебя больная мать, а на улице двое маленьких ребятишек, что тебе нужно всего двести граммов, что у тебя улетает самолет или начался диабетический приступ. Десятиглавая гидра лишь на миг обернется к тебе, чтобы выбросить в ругательстве десять быстрых жалящих языков, щелкнуть желтыми клыками, и отвернется к прилавку, сомкнувшись еще теснее.

Люди навсегда поссорились в очередях.

Городские кричат крестьянам: «Паразиты, обжиралы проклятые, из-за вас в магазин не войти! Мешками грабите!»

Крестьяне в долгу не остаются: «Захребетники проклятые! Нешто вы этот хлеб да мясо растили? Мы вас кормим, а нам бы хоть мясного духа нюхнуть когда!»

И те и другие стараются выпихнуть из очереди командировочных провинциалов. Те отбиваются: «Вас бы к нам переселить! Узнали бы про жизнь счастливую!»

Старухи кричат молодым, старающимся занять очереди одновременно и за колбасой, и за маслом, и в кассу: «Что же вы, заразы, все ловчите, везде наперед поспевае! А нам тут хоть до ночи стой!»

А те отвечают им с пеной у рта: «Карги проклятущие! Пенсионерки, мать вашу! Что же вы днем, пока мы на работе, по магазинам не ходите? Что вас нечистая сила вечером волокет, когда нам взять что-нибудь надо?»

Сивый от старости дед тычется в очередь, как потерянный щенок, – он занял место и отошел посидеть на ящике, да забыл, за кем занял, и теперь старается в склизкой от пота, жарко дышащей змее найти свой сустав. А змея молчит. Молчит каменно, ни одной трещинки не найти в этой стене, и он скулит, уже утратив надежду: «Доченьки, родненькие, я же тут стоял, вот за бабой в зеленом, за мной еще стояла девчонка с мальцом. Где же они?»

«Нечего уходить было! Так все на шармака полезть могут – мы здесь занимали!»

А тут татарка впустила не то родственницу, не то подругу, и о дедке попросту забыли, его печаль щепкой унесла волна вспыхнувшей ярости: «Ах вы, жулье соленое! Татарва про-

тивная! Спекулянты! Гадюки! Ворье! Вам бы только русского человека нажарить! Кит манан кая барасам! Сволочи!»

Татарки зло хохочут, остро скалят золотые зубы: «Ваша все – пьяницы! Дураки! Рука убери! Отрежу!»

Татарок боятся, поэтому сразу набрасываются на унылого мужчину в галстук, шляпе, в очках, вежливо просящего продавца нарезать колбасу: «Нарезать ему! А сам – руки отсохнут? Машка, ты ему отрежь его... Шляпу надел, теллигент хренов! Дай ему по окулярам!...»

Человек растерянно моргает: «Товарищи, я вас не понимаю! Я вас не понимаю, товарищи...»

В упоении очередь ревет: «Гусь свинье не товарищ...»

Люди навсегда поссорились в очередях.

Нет, они не хуже других – американцев, немцев или французов. Но они бедные.

История нашей жизни – это драма непреодолимой бедности...

И размышлять обо всем этом по дороге из магазина домой мне легко, потому что я богата – умудрилась купить не только кусок мяса, крупы и овощей, но и сорвала кило молочных сосисок – при мне выкинули.

– Ты чего улыбаешься? – спросил меня Эйнгольц. Он сидел на скамейке у ворот моего дома. – Приглашаешь в гости, а сама...

– Не сердись. – Я поцеловала его в пухлую щеку. – Задержалась, зато вот, сосисок достала. Пока от магазина шла, человек десять спросили – «где сосисочки брали?»...

Я нарезала мясо ровными кубиками и сказала Эйнгольцу:

– Мы с тобой сегодня будем есть настоящее еврейское жаркое! С подливкой, с коричневой картошкой!

Эйнгольц развеселился:

– Это прекрасно! А то у меня завтра пост начинается – четыре недели без мяса.

– Шурик, а ты строго соблюдаешь посты? – удивилась я.

– Конечно! Мне, как сознательному христианину, негоже ловчить и давать себе поблажки. Да это и не тяжело, Ула. Если в охотку делать – не трудно совсем...

Ровными длинными спиральями скручивается кожура и падает в мойку. Неужели он действительно верит в распятого Мессию? Или это маска? Очень сложная, двойная маска, обращенная в первую очередь вовнутрь. Ах, каких только масок не напридумывало наше время! А может быть – действительно верит? Но почему в Христа? Разве может еврей поверить, будто Мессия, посланец нашего Бога, уже приходил?

– Шурик, ведь ты же еврей, – сказала я почти жалобно.

Эйнгольц усмехнулся:

– Во-первых, только наполовину. Мой отец русский. А кроме того, человеческая сущность Стратотерпца была еврейской. Но я убежден, что евреи, не признав Иисуса своим избавителем, проскочили свой поворот к истине, как заблудившийся человек в лабиринте теряет дорогу к спасению...

Я вывалила поджарившееся мясо из сковородки в чугунок – пускай томится, а сама уселась напротив Эйнгольца, не спеша закурила.

Несколько раз Шурик делал мне предложение – легко, без нажима, почти шутя, и я, смертельно боясь потерять его – лучшего, единственного своего друга, изо всех сил мягко, просто ласково, с веселым добрым смешком, полунамеками отклоняла их. Шурик – прекрасный человек, но я себе не могу представить его мужем. Это было бы ужасно. Мы дружно и спокойно прожили бы с ним какое-то время – чуть меньше, чуть дольше, – отшелушились бы и отпали пустяки и всплыло бы неизбежно главное, для меня совершенно невыносимое. Отсутствие внутреннего слуха, глухота души, неведение нашей богоизбранности, беспамятство и необязанность служения нашему Обету.

Он не знает, он не помнит, откуда мы пришли. И зачем.

А Алешка?

Я оправдываю себя тем, что и он не станет моим мужем.

Но он ведь и не мог знать того, что было заложено в генетическую память предков Шурика! И еще одно – может быть, я это придумала, но я верю, что Алешкина душа способна к возрождению. Боже, как я верю, что он может стать гораздо больше себя.

– Ула, а во что ты веришь? – смотрел на меня в упор Эйнгольц.

– Во что я верю? – медленно переспросила я.

Дорогой мой Шурик, безвинный мешумед, еще один кусочек тверди, сползший в окружающий нас океан. Ты, наверное, со мной не согласишься, мне не убедить тебя. Ты ведь все знаешь, ты все читал, обо всем передумал, а про Завет не мог вспомнить. В чужом тебе мире ты нашел ответ в христианстве, но и этот протест был конформистским.

Меня заставил так думать Эйнгольц, его приятели-евреи, принявшие христианство. В долгих разговорах они доказывают мне, что этика христианства и христианская евхаристия выше иудаистской.

Я с ним не спорю. Я думаю, человек не может прийти к вере через дискуссию. Искренняя вера – озарение, это саморазвивающийся талант, это культура постижения истины и смысла твоей жизни.

И я говорю без надежды, что он поймет меня:

– Я верю в бессмертие праведных душ. Я верю в будущий рай.

– А в ад? – спрашивает с легкой усмешкой Эйнгольц.

– А в ад я не верю. Ада нет. Ад – это смерть, конечность существования, отказ в бессмертии. Ад – это забвение.

– А кто решит твою судьбу? Кто оценит праведность?

– Наши судьбы решаются каждый день. Нашим Богом, высшим разумом, приславшим нас сюда. Умершие праведники попадают в рай. Праведность – это мудрость и доброта, они не могут здесь исчезнуть с нашей плотью. Они нужны там...

– Но здесь они еще нужней?

– Как знать! Бог посылает новых...

Шурик медленно проговорил:

– У апостола Павла сказано: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит – любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Наклонила я голову:

– Ты говоришь. Я верую.

– А как ты вернешься к себе? – с участием спросил Шурик.

– Не знаю. Этого никто не знает из живущих. Может быть, это вроде телепортации.

Эйнгольц развел руками:

– Ну-ну-ну, Ула! Это уже разговор не из теологии, а из научной фантастики...

– Почему? Если бы Александру Вольта показали цветной телевизор, он бы сошел с ума.

А мы смотрим футбол из Аргентины – ничего?

– Естественный технический прогресс!

– Нет, мне не кажется этот процесс естественным. Ты никогда не задумывался над очень странной вещью: люди высадились на Луну, а про себя не знают ничего! Что такое наше мышление? Что такое память? Что наши сны? Что такое наша биология вообще? Ничего не известно...

– Когда Адам вкусил с древа познания, Господь изгнал его из Эдема, и тайна древа жизни сохранилась навсегда...

13. Алешка. Семейный обед

Я вошел в подъезд отчего дома на Садово-Триумфальной, кошмарного сооружения с портиками, лепниной, немислимыми эркерами, висящими с крыши колоннами, облицованного гранитом, регулярно рушащимися фризами – один из шедевров расцвета сталинского архитектурного стиля «вампир». После войны этот дом, один из самых больших в Москве, имел собственное имя – «дом МГБ на Маяковской».

Ни в одной футбольной команде не менялся так состав игроков, как обновлялись жилыцы нашего дома. Они въезжали сюда на трофейных «опелях» и «мерседесах», солдаты тащили за ними караваны трофейного добра, жены успевали посоревноваться шубами, раскатывали на персональных зимах и зисах, шумно пили, дрались, пока однажды ночью – довольно скоро – ответственного квартиросъемщика не увозили навсегда в неприметной «победе». Оставшиеся семьи выселяли совсем, иногда их просторные квартиры превращали в коммуналки, подселяя к ним родственников бывших хозяев жизни.

Их сажали поодиночке, иногда этажами, порой целыми подъездами – это зависело от подъема или спада очередной волны репрессий. Никто в доме не сомневался в их виновности, хотя я убежден, что ни одного из них не арестовали за действительно совершенные ими бесчисленные преступления, – просто машина насилия время от времени требовала – для собственной надежности – смазки кровью. Они уже давно были не людьми, а деталями этого громадного механизма насилия и истязаний, у которого было пугающе-бесмысленное название – ОРГАНЫ, и высшая цель – вселение неиссякающего, неизбывного, неистребимого, всеобъемлющего ужаса в душу каждого отдельного человека. И чтобы эта машина не знала ни при каких обстоятельствах осечек, сбоев и неполадок, чтобы она стала абсолютной – ее детали своевременно и досрочно заменялись другими.

Смертию жизнь поправ.

Особенно крепко сажали из этого дома в сорок девятом, пятьдесят первом, пятьдесят третьем. По ночам во всем доме не светилося ни одного окошка, хотя не спали нигде, сторожко прислушиваясь к шуму затормозившего во дворе автомобиля, стуку парадных дверей, гудению лифтов.

Я помнил, как отец регулярно вырезал маникюрными ножницами странички из своей телефонной книжки. Ночью, когда я бежал пописать, я видел мать в бигуди и толстом капоте, неподвижно замершую в передней. Теперь уж я и не помню – дожидалась ли она отца с работы или ждала страшных гостей.

Однажды – это я хорошо запомнил, – когда арестовали полковника Рюмина, нашего соседа и организатора дела врачей-убийц, отец приехал с работы утром, с бледным жеваным лицом и бодряцким голосом сказал матери:

– Да не тревожься ты! Нам нечего бояться – у меня совесть чиста...

А мать в ответ заплакала.

Штука в том, что у всех, кого забирали из нашего дома, совесть была чиста. Потому что совесть давно стала понятием чисто разговорным и была твердо и навсегда заменена словом «долг».

А первая заповедь долга – забыть о совести, чести и милосердии.

Существовала только беззаветная преданность величайшему вождю всех народов Иосифу Виссарионовичу Сталину – за это выдавалась индульгенция авансом – на совершение любых злодеяний. И видит Бог – за это с них никогда не требовали ответа.

В отчаянии и душевной тоске, при совершенно чистой совести они с ужасом слушали обвинения в каких-то мифических, никогда ими не совершенных предательствах, нигде не существовавших заговорах и пособничестве никем не завербованным шпионам. Их обвиняли вчерашние коллеги, с такой же чистой совестью, с беззаветной преданностью выполнявшие служебный долг по профилактическому обслуживанию и ремонту великой машины утраченного, ни на миг не задумываясь о том, что вскоре бесовское сооружение потребует их собственной жизни, ибо, обменяв совесть на долг, они объявили дьявола своим Богом и включились в неостановимый цикл индустрии человекоубийства, признающей единственную энергию – тепло живой человеческой крови.

Смертью жизнь поправ. А-а! Все пустое! Не о чем говорить...

После пятьдесят третьего никого в нашем доме не арестовали, словно хотели еще раз подчеркнуть, напомнить, затвердить – отсюда забрали только людей с чистой совестью, таковы уж прихоти культа личности – пострадали только свои!

Никого не забрали после Двадцатого съезда, никого не пригребли во время реабилитаций, ни о ком не вспомнили, когда выкинули кровавого Иоську из мавзолея. Давным-давно выданная индульгенция сохранила силу – за действительные злодеяния спрашивать не с кого, не о чем и некому.

Всех увел унылый крысолов...

Вспоминая об этом, я легче пережил страх поездки в лифте, тем более что мне почему-то не так страшно сорваться в уютной кабинке, когда она ползет вверх, а не стремительно проваливается в тесном стволе шахты к центру земли.

Захлопнув бронированную дверь лифта, огляделся на огромной лестничной клетке. Двери шести квартир. Господи, каких шесть романов пропадают в сумраке и тишине подъезда! Ведь вся литература, возникшая после того, как подох Иоська Кровавый, поведала только о жертвах этого мира кошмаров. Ни у кого не оказалось сил, знания или возможности написать о тех, кто этот мир построил и запустил в работу. А ведь они – истязатели и мученики – нерасторжимое двуединство нашей жизни, нельзя понять нашего существования, не зная лиц мучителей, радостно подрядившихся за харчи, хромовые сапоги и призрачную власть пролить море людской крови.

И я не могу. Тошнота подкатывается к горлу, выступает обморочная испарина и трясутся руки, когда я думаю об этом. Мне очень страшно, я хочу забыть то, что я знаю о них. Я хочу бежать сломя голову за дудочкой крысолова...

– Что ты растрезвонился как ошпаренный? – заслоняя дверной проем квадратными плечами, улыбался Гайдуков.

– Задумался.

– Поменьше думай, здоровее будешь! – радостно загоготал жеребец, вталкивая меня за руку в прихожую.

– Это по тебе заметно, – искренне сказал я.

– Ну тебя к черту, – благодушно отмахнулся Гайдуков. – Хочешь хороший анекдот? Вопрос на парткомиссии: «Что такое демократический централизм?» А он отвечает: «Когда на партсобрании все „за!“, а разойдись по домам, все – „против!“».

Я засмеялся, а Гайдуков уже волок меня в столовую – «давай выпьем пока».

Андрей Гайдуков – муж моей сестры Вилены, он появился много лет назад в нашем доме, еще угловатый, застенчивый, и поразил меня неожиданной сенсацией: «Вот ты, Алешка, все время читаешь, думаешь о чем-то. А я тебе – как старший – скажу, что это глупость». «Почему?» – удивился я. «Потому что в жизни важно иметь хорошее здоровье и много денег. Все остальное – чепуха!»

Гайдуков – второсортный спортсмен, из тех, что лучше всего играют без соперников, где-то долго и сложно химичил, пока не вынырнул в Центральном бассейне. Директором. И

тогда он выполнил свою жизненную программу, приложив к своему хорошему здоровью много денег. Как он их выцеживает из мутной воды бассейна, я не представляю, но денег у него всегда много, а пуще этих денег – неслыханные связи, знакомства и блаты. Антон ходит к Гайдукову попариться в бане и говорит загадочно и многозначительно, что эта сауна для ловкого человека – почище любого Эльдорадо...

– А где старики-то? – спросил я.

– Мамаша сейчас с кухни подгробет, пряженцы печет. А папаша пошел за папиросами – он ведь у нас паренек старой закалки, сигареты не уважает. Ну, оцени, как хлеб-соль организовали?

Я посмотрел на стол – зрелище было впечатляющее. Черной и красной смальтой застыли блюда с икрой, серебрился в траве толстоспинный залом, крабы на круглом блюде рассыпались красно-белыми польскими флажками, пироги с загорелыми боками, помидоры, мясо...

– Селедка – иваси? – поинтересовался я, наливая еще рюмку.

– И-ва-си!.. – протянул презрительно Гайдуков. – Лапоть ты! Это сосьвинская селедочка, раньше царям подавали...

– Вы, жулики, и есть цари нынешней жизни, – заметил я без злости и быстро выпил. И сразу полегчало, тепло живое растеклось по всему телу. А тут и маманя выплыла в столовую, неся большой поднос с драченами – желтыми, прозрачными, кружевными, из крупчатки белейшей, на яйцах, на свежей сметане, залитыми русским маслом.

Я поцеловал ее в щеку, а она сердито поморщилась:

– С утра налузгался?

– Да по одной с Андреем пропустили...

– А то я не знаю, какая у тебя первая, а какая пятая! Прямо несчастье – терпежу нет за стол сесть, как у людей водится!

– Да бросьте нудить, мамаша, – вмешался Андрей, – сегодня же праздник...

– Какой праздник? – удивился я.

– Праздник Вознесения – святой престольный день, – заржал жеребец. – Нам бы только повод!

А тут и отец поднадошел. «Здравствуй!» – кивнул он мне сухо, сел в углу в низкое кресло, развернул газету «Правда» и закурил папиросу. И отключился.

Мать отправилась дохлопывать на кухню. Гайдуков любовно переставлял что-то на столе, а я сидел и внимательно рассматривал отца. Он до сих пор красивый. Печенег, одетый в старомодный двубортный костюм. Он читал газетную полосу, а круглые его серо-зеленые глаза были совершенно неподвижны. Будто спал, не смежив век. Но он не спал – я хорошо знаю эти страшные круглые глаза.

Я боюсь отца до сих пор.

Давнишний его адъютант, хитрожопый бандит Автандил Лежава, множество лет назад рассказывал с хохотом и с восторгом о том, как отец допрашивал какого-то ни в чем не признающегося епископа из Каунаса. Он не задавал ему вопросов, не кричал на него, не бил – он два с половиной часа не отрываясь смотрел тому в глаза, и епископ не выдержал напряжения – лопнул какой-то сосуд и залило глаза кровью. Все смеялись...

Мне часто видится в кошмарах каунасский епископ. Бледное расплывающееся лицо без отдельных черт, приклеенное к огромным белесым глазам, залитым кровью, и все мертво, кроме ртутно-подвижной крови, переливающейся мерцающими лужицами в затопленных ужа-сом белках...

От этого ли давнего рассказа из моего детства или от чего другого, но я не могу смотреть людям в глаза, я испытываю почти физическую боль, когда чей-то взгляд упирается в мои зрачки, и спасительные шторки век отгораживают от чужого участия, интереса, насилия. От взгляда епископа.

У меня глаза как у отца. Нам страшно и неохотно смотреть друг другу в лицо.

Пронзительно затрещал звонок у входа, и Гайдуков из коридора заорал:

– Сейчас! Сейчас открою! – протопал тяжело кожаными подковами по паркету.

Шум, смех, треск поцелуев, как шлепки по заднице, рокот Антошкиного голоса, благопристойный подвизг его жены Ирки, Антошкин вопрос: «Слышал новый анекдот?» – снова хохот, их громкое дыхание, навал толпы по коридору, нераспряжляемые морщины отца, ввалились в столовую. Антошке отец подставляет для поцелуя гладкую коричневую щеку, похожую на ношенный ботинок, а Ирке сухо протягивает руку. Антошка крепко обнимает меня, хлопает по плечам, заглядывает участливо в лицо, и я спрашиваю его тихонько: «Деньги достал для Гнездилова?» А он конфузливо прячет глаза, быстро бормочет: «Все в порядке, достали, потом расскажу», да я и сам вижу – все в порядке, коли Ирка так весело заливается, истерический накал гаснет, и Антошка снова твердый, в себе уверенный. Когда мне в лицо не смотрит.

У нас умеет смотреть в глаза только наш папка.

Да я ведь еще вчера понял, что Левка Красный нашел вариант. И слава богу – меня это не касается. Отбили своего засранца от тюрьмы, а нас от позора, и ладушки!

Не понимаю только, где они могли взять деньги. С чего Антон вернет? Чем расплатится?

Не мое это дело, я выпить хочу.

– А где Виленка? – спросил Антон.

– В ванной, последнюю красоту наводит, – сказал с усмешкой Гайдуков. – Сейчас появится...

И в тот же миг, чтобы ни на секунду не подвести своего замечательного муженька, выскочила Виленка – и снова объятия, чмоки, всхлипы, возгласы удивления, бездна дурацких восторгов, будто годы не виделись. Виделись. И не так уж восторгаются.

Вилена что-то рассказывала Ирке, та делала заинтересованное лицо, а сама смотрела на нее с сочувствием. У нас в семье все так относятся к Виленке – она очень здоровая, красивая, доброжелательная, абсолютно безмозглая корова. От Гайдукова она переняла строй и форму речи, в ее устах слова этого шустрого языкатого нахала выглядят кошмарно. И говорит она степенно, очень глубокомысленно, рассудительно, и от этого глупость ее особенно вопиет.

А Гайдуков хитро, быстренько ухмыляясь, обнимает ее, гладит крутой высокий зад, ласково, сладко приговаривает: «Ах ты, моя умница, мыслительница ты моя ненаглядная, советчица и наставница многомудрая!»

– А что, Андрюшенька, я разве что-то не то говорю? – удивляется Вилена.

– Все правильно, моя травиночка, все умненько, моя родная, ты все всегда говоришь правильно, – смеется Гайдуков и продолжает докладывать Антону про спартакиаду, с которой он только что вернулся.

С веселым хохотком рассказывает о жульничестве судей, подтасовке результатов, о запрещенных подстановках игроков, о выплате денег «любителям» сразу после финиша, о переманивании спортсменов, взятках и огромных хищениях на этом развеселом деле.

Я потихоньку выпил еще рюмку, пока гости устремились в коридор на звонок, кто-то пришел, судя по возгласам – Севка с женой.

Оттуда раздавался бойкий голос Гайдукова:

– Слушай, Севка, шикарный цирковой анекдот: «Инспектор манежа объявляет: внимание! рекорд-ный трюк! один раз в се-зо-не – „Борьба с евреем!“. В номере участвует вся труппа!»

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хе-хе-хе! – это Севка дробит смех, как сахар щипчиками.

– ...Ты чего такой кислый сидишь?

Передо мной Эвелина – Севкина жена.

– Привет, я не кислый. Я задумался...

– Задумался? Ах ты, мой тюфяк любимый! Разве так здороваются с близкой родственницей? Вставай, вставай, дай я тебя расцелую, сто лет не видела...

Она целует меня, а я пугаюсь – так льнет она ко мне своим гибким змеиным телом и целует своими твердыми горячими губами быстро, крепко, будто покусывает, а потом мягким языком проскальзывает незаметно и мгновенно между моими зубами, и язык уже напряжен, он толкает меня во рту хищно и требовательно, он мне объясняет, что и как надо делать, и губы ее уже обмякли слегка, они влажны и нежны, и засос ее глубок, словно колодец, голова кружится. Она резко отодвигается от меня, смотрит смеющимися глазами на неподвижном фарфоровом лице, серьезно говорит:

– Вот это и есть настоящий родственный поцелуй. Можно сказать, сестринский...

Я негромко говорю ей:

– Ты извращенка, Эва...

– Конечно! – Она смеется. – Смерть надоела преснятина. Не извращнешься – не порадуешься...

И жмет меня острыми маленькими грудями. А я и так в углу. Мелькают перед глазами ее блестящие зубы, небольшие острые клычки, под пепельными волосами просверкивают на ушах бриллианты, и пальцы ее где-то у моего лица, и на них тоже переливаются бриллианты, и на шее струятся – она вся как новогодняя елка.

– Отстань, ведьма...

– Ох, Алешенька, деверек мой глупенький, ничего-то ты в жизни еще не смыслишь.

– Это Севка ничего не смыслит, когда оставляет тебя здесь по полгода...

– Ему наплевать – заграничная дорожка. Им бабы не нужны, они там, как ээки в лагере, онанируют. Это им интереснее...

– Я бы на его месте тебя бросил! Я ведь знаю, с кем ты тут без него путаешься.

– Алешенька, дурашка, потому ты и не на его месте! Ему бросить меня нельзя – долго за кордон выпускать не будут, разведенца эдакого...

– А чего же ты его не бросишь?

– Зачем? Нас устраивает. Мы ведь извращенцы...

– Эва, ты подкальываешься?

– А как же! – И захохотала солнечно. – Мне без этого никак невозможно.

– Погибнешь, Эва. Мне тебя будет жалко, ты ведь хорошая баба.

– Не жалею, дурашка, мне лучше. Да и аккуратничаю я – всего помаленьку...

– Ты знаешь – тут на малом не затормозишь.

– Не бери себе в голову. Мы все обреченные. Да плевать! Жаль только, что я своего дуrolома узнала раньше тебя. Нам бы с тобой хорошо было – мы оба люди легкие.

– Не знаю, – покачал я головой.

– Околдовала тебя твоя евреечка, – усмехнулась Эва. – Это у тебя морок. К бабкам надо сходить – может, снимут заговор.

– А я не хочу...

– В том и дело. Это я понимаю.

– У тебя что – роман неудачный?

– Да нет! Просто как-то все осточертело! Мой идиот совсем сбрендил...

– Это ты зря, Севка не идиот. Он свое разумение имеет.

– Ну, Алешечка, подумай сам, какое там разумение! У него солдафонский комплекс. Ему ведь нельзя в форме показываться, глисты тщеславия жрут немилосердно. Прихожу домой третьего дня, он разгуливает по квартире в шинели и в своей полковничьей каракулевой папахе. И фотографирует себя на поляроид! Ну и сам посуды! Какая должна быть дикость, чтобы такую варварскую шапку сделать почетной формой отличия. И он гордится ею!

– У нас у всех маленькие слабости, – засмеялся я, представив Севку в зимней шапке душным вечером – позирующим самому себе у аппарата.

– Ах, Алешечка, маленькие слабости у него были семнадцать лет назад. А сейчас... Ладно, давай лучше выпьем, пока они сплелись в пароксизме родственной любви.

Мы выпедили с ней по большой рюмке, медленно, с чувством, и я захорощел. Завалился в кресло. Эва уселась на подлокотник, задумчиво сказала:

– У меня иногда такое чувство, что моя психушка – это и есть нормальный мир. А все вокруг – сумасшедший дом. Ездил в этом месяце на кустовое совещание а Свердловск, жутко вспомнить. Больные лежат по двое на кровати, персонал везде ворует, дерется, не знает дела. Белье не меняется, медицинские назначения путают или не выполняют, жалуются больные – вяжут в укрутки, возмущаются – глушат лошадиными дозами аминазина. Обычные наши безобразия в провинции удешевляются. А у нас в отделении держат просто здоровых...

– Эва, не по тебе это дело, ты бы отвалила оттуда. А?

– Ну что ты несешь, Алешка? Куда я могу отвалить? Мне сорок лет, я кандидат наук, всю жизнь на это ухлопала. Куда мне деваться? На БАМ? Шпалы класть? Или переучиться на косметичку?

– Ты ведь знаешь, Эва, как я к тебе отношусь, – поэтому и говорю. У нас творят жуткие вещи. За это еще будут судить...

Она сухо, зло засмеялась:

– Дуралей ты, Алешка. Никого и никогда у нас судить не будут, мы все связаны круговой порукой. Кто будет судить? Народ? Эта толпа пьяниц? Или...

Тут все ввалились в столовую.

– Все по местам, все по местам! – хлопотал Гайдуков.

Загрели стульями, зашаркали ногами, посуда пошла в перезвяк, все усаживались, удобнее умаскивались, скатертью крахмальной похрустывали, что-то голодно взборматывали, шутили, стихая помаленьку, пока все не заняли привычные, раз навсегда заведенные места.

Отец во главе стола хищно пошевеливал усиками – я только что сообразил, что они родились из бериевских, просто подросли на пару сантиметров по губе. От обозримой еды, а главное – от предстоящей выпивки он поблагодарил, стихнул маленько рыскающий блеск в его круглых глазах. Одесную – Антон, нервно-веселый, с каменными желваками на щеках, за ним Ирина с близоруко-рассеянным взглядом, сосредоточенная на своей главной мысли, что женщины мира разделены на две неодинаковые группы: в одной Клаудиа Кардинале, Софи Лорен и она, а все остальные – коротконогие таксы. Дальше сидит Гайдуков, квадратный, налитой, похожий на гуттаперчевый сейф, Вилен со своим красивым глубокомысленным лицом многозначительной дуры, пустой стул их сына Валерки, для будущего счастья набирающегося здоровья в спортлагере. А денег ему, видать, папка достанет.

Мать. У нее складчатое твердое лицо, прокаленное плитой – как рачий панцирь. Глаза стали маленькие, старушечьи, внимательно нас переглядывает, всех по очереди, будто пальцами кредитки отсчитывает, сердцем теснится, чтобы лишнюю не передать.

Потом – я, унылый смурняга. Никого не люблю. И себе надоел. Невыносимо. Слышу, как повизгивают стальные ниточки троса, перетираются, с тонким звоном лопаются. Сколько осталось?

Рядом Эва, вся сверкает, переливается, ноздри тонкие дрожат. Плохо кончит девочка. Ее гайка с резьбы сошла. Когда-то еще было время – тихонько назад открутить, с болта снять, маслицем густо намазать, снова аккуратно завернуть – и дожила бы тихо, в заплесневелой благопристойности. А она – нет! С силой гонит гайку дальше – на сколько-то еще оборотов хватит?

Неужели Севка этого не видит, рукой не чувствует, как раскалилась от бесцельного усердия ее жизнь? Нет, похоже, не видит. Или замечать не хочет. Белозубая улыбка, как капуста на срезе – «а-а-лично!».

И дочка их, Рита, ничего не видит, ни на что, кроме яств на столе, не обращает внимания – у нее какая-то странная болезнь, чудовищный аппетит. Жрет все, что попало, когда угодно. И сама – с меня ростом, худющая, белая, как проросшая в подвале картошка. Тоста не дождалась – в жратву врезалась, уши прозрачные шевелятся.

Отец поднял рюмку:

– Ну, с Богом! За наше здоровье!..

Ап! Понеслось! Чего они так о здоровье пекутся? На кой оно им? Мать в поликлиники ходит, как на работу. В три поликлиники – в их эмгэбэшную, в районную и в мою писательскую. В сумке всегда – десять дюжин рецептов, прописей, медицинских рекомендаций. С ума сошла на этом.

Водочка «Пшеничная», водочка «Посольская», водочка «Кубанская». Вся экспортная, желтым латунным винтом закрученная. Водка с винтом – аква винтэ. Где берут? У меня точка зрения нищего учителя чистописания, попавшего на купеческий обед.

Еще по одной шарахнули. В голове поплыл негромкий гул, умиротворяющий, приятный, фиолетовой дымкой он отделял меня от родни, их чавканья, суеты, разговоров.

Собственно, сами-то разговоры я слышал, но успокаивало отсутствие связи, логики, сюжета. Я не прислушивался к началу и не обращал внимание на концы.

Снова выпили. И закусили. Неграмотный скобарь Гайдуков объяснял Антону какую-то философскую теорию, поразившую его красотой слов. Наверное, у себя в бане слышал.

– Ты, Антоша, пойми, современная жизнь происходит в мире процессов и в мире вещей... Мы включены в мир процессов... но мир вещей заставляет...

Действительно смешно – мир политических процессов и мир импортных вещей.

– Молодец, Андрей! Жарь круче! – крикнул я ему.

– Да, мир процессов порождает...

– Давайте выпьем за нашу мамочку! – это, конечно, сынок Севочка.

Давайте выпьем. Можно за мамочку. Спасибо тебе, мамочка, дай тебе Бог здоровья. Мать улыбалась застенчиво, с большим достоинством. Заслуженный успех. Золотая осень жизни. Пора сбора плодов.

Я заел травкой и неожиданно для себя спросил:

– Никто не знает – может быть, я Маугли?

Все на миг глянули на меня, Гайдуков спросил:

– В каком смысле? – а Эва громко захохотала.

Но все уже отвернулись, в пирог с вязигой врубилась.

– ...А на счет равенства – это демагогия. Равенство – это не уравниловка! Да, не уравниловка!.. – распинался Антон. Умный ведь человек, а чего несет. – Мой опыт и мой труд дороже, и я должен больше получать. Равенство – это не уравниловка...

Равенство, ребята, это не уравниловка. Советую вам, отлученным от семги и водки на винте, это запомнить покрепче. Равенство, стало быть, не уравниловка.

Оторвалась на миг от тарелки долговязая блеклокартофельная девушка Рита:

– Мне один мальчик стихи прочитал, послушайте:

Чтобы нас охранять – надо многих нанять,
Это мало – службистов, карателей,
Стукачей, палачей, надзирателей.
Чтобы нас охранять – надо многих нанять,
И прежде всего – писателей!

Вот тут наступила тишина. Ласковый дедушка посмотрел на нее зеленым круглым глазом, добро пообещал:

– Гнить твоему мальчику в концлагере – это уж ты мне поверь, я в этом понимаю.
И первый раз подала голос Эва:

– Никто ничего не знает, никто ни в чем не понимает – в смутные живем времена...

Гайдуков, чтобы выровнять обстановку за столом, велел всем наливать по рюмкам, а пока рассказал анекдот: на здании ЦК вывесили стандартное объявление – «Наша организация борется за звание коммунистической». И еще одно: «Кто у нас не работает, тот не ест».

Выпили, выпили, еще раз налили.

Отец, пьяненький, горестно бормотал:

– Что же происходит? Что же на свете делается? Помню, сорок лет назад «Красный курс» в «Правде» печатали – утром первым делом бежали к почтовому ящику, прочитать быстрее, ждали как откровения. Развернешь лист – как к чистому источнику прильнешь. А сейчас дети не хотят нашей мудрости. Как же это? Ведь возьми любую веру – что еврейскую, что мусульманскую, что христианство – на тысячелетие старше. А ведь стоят! А у нас – и века не прошло – разброд, ересь, шатания, раскол, предательство. Как же заставить?

Подвыпившая Эва засмеялась:

– Захар Антоныч, заставить можно в зону на работу выйти, а верить – заставить нельзя. Это штука добровольная...

– Ты-то уж помолчи! – махнул на нее рукой отец.

А Эва ему со злостью, с пьяным скребущим выкриком ожесточения:

– Это почему же мне помолчать? Вы только что рюни разливали, что ничего не понимаете. Так я вам могу объяснить, коли не понимаете. А вы со своим наследником, славным продолжателем, послушайте...

Севка взял ее за руку:

– Угомонись, Эва, успокойся...

Она вырвала руку, пронзительно, как ножом по стеклу, сказала-плюнула:

– Коли вам веры жалко нашей, приходите ко мне в психушку, послушайте, что мои больные толкуют. Я-то знаю, что они нормальные, это вы – сумасшедшие. И я нормальная, только я такая же бандитка, как и вы, и всем объясняю, будто они не в своем уме. А они – в своем и говорят, что вера ваша похилилась от вашей слабости – коли бы могли убивать, как раньше, миллионы, может быть, и стояла бы ваша кровожадная вера, а поскольку сейчас хватает сил только на выборочный террор, то страх остался, а вера – пшик! Нет больше вашего алтаря, залило его давно дерьмом и кровью...

Спазм удавкой перетянул ей горло, и она по-бабьи расплакалась.

Рита вскочила, стала гладить ее по плечам, успокаивать, что-то тихонько шептала ей на ухо.

Севка растерянно катал по скатерти хлебный мякиш. Отец грузно встал и, волгло топая, ушел из-за стола. Яростным глазом испепеляла меня мать. Антон молча качал своей огромной башкой, досадливо вскряхтывая – и-е-э-эх! Ирка и Вилена перепуганно глазели на Эву. А Гайдуков заметил:

– Вот и повеселились! Как говорится, семьей отдохнули...

14. Ула. Спор

– Ула! Это я – твой унылый барбос... – По легкой хриповатости голоса в телефонной трубке, по некоторой замедленности речи я поняла, что Алешка прилично поднабрался. – Чего делаешь?

– Сидим с Эйнгольцем на кухне, готовим жаркое...

– И наверняка многомудрствуете?

– Пытаемся. – И подумала о том, что все сказанное мною Шурику неубедительно, умозрительно, голо, похоже на плохо пересказанный сон, на мелодию, напетую человеком без слуха. Я оправдывалась перед собой.

Алешка помолчал, задумчиво заметил:

– Не люблю я его...

– Я знаю. По-моему, зря.

– Может быть, я ревную?

Через раскрытую дверь я посмотрела на Шурика, его выпуклые глаза за толстыми бифокальными линзами, пухлые щеки, конопатые руки в рыжих волосиках, засмеялась:

– Пока нет оснований...

– Ты, наверное, не хочешь, чтобы я пришел?

– Хочу. Всегда.

– Совестно – я опять напился. Со своими разругался вдрызг.

– Это ничего – вы помиритесь. Ты ведь их любишь, помиришься.

– Я их ненавижу. Видеть не могу!

– Это – когда вы вместе. А врозь с ними – не можешь. Ты их любишь. Наверное, это хорошо.

– Ула, можно я тебе скажу кое-что по секрету? Я тебя очень люблю.

– Спасибо. Только больше не говори никому. Пусть это будет моя тайна.

– Я еду? Можно?

– Жду. Жаркое скоро будет готово.

Но он уже бросил трубку – помчался. Я боюсь, когда он пьяный гоняет по городу на машине. Но здесь уж ничего мне не поделывать. Вообще, наверное, никого ничему нельзя научить. И пытаться глупо.

Я вернулась на кухню, и Шурик спросил меня:

– Это Алексей тебе звонил?

– Да.

Он помолчал, потом бессильно развел руками:

– Это ведь надо, как все в нашей жизни запуталось! Нарочно не придумаешь.

– Да, не придумать, – кивнула я, мне не хотелось сейчас снова говорить об этом, я ведь уже знала все наверняка.

– Ула, я чувствую себя очень виноватым, – потерянно сказал Эйнгольц. – Я не имел в виду сплетничать, я не хотел повредить Алешке в твоих глазах. Я ведь и про твоего отца ничего не знал. Я не мог предвидеть, что все так совпадет... В конце концов, руководил-то всем делом генерал Крутованов. Отсюда, из Москвы...

Я подошла к нему, обняла и поцеловала в жесткую рыжую макушку:

– Не оправдывайся, Шурик, тебе не в чем винить себя. Спасибо, что ты мне рассказал – мне так проще жить. Яснее вижу. Алешка ни при чем, он был ребенком. А отца не прощу им никогда...

Я ощутила, как тугой комок подступает к горлу. Отвернулась к плите, скинула с чугунка крышку, стала быстро перемешивать жаркое. Нехорошо делать людей свидетелями твоих слез – они от этого чувствуют себя виновато-несчастливыми.

Шурик неуверенно сказал:

– Может быть, все это ошибка? Что-нибудь перепуталось, не о тех людях сказали... Ведь сейчас уже ничего выяснить нельзя...

– Нет, это не ошибка, Шурик. Ты сказал все правильно. Я кое-кого расспрашивала – все сходится. Я себе так все это и представляла... И Крутованова мне называли.

Шурик сидел в неподвижной напряженной позе, было очень тихо. Ровно гудела газовая конфорка, аппетитно шкварчало жаркое в чугунке. Даже паралитик за стеной сегодня не бушевал. Может быть, его повезли на трехколесном кресле за город, и он закаляется там как сталь.

Вечерней зеленью медленно заливалось небо, теплый ветерок бессильно колыхал тюлевую занавеску, на дне дворового колодца тонкий женский голос старательно пьяно выводил слова: «Милый мой уехал, позабыл меня...» Звериная тоска заброшенности и обреченности переполняла меня, выплескиваясь брызгами злых и беспомощных слез.

Господи! Зачем Ты взыскал меня, не дав завтрашнего дня?

Зови – не дозовешься, жалуйся – никто не слышит. Мы никому не нужны, никому не интересны. Как жить дальше? Строим на песке. Сеем на камне. Кричим на ветер. И слезы – дешевле воды.

Все со всем согласны. Я устала со всем всегда соглашаться. Я больше не могу бояться. Мой организм отравлен страхом. Мы мутанты ужаса третьего поколения. Мы наследуем его в клеточках, в генах.

Все со всем всегда согласны. Все довольны.

– Шурик, а может быть, уехать отсюда к чертовой матери?

Эйнгольц скованно пошевелился на диванчике, его силуэт на фоне окна начал наливаться сумраком.

– Для меня это не выход, Ула...

– Почему?

– Вера христианина только укрепляется от насилия.

Наверное, он почувствовал, что его слова прозвучали как-то неубедительно-книжно, и добавил торопливо:

– Да и вообще – я боюсь, что нам поздно менять свою жизнь...

– Но ведь мы же еще нестарые люди – нам по тридцать! Можно много успеть...

– Но за эти тридцать лет мы окончательно сформировались здесь. Мы люди русской культуры, а наша культура и там никому не нужна, наши страдания безразличны, а опыт нашей жизни они не могут и не захотят воспринять! Хорошо устраиваются на Западе зубные врачи и ремесленники – они хотят и могут забыть всю свою жизнь здесь. А мы разве можем перечеркнуть нашу жизнь? Мы и туда повезем печать своей неустроенности, неумения приспособиться, мы на всю жизнь отравлены неверием в людские обещания и намерения. Нет, мне кажется, не имеет смысла – поменяем шило на швайку.

В его горячности, готовности слов, в окончательной уверенности мне чудилась недостоверность. А разве можно примириться – прожить всю жизнь в неволе? И не решиться на побег – ни разу – только потому, что там, за стеной, живут другие люди, с другим укладом, с другими представлениями?

Они и должны быть другие. Наверное, наша культура им действительно не нужна. Но она и здесь не нужна, ее надо скрывать, ибо она отрицает официальную культуру.

Я бы там смогла быть уборщицей. Нянькой. Мойщицей машин. Приходящей домработницей, если никому не нужно то, что я знаю. Мы ведь очень плохо представляем тот мир. Как другую планету.

Но в одном я уверена: не может быть там этого постоянного замораживающего страха повседневных унижений, боязни сиюминутного насилия, ужаса смерти.

Я сказала медленно Шурику:

– Мне кажется, что ты очень боишься. Не того, что там будет. А здесь.

Он сразу же согласился:

– Да. Я боюсь дойти до ОВИРа. Меня тошнит от страха...

Да, это ведь и не удивительно. Как болезнь. Она стала наследственной. Такой громадный террор – он ведь уже и не акция устрашения, и даже не политический метод, он давно стал

постоянным стихийным бедствием. Вирусы подозрений, инфекции доносов, нелепость бытового заражения, постоянное ожидание первых симптомов своей обреченности. Террор – как эпидемия, кого и не покарает напрямую – смертельно, но и его, и всех окружающих захватит. Проверки, анализы, рентген души, этого – пока отпустить, этого – на карантин, этого – в барак.

Но ведь в бараке – все больные, а я...

И ты больной. А может, не больной, не важно!..

Дезинфекция! Дезинфекция!

Этого – в барак, этого – в крематорий.

Подождите, я здоровый!

Дезинфекция!

В барак, в крематорий...

Дезинфекция!

Я здоровяк с дооктябрьским стажем!

В крематорий, в барак.

Сила эпидемии, ее громадная устрашающая суть в хаотичности, в видимости бессмысленности – никто не знает, кого завтра увезут на черных дрогах.

Надо забиться поглубже, подальше, стать незаметнее, неслышнее, совсем бесплотным – может быть, волну заразы пронесет на этот раз...

Во дворе загудел мотор Алешкиного «москвича», ревнуло железное эхо в колодце, глухо булькнуло и стихло.

– Жаркое готово. – Я встала к плите.

– Да, – равнодушно кивнул Шурик, – от всех этих дел и разговоров есть не хочется. Кусок в горло не лезет...

Ввалился Алешка с большим бумажным пакетом в руках, протянул его мне.

– Мне Вилена с барского стола потихоньку отжалела. – Подошел к Шурику, ернически поклонился: – Брату моему во Христе – низкий поклон...

– Здравствуй, Алеша, – мирно сказал Шурик.

– Нуте-с, отец Александр, нельзя ли с вами договориться об отпущении моих бесчисленных грехов?

– Простой мирянин, не рукоположенный в сан, не вправе отпускать кому-либо грехи, – спокойно ответил Шурик. – Вот как ты, например, не можешь меня принять в ваш Союз писателей. Это, наверное, компетенция ваших иерархов...

Алешка ехидно засмеялся:

– Но ведь и с нашими, и с вашими иерархами можно легко договориться... – Потом махнул рукой. – Сто лет спорь – никто еще никому ничего не доказал. Накрывай, Ула, на стол, я-то сыт, а вы, наверное...

Я развернула пакет, который привез Алешка. В нем была большая бутылка водки с желтой латунной винтовой пробочкой, пакетики с красной рыбой, баночка икры, крабы, жестянка с паштетом из гусяной печени. Это ему сестра дала. Нет, это все-таки чудо, что при таком питании они умудрились сохранить родственные чувства.

Застелила стол желтой, как закат, скатертью, расставила тарелки, приборы, хрустальные рюмки. Зачем в моем доме хрустальные рюмки? Глупо.

А мужики на кухне ожесточенно разорались. Слова пузырились, подпрыгивали над кипящим варевом из разговора, лопались, вздувались, разлетались брызгами, исчезали прочь. Слова.

Господи! Что делать?

Научи, надоумь, направь – все так перепуталось.

Ведь он их любит. Он их любит. Родные ссорятся – только тешатся. Родная кровь дороже.

Шурик говорил ломким высоким голосом:

– Как же ты, Алеша, не хочешь замечать очевидного – Антихрист приходил, и имя ему – Сталин. Еще святой Кирилл Иерусалимский определил его, сказавши – Антихрист покроев себя всеми преступлениями бесчеловечия, так что превзойдет всех бывших злодеев и нечестивцев, поскольку имеет ум крутой, кровожадный, безжалостный и изменчивый!

– Но Сталин давно сдох! Разве кончилось царство твоего Антихриста?

– Нет, конечно! Остается здесь вечный и страшный соблазн сатанизма! Трудно только впервые воздвигнуть Антихристовы чертоги, а потом-то уж!.. Я просто ахнул, когда прочитал у святого Ефима Сирина: «Достигнув цели, Антихрист ко всем суров, жесток, непостоянен, грозен, неумолим, ужасен и отвратителен, бесчестен, горд, преступен и безрассуден». Это же фотографический портрет Великого вождя всех народов. Но сделан портрет за сто лет до воцарения...

Антихрист? Может быть. Но для меня в этом обличье он был слишком умозрительной фигурой. Он представлялся мне личностью более исторической, реальной, конкретно-земной, и звали его пратысячелетнее воплощение – Ирод Идумеянин.

Та же извращенная сладостность болезненного властолюбия, безумие всеобщего подозрения, выжженная пустыня нормальных человеческих чувств и отношений.

Как много подобий – круг за кругом они уничтожали вокруг себя все живое – друзей, единомышленников, сподвижников, родственников.

Любимая жена Идумеянина – Мириам, не воскликнула ли ты перед казнью: «Аллилуйя! Аллилуйя!»?

Убитая супругом Аллилуева ползла еще по залитому ее кровью коврику, шептала застывающими губами: «Господи!.. Святая Мария!..»

Ирод великий пресек свое семя, задушив в темнице двух сыновей.

Великий Сталин убил руками Гитлера своего пленного сына Якова. Сын Василий умер в сумасшедшем доме. А дочь Светлана, сбежав из царства свободы, придала этому кровавому анекдоту какой-то особенно издевательский бесовский характер.

Ирод умер на переломе исторических эпох, по мертвой его плоти жизнь провела разрез, как неумолимый нож парасхита разваливает труп пополам, и люди стали считать свою память, определяя время как Старую эру и Новую эру, и мерить свои свершения счетом ДО и ПО нынешнему летосчислению, вбив пограничный столб в день рождества Иисусова. Я не верю в мессианство Назарея, но я надеюсь, что незримо уже вбит еще один столп новой эпохи...

15. Алешка. Обет

Проспал, не заметил, как ушел Эйнгольц. Невелика потеря. Жаль лишь, что стал слабеть – сон наваливается неодолимо, нет сил бороться. Становлюсь алкашом. Или уже стал?

От выпивки засыпаю внезапно. Тревожно, но сладостно и обреченно, как вяжет путами сон замерзающего насмерть человека. И просыпаюсь в ужасе, с беспорядочно молотящим, захлебывающимся, глохнущим сердцем – как пойманный шпион. Глаз не открываю, боязно осматриваюсь из-под смеженных век.

В темном картоне комнаты настольная лампа вырубил красноватый круг света, и спросонья мне видится над головой Улы, сидящей у стола в центре круга, дымящийся золотистый нимб. Открыл глаза совсем – Ула пишет что-то на карточках. Она сидит в своей любимой позе – подложила под себя одну ногу. Белизна другой ноги исчезает в темноте, будто сидит она на краю проруби. Я почему-то вспомнил, как мы пошли с ней впервые в ресторан, кажется в «Метрополь», чудовищный ресторан, похожий на перевернутый вверх дном бассейн, и все одинокие гуляки жадно глазели на Улу, я видел по их влажным глазкам, что они раздевают ее, прикидывают, примеряют, оценивают, что все они хотят, по крайней мере, потрогать ее, плотную, гибкую упругость ее спины, нечаянно скользнуть жадной ручонкой по талии, захватывая

хоть пядь высокого крутого зада, а если выманить на округло-пошлые томные па завывающего в зале танго, то ведь можно прижать теснее ее твердую грудь к своему пиджаку, набитому сальными пятерками и командировочными предписаниями. Хватанув раз-другой для храбрости, они по очереди подходили к нашему столику и приглашали ее на танец, и я хотел всем им дать по роже, а Ула держала меня за руку, лучезарно улыбалась им всем, ласково говорила: «К сожалению, не могу – у меня протез ноги...» Они смущенно отходили и со своих мест все пытались рассмотреть под нашим столом, какая же из этих двух длинных прекрасных ног – протезная.

Ула подняла голову, посмотрела на меня, улыбнулась.

– Ну, как жил?

– Плохо, – буркнул я. – Змий попутал.

– Ох уж этот твой вечнозеленый змий, – покачала она головой. Но не сердито. И славу богу – ссориться не будем. Я лежал, укрытый пледом на тахте, а Ула за столом в другом конце комнаты, и мы разговаривали вполголоса, будто боялись среди ночи разбудить ее деда на портрете.

– Давай устроим пир, – предложил я.

– Давай, – улыбнулась Ула. Она тоже любила наши ночные пиры – нам было мало обычной отделенности, нам была необходима громадная уединенность ночи, когда все спят, когда город пуст, когда полмира замерло недвижно до утра. Мы останавливали время, оно заполняло комнату вокруг нас, оно поднималось над нами, как воды у запруды, мы плавали в ней – бесплотные и вечные, соединенные ощущением своей единичности и своей близости, и в эти часы время становилось для нас пространством, пока рассвет не промывал в плотине тусклые бельма серых окон, и время с неслышным плеском утекало прочь, и мы, испуганно озираясь, обнаруживали себя вновь на каменистом берегу общего бытия.

Робинзон, почему ты не оставил нам тайно координаты своего острова?

Ула прошла через комнату, накинула халат, отправилась на кухню, мне захотелось попросить ее не надевать халат, но я постеснялся. Кто знает – где похоть переходит в нежность, а сладострастие в застенчивость? Мне вожаделенна каждая ее клеточка, у меня теснит в груди, когда я смотрю на ее спящее беззащитное лицо, и часто мне хочется ударить ее с размаху кулаком в грудь или сжать тонкую руку до багрового кровоподтека. От ужаса я закрываю глаза и становлюсь сразу крохотным, меня всего распирает пронзительный крик – чтобы скорее она взяла меня на руки и чтобы я весь целиком – от затылка до пяток – ощутил ее тепло, ее упругую грудь у себя на губах.

– Ула, помнишь, как мы ходили в планетарий? – крикнул я, а Ула с кухни ответила:

– Помню...

Жарким летним полднем, измученные жарой, людской толкотней, невозможностью выпить воды в автомате – уличные алкаши растаскали все стаканы, недовольные, усталые, чем-то обиженные друг на друга, мы шли по Садовой, и на Кудринке Ула вдруг сказала – пошли в планетарий?..

Внутри огромного блестящего яйца было тихо, прохладно и пусто. И лимонад в буфете. Электрические стены, цветные схемы. У входа билетерша с тяжелыми отечными ногами и онкологическим желтым лицом вязала из грубой деревенской шерсти толстую кофту – она утеплялась на зиму, она собиралась пережить холода. Она махнула нам – скорее, лекция уже началась!

Мы нырнули за портьеру – в темноту, текучий холодок, в отрешенность звездного неба. Ничего со света не различали глаза, только марево вокруг странного прибора в центре зала – исполинской двуглавой африканской тыквы, и сумеречный просверк бесчисленных звезд над головой.

Это был, наверное, детский сеанс – лектор бубниво рассказывал о нашей Солнечной системе, о нашей Галактике, о Млечном Пути, о Вселенной. Стрелочка света от его фонарика-указки металась среди звезд, перемахивая сквозь неподвижные пространства, скручивая в спираль время, она носила нас, двух заблудившихся путников, в бесконечности, из мира в мир, и переполняла меня печальная радость.

И в полумраке, обвыкшимися в темноте звездной ночи глазами, я видел на лице Улы задумчивое, напряженное выражение, будто она изо всех сил старалась вспомнить что-то очень важное. И для нее, и для меня, для всех.

И не могла.

Я целовал ее ледяные руки, тихонько обнимал за плечи, пытаюсь унять ее внутренний озноб, но она не замечала меня. Пришла на миг шальная мысль, что я теряю ее. Корпускула света, космический кораблик – стрелочка указки – выхватит Улу из моих рук и унесет через бездну и темноту к Ганимеду.

Но уйти из придуманной ночи в свет и духоту летнего дня все равно не хотел. Я боялся, но встать не было сил. Мне было страшно, но еще сильнее хотелось узнать – что она вспоминает.

Потом зажегся свет – лицо ее было в слезах. Я спросил:

– Что с тобой, родная?

Она покачала головой:

– Так... Ничего... Помстилось...

Мы шли по раскаленной улице, но мне не было жарко – всем существом своим я ощущал холод космической мглы, ледяное мерцание недостижимых звезд, дрожь одиночества при расставании. Ула взяла меня под руку, прижалась теснее, неожиданно сказала:

– В нашей священной книге – Талмуде – сказано: «Никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и достижима ему тогда вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел Метатрон ударяет его по устам. И заставляет забыть все...»

– Иди сюда, – крикнула Ула, – я сделала американские бутерброды...

Не знаю, почему они назывались у нас американскими, может быть, в Америке никто сроду и не видал таких бутербродов. Это я когда-то их назвал так, с тех пор и повелось. Возможно, была в этом подспудная идея об американском продуктовом изобилии.

Они еле помещались на тарелке – Ула срезала ломоть хлеба во всю длину буханки, чуть-чуть поджаривала на сковородке – до первого румянца, намазывала маслом, посоленным и поперченным, заливала томатом, клала сверху вареное мясо или колбасу и только потом устилала слоем ломтиков малосольных огурцов, поверху – майонез и только тогда перья зеленого лука и стружка редиски.

А из холодильника достала Ула недопитую бутылку «Пшеничной» – рюмки сразу запотели! Душа заныла от нетерпения.

– За тебя, Суламита, за тебя, Ульянушка моя дорогая!

Полыхнуло в глазах, теплая сумерь в башке разлилась, в груди что-то отмякло, тепло внутри, покойно. Все хорошо.

Даже есть расхотелось. Куснул пару раз от блюда-бутерброда – замечательно вроде бы вкусно, а есть уже нет охоты. Пьяниц спирт в крови кормит. Пока дотла не сжигает. Впрочем, и это не важно. Все пустое.

Ула сидела, подперев голову ладонью, молча, внимательно смотрела на меня. Мне не хотелось смотреть ей в глаза, я так и сказал, не поднимая век, уставившись на свой американский бутерброд:

– Давай, Ула, поженимся...

– Что? – удивленно переспросила она.

– Поженимся, говорю, давай. Пойдем в загс, распишемся или как там...

Если бы она бросилась ко мне в объятия, зарыдала от счастья или, наоборот, с презрением захохотала, или крикнула – «никогда!» – все было бы нормально. Обычно. Как у всех. В наше время писатели делают дамам предложения, как водопроводчики. Может, кто-то и умеет по-другому, но я их не знаю – не с кем посоветоваться.

Но Ула спросила тихо и ласково:

– Зачем? Зачем, Алеша, нам расписываться?

– Чтобы ты была моей женой!

– Ну а так я чья жена?

– Мы же не вдвоем на земле живем. Люди кругом, пусть знают...

– Леша, ведь меня мнение людей вокруг не интересует. Ты это хочешь сделать назло своей родне.

– Допустим. Я им покажу, что мне на них плевать...

– Лешечка, когда на кого-то плевать, им ничего не доказывают! Но дело даже не в том.

Мне интересно – какую ты мне роль отводишь в этом показе?

– Моей жены. В браке это довольно заметная роль.

Ула грустно покачала головой:

– Не надо, Лешенька, ничего менять. Пускай все будет по-старому...

– Тебя устраивает такая жизнь?

– Не очень. Но ничего изменить нельзя.

– Почему? – взелся я, хотя и понимал, что она права.

– Потому что невесты берут в таких ситуациях с женихов торжественную клятву бросить пить, а вместо этого купить польский шифоньер и цветной телевизор. Я ведь не стану брать с тебя никаких клятв...

– А отчего бы тебе не взять с меня клятву? Например, бросить пить?

Она пожала плечами:

– Мне это представляется жестоким и глупым...

– И не боишься, что я совсем сопьюсь?

– Уже не боюсь. Я знаю, что у тебя нет будущего. И у меня нет будущего. Нам очень повезло, когда мы встретились. Но вдвоем мы горим быстрее. И не хочу я, чтобы ты кому-то что-то показывал!

– Почему? Почему ты не хочешь? – тупо настаивал я.

Она тяжело вздохнула и сама налила нам в рюмки водку.

– Давай выпьем за нашу прошлую жизнь вместе, за ту жизнь вместе, что нам еще осталась! – Чокнулись, и я пальнул рюмкой в себя, и снова окреп, и уверенность стала тверже.

– Не знаю, не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы мы как-то все успокоили, весь этот хаос маленько устаканили, зажили как все...

– Лешечка, мы уже никогда не заживем как все – и ты это сам знаешь. Мы не можем жить по-старому, и не хватает духу зажечь по-новому. А монета не стоит на ребре...

– Это не так, Ула...

– Это так. Собираясь жениться на мне, ты намерен сложить из меня громадный кукиш, дулю в человеческий размер и сунуть ее под нос своим родителям-антисемитам, своим братьям, своему прошлому, своей несложившейся писательской жизни. Я не чувствую себя готовой для такой роли...

– Что ты выдумываешь! Что ты стараешься усложнить и так все запутанное и перекрученное...

Ула пальцем крутила на столе пустую рюмку, грустно молчала, хотя я видел, что ей есть много чего сказать. Но не хотела. Не получался чего-то пир у нас сегодня. Ула взглянула быстро на меня и мягко сказала:

– Лешечка, давай не будем говорить больше об этом. Ты меня спрашиваешь, я толком не могу объяснить – получается бессмысленный разговор. Это как моя мать из ссылки писала, что на нее сердится ее квартирная хозяйка: «Ишо вы усе моетесь и моетесь! Усе равно до вас никто из мужиков не ходит, только пол тесовый здря гноите!..»

Меня охватил сумасшедший истерический гнев – стало трудно дышать, захотелось ее удавить, унижить, заставить кричать – вот так она меня доводит всегда, так мы расстались в прошлый раз. Кровь шибанула в виски, потемнело в глазах, и я преодолевал ярость, как обморок.

– Ты плохо говоришь со мной, – медленно сказал я. – Высокомерно, снисходительно, будто ты знаешь что-то такое, чего мне и в жизни не понять.

Ее синие продолговатые глаза зальдились холодным блеском, и голос подсок:

– Мы не все понимаем хотя бы потому, что не все знаем друг о друге...

Мне хотелось поддеть ее сильнее, и я сказал с удовольствием:

– Может быть, у тебя есть места в биографии, каких я не знаю, а обо мне ты знаешь все.

Она прикрыла глаза и сидела так несколько мгновений, и на лице ее была такая боль, что я сразу пожалел о ляпнутой мной бессмысленной злой глупости.

Ула открыла глаза и негромко сказала:

– У меня есть сомнительные места в биографии. Тебя это, правда, не касается. Но это может огорчить твоего папу...

– Почему? – удивился я.

Я смотрел на нее отчужденно и видел, как в ней бушуют слова пойманным разъяренным зверем, слишком большим и сильным для такого слабого вместилища. Я видел, что она хочет выкрикнуть мне в лицо нечто громадное, яростное, кипящее, – и сердце мое дрожало от ожидания и испуга, потому что горевшее в ней волнение было вполне по масштабу отступничеству от них Великой Тайны.

Она глубоко и судорожно вздыхала каждый раз, будто весь воздух вытек в окошко, за которым зрел рассвет, багрово-синий, как кровоподтек. У нее мелко трясся подбородок, я знал, что она сейчас заплачет. И скажет. Скажет!

Но обет молчания и сейчас оказался сильнее.

– Ничего... ничего... это я от досады... я не то хотела сказать... Не надо было тебе заводить этот разговор...

Мы молчали бесконечно долго, и эта страшная тайна, заполненная нашим напряжением, ее сиплым затрудненным дыханием, душной атмосферой задавленной внутри истерики, сокрушала нас окончательно.

– Никому ничего не надо доказывать, – старательно спокойно сказал Ула. И от внутреннего клочкотанья, тщательно стянутого белыми нитками обнаженных нервов, она говорила звенящим, трескающимся от перекала голосом: – Никто не хочет смотреть, никто ничего не хочет понимать. И не может.

– К нам это не имеет отношения, – упрямо сказал я.

– Имеет. Мы все, все, все – виноваты!..

– В чем же мы с тобой виноваты? Что мы плохого сделали?

– Мы с тобой – рабы! Жалкие, трусливые рабы. Ты говоришь, что не любишь своего отца и считаешь его сталинским сатрапом. А я почитаю память своего отца, которого я не видела, и помню его как безвинную жертву. Но тебе и в голову не приходило отказываться от своего отца, а я своего отца предала. Кому ты это сможешь объяснить?

– А в чем ты предала своего отца?

– А в том, что я знаю: его убили без вины, без следствия, без суда – и молчу. Молчу. Меня снедает животный страх перед этими бандитами, уголовниками, тонтон-макутами. И я молчу. Все молчат. Всегда молчат. И я молчу.

- Хорошо, а что ты можешь сделать? Прошло почти тридцать лет...
- Да, прошло почти тридцать лет. Ты знаешь, как его убили?
- Их, кажется, убили вместе с Михоэлсом... – неуверенно сказал я.
- А кто их убивал? – прищурясь, спросила тихо Ула.
- Этого никто не знает! Известно, что бериевские головорезы заманили Михоэlsa в Минск и там убили. Но кто именно это сделал – не знает, наверное, никто...
- А разве так бывает, Алеша? Головорезы разве от себя работали?
- У нас все бывает! – махнул я рукой.
- Нет, Алешенька, не тешь себя иллюзиями. Так не бывает. Я ведь даже реабилитацию – как другие вдовы и сироты – на отца не получала. Ты это понимаешь?
- Но они не хотели...
- Да-да-да! – прорвалась Ула криком. – Не хотели! Они ведь сказали – моего отца и Михоэlsa убили не головорезы из МГБ, а непойманные националисты! Государство к этому отношения не имеет! Не за что извиняться! Не в чем виниться! И не за что реабилитировать – его же ни в чем не обвиняли! Его просто убили... И я с этим согласилась...
- Я рванул ее за руку:
- Что ты говоришь? Подумай, что ты несешь! Что ты могла сделать?
- Не дергай меня, у меня нет сил. Я не хотела тебе говорить... Но так уж вышло. Все равно мы заговорили бы об этом когда-то... Не сегодня, так в другой раз...
- Меня постепенно заливало ощущение безотчетного ужаса, огромной, как горный обвал, тоски. Я не думал, а сердцем почувствовал, что беда, которую я ждал в томлении и тошнотном оцепенении все последние дни, – пришла.
- Вместе с судьями ФЕМЕ. Безмолвными страшными вестниками судьбы.
- Мы с Улой долго измученно молчали, и она была недвижима, закаменевшая, словно впавшая в ступор. Ее бы лучше не трогать, но и так вот – молча и отчужденно – сидеть было невозможно.
- Ула, бессмысленно убиваться – ты ничего не могла сделать. И не можешь. Никто не может, – сказал я безнадежно, просто чтобы не молчать.
- А она не ответила, глядя остановившимся взором в разжижающуюся ночь. Влажная духота, предвестник завтрашней палящей жары, упаривала нас в своем густом черном вареве.
- Ула повернулась ко мне.
- Никто не может, – повторила она и судорожно, длинно вздохнула.
- Ула, ты не согласна со мной? Ты что-нибудь знаешь?
- Знаю, – сказала она тихо, почти шепнула, ее губы еле шевельнулись.
- Тогда скажи мне! Я имею право это знать...
- Зачем? – посмотрела мне в глаза бездонным взглядом Ула – она видела меня, мою жизнь насквозь, ее взгляду в этот миг было ведомо обо мне все: моя генетическая структура, мысли, память, все мои делишки, связи, ничтожность моих копеечных добродетей, бесчисленные навозные кучи повседневного жалкого существования, она видела час моего зачатия, возвышенную глупость моих намерений и пошлую пакость их воплощений. Она знала обо мне все.
- Зачем? – спросила она. – Что изменится? Ты имеешь право. Как и все остальные. Они тоже имеют право. Но ведь не знают. И не узнают никогда...
- Я гладил ее заледенелые в нестерпимой духоте руки и шепотом испуганно бормотал:
- Ула, зачем ты говоришь со мной как с врагом?.. Ты – самый дорогой для меня человек... Дороже всех, всего, самого себя... Зачем ты отталкиваешь меня... Давай подумаем вместе... не надо так отталкивать друг друга... у нас больше никого нет.

Лицо ее было затуманено неестественной бледностью и расчеркнуто пополам полосой губ, закушенных, красных, как кошениль, как будто я полоснул по этому прозрачно-белому лицу ножом.

– Я устала от этой жизни, – сказала она шепотом и обессиленно-горько заплакала. По-детски всхлипывая, она приговаривала, давясь тяжелыми комьями слов: – Господи, почему же это все на меня?.. Всю жизнь я мучаюсь... Вот был ты у меня... и это все отравлено... Сколько же может быть потерь у человека... Сколько же мне еще суждено?..

Она оттолкнула мои руки, подошла к раковине и подставила лицо под струю холодной воды, а я метался по кухне, совершенно осумасшедший и сбивчиво, нудно, как нищий, повторял:

– Ула, что же можно поделаться... Это ведь было как чума...

Ула подняла голову над краном и сказала с болью, но твердо:

– Почему – БЫЛО? Прошло?

– Сейчас хоть не убивают, – сказал я растерянно.

Закрыла Ула кран и, не отирая с лица струек и капель воды, села на свое место и взяла меня за руку:

– Я, видит Бог, не хотела этого разговора. Но коль он состоялся, то послушай меня. Нам нельзя жениться, потому что мы с тобой неполноценные люди. Ты видел монголоидов, детей с болезнью Дауна? Крошечных идиотов, с огромными сплюснутыми лицами, пускающих слюни?..

Я механически кивнул.

– Мы – мутанты, мы все выведены из этой породы. Из нас вышибли память и отняли понятие о достоинстве. Нас не интересует ничего, мы согласны со всем, всегда, только бы не отняли хлеба и не били бы палкой. Мы недоразвитые, плохо воспитанные дети. А детям нельзя жениться. Они нарожают социальных уродов, потомственных счастливых рабов...

– Ты меня ненавидишь? – спросил-ужаснулся я.

Она покачала головой:

– Нет, я тебя люблю. Но не уважаю... Я и себя не уважаю... Рабы не заслуживают уважения...

– Я не раб! – запальчиво, упрямо, глупо закричал я. – Ты меня нарочно топчешь, ты меня сознательно унижаешь!..

Ула скорбно, матерински-сочувственно усмехнулась.

– Зачем? – спросила она утомленно. – Зачем?..

– Затем... Затем... – захлебываясь я, и вдруг меня ошеломило открытие, будто кто-то с размаху хлопнул меня доской по башке.

В этот тоскливый пустой рассветный час, когда я понял, что жизнь моя подошла к неодолимому рубежу, что больше не удастся юркнуть к боку, пронырнуть как-то снизу, обежать вокруг или вообще уклониться от решения – как это удавалось мне всю прошлую жизнь, я с ослепительной ясностью увидел для себя выход. Это было сродни возникшей писательской идее – еще неоформившейся, но все равно пронзительно-яркой, неодолимо зовущей, как предчувствие весны или нужной строки. Вся моя жизнь была полна трудностей и проблем. И не могу сказать, что она получилась. А если попробовать по-другому? Бог не выдаст, свинья не съест. Даже если меня начнут прижучивать – как-нибудь отобьюсь. Где-то прижмут, но ничего всерьез они мне сделать не могут. Да и как ни крути – все-таки тридцать годков с тех пор оттикало. Что ни говори, а времена сейчас другие.

– Хорошо, снимем сейчас с обсуждения этот вопрос... – сказал я.

– Забудем... – предложила она.

– Нет, не забудем. Пока снимем. И я тебе докажу, что я не раб!

Она ничего не ответила, но высоко поднятыми бровями спросила – каким образом?

– Я попробую раскрутить эту историю, – сказал я окрепшим голосом, в этот момент я себе нравился много больше.

– Ты же сам сказал, что этого никто не знает, – пожала она плечами.

– Я сказал – «наверное, никто не знает». И еще я сказал – попробую.

– Как же ты хочешь раскручивать эту историю?

– Не знаю, мне надо подумать. Что-то придумаю...

Мы снова недолго молчали, и я был маленько разочарован – все-таки я надеялся, что Ула сердечнее встретит мое решение. Но она просто молчала, о чем-то своем думала, потом сказала:

– Лучше бы ты в эту историю не лез...

– Ладно, посмотрим...

Скрипнула сзади дверь, я обернулся, и мне показалось – один крошечный миг – мелко трясется, еще раскачивается воткнутый в дверь огромный нож. Кинжал с черненой серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени.

Вздрыгнул – все исчезло. Сумрак. Сквозняк гуляет...

Часть вторая

16. Алешка. Тризна

Ко мне пришла печаль. И я запил.

С утра спускался в магазин – на углу, рядом, покупал две бутылки водки, пару плавленых сырков, возвращался домой, походя шугал от дверей ватного стукача Евстигнеева, запирался, с ненавистью сдираю с себя одежду и валился на диван. И утекали вместе с выпивкой еще одни сутки.

На стуле рядом с диваном стояли бутылки, валялись старые слоново-желтые сырки, сросшиеся с фольгой обертки. И страшный бивень буфетчицы Дуськи, кошмарный трофей, добытый мной из ее пышущей жаром пасти – в предошущении непонятого тайного смысла этого кошмарного амулета.

Выпивал полстакана, вяло кусал сырок, смотрел на устрашающие корни коричнево-серого зуба, потом засыпал тревожным мелким сном, сполошно схватывался и опять дремал.

Ах, какая печаль навалилась на меня! Ее условились теперь называть депрессией. Господи, да разве это дребезжащее, присвистывающее, жестяное слово может вместить громадный черно-фиолетовый мир печали!

Разве можно назвать депрессией удрученность мира за минуту до начала грозы?

Депрессия, компрессия, экспрессия – тьфу, пропади ты пропадом!

Печаль, говорят, не уморит, а с ног собьет.

Тоска! Тоска! Ее незрячее пронзительно-зеленое око впивается тебе в душу, и мрачное небо скорби и сердечной сокрушенности медленно опускается на тебя, и свинцовая хмури безрадостности обволакивает, палит сухота во рту от несказанных слов, и болит мозг, бессильный разродиться мыслью, которая принесла бы покой и утешенье.

Скорбь о людях и отвращение к себе подступают тошнотой под горло, и все вокруг уныло, ненавистно и безнадежно, как выжженное поле.

Туга-забота сдавила кадык мертвыми пальцами безжалостного душегуба.

Горе. Понуро и обреченно прислушиваешься к чугунному бою похоронных колоколов.

Огорчаешься, что родился на свет. Корчишься в омерзении от прожитого. И в полном ужасе ждешь встречи с Костлявой.

Я – закуклился. Врос в хитинный панцирь своей печали.

Ее отвратительный символ – жуткий Дуськин зуб. Но это не главный смысл амулета. Я вырываю себя из челюсти. Может быть – это? Нет... За окном на Садовой жадно и зло режут машины. От натужного усердия их моторов пронзительным взвизгом дребезжат стекла в рамах, и этот трясучий вой впивается бормашиной в уши. Зубная мука души. Шофер Гарнизонов повторял всегда – ржа железо проедает, печаль сердце сокрушает...

Шофер Гарнизонов – ведь он, наверное, жив еще, Пашка Гарнизонов. Он возил в Литве отца. Гладкий ладный парень с быстрыми глазами уголовника. Он научил меня ездить за рулем – я еще ногами до педалей еле доставал. Скорость меньше ста Гарнизонов не понимал. Пешком тогда дойти быстрее – говорил он своим лукавым убаюкивающим говорком. И ослепительно улыбался – я уверен, что наш Севка у него научился этой ласковой беззаботной улыбочке. Я один знал фортиссимо этой улыбки, когда он исключительно точно, миллиметровым доворотом баранки, неотвратимо сшибал бронированным бампером зазевавшихся на дороге крестьянских гусей и подсвинков.

Где он? Незадолго до отъезда в Москву отец дал ему звание лейтенанта, чтобы получал офицерскую пенсию, нас добрым словом поминал.

Наверное, ненавидит. Только выросши, я сообразил, что он был обычный бандит – личный телохранитель, он же гангстер, кого хочешь мгновенно застрелит. Сейчас отчетливо всплыло в памяти – между передними сиденьями у него всегда лежал немецкий автомат «шмайссер». Мне дотрагиваться не разрешал: «Эта пукалка всегда на боевом взводе».

Чего мне дался этот Гарнизонов? Он разве имеет отношение к Дуськиному зубу? Или воспоминание о «шмайсере» вытолкнуло мысль – как патрон в ствол – об их ночных поездках с моим папенькой по сожженным литовским городишкам и разоренным хуторам? Как ослепительно улыбался, должно быть, Пашка Гарнизонов! Много раз я видел его, как он чистит и смазывает автомат. А может быть, это все мои выдумки.

Выдумки, рожденные моей громадной печалью. Господи, как худо! Солнце еле сочится, потом тоскливый серый дождь, прозрачные перышки облаков тяжелы, как могильная глина, грохочущая по деревянной крышке.

Взять бы бритву. По шее – от уха до уха – вжжик! И всему конец. Покой.

... Я учился в первом классе, Гарнизонов возил меня утром в школу. Без четверти восемь, еще совсем темно, свет из кухонного окна отблескивает на коротком штыке солдата у входа в наш особняк. Мороз ужасный, заиндевел металлический щиток «мерседеса», в середине которого ярко горит нежная зеленая лампочка. Гудит истово прогревающийся на больших оборотах двигатель. Гарнизонов ругается сквозь зубы – замерзла в машине печка, батяка сейчас даст прикурить! У меня зуб на зуб не попадает, меня от озноба сейчас вышвырнет из моей канадской кожанки – неслышанного и недостижимого шика, нашего трофея из заокеанского ленд-лиза. Гарнизонов хватает меня в охапку и засовывает под тулуп. От шубы пахнет деревней, ядерной овчиной, от него – горьким и приятным запахом зверя. «Погрейся, потерпи маленько, сейчас лампочка погаснет – значит мотор согрелся, ветром домчимся». Гаснет лампочка, медленно замирает ее протяжный салатный свет. Поехали. Теплеет в кабине. Только льдом обжигает нечаянное прикосновение к черному злему тельцу «шмайссера». Сон наплывает...

Открыл глаза, когда солнце лениво завалилось за острый гребень крыш. Аспидно-красные тона, горбатый хребет города – затравленный силуэт ихтиозавра.

Налил полстакана и быстро хлебнул, и пролетела водка, как вода, – без вкуса. Только затеплел через минуту туман в углах комнаты, возникла у вещей глубина, стерся вымысел расплющенного мира. Водка вернула еще одно измерение.

Она не может мне вернуть только одного чувства – целостности мира. Аккуратный моток времени с каким-то бесконечно далеким логическим Началом, тщательными неспешными витками Продолжения, приводящими в точное, осязаемое Настоящее и оставляющий в руках кончик пряжи, из которой сошьется Будущее, – вот этот волшебный моток попал в руки к сумасшедшим, и они долго рвали нити, путали, кромсали, вертели узлы, топтали и замачивали в крови, чтобы сейчас, подсохнув, он превратился в бессмысленный ком разрушенных связей и необъяснимых событий.

Почему убили Михоэлса?

Бесцеленно задавал я этот вопрос себе и своим знакомым. К счастью, Ула никогда не узнает, и это не сможет оскорбить ее, но меньше всего я интересовался ее отцом. Из-за него – если так можно сказать – я затеял всю эту историю, но понять, разгадать, узнать что-либо о нем можно будет только в поисках ответа на причины гибели Михоэлса.

Дело в том, что Моисей Гинзбург был маленьким еврейским писателем и журналистом, завлитом ГОСЕТа. Литератор моего калибра. В бушевавшей тогда над страной грозе его смерть прошла просто незамеченной, а интересоваться его судьбой теперь можно было с тем же успехом, как если бы я надумал искать щепку, унесенную ураганом.

Но он погиб вместе с Михоэлсом. И это обстоятельство вдохновляло меня, когда я обещал Уле раскрутить всю историю.

В послевоенные годы не было среди евреев фигуры, равной Михоэлсу по международному авторитету, никто не мог сравниться в масштабе предпринятой им культурной и просветительской деятельности. Да и что говорить! Это была личность такого размера, что Берия не рискнул объявить его просто врагом народа, а приказал потихоньку убрать уголовными приемами.

И я был уверен, что остались люди, которые так или иначе были прикосновенны к его жизни, к его истории, к его гибели.

Но моток времени был уничтожен окончательно. Люди ничего не знали. Или не помнили. Или не хотели говорить... В комнате быстро смеркалось. В коридоре глухо топотал своими подшитыми валенками Евстигнеев, без отдыха бубнил, бурчал, ворчал, с пришедшими соседями неумолчно сварился.

В бутылке еще сумрачно мерцало больше половины. Наливать сил не было – прямо из горла хлебнул, два больших жадных глотка рванул. Ничего – и темный стаканчик в голову бьет. С дивана мне виден был сейчас за окном лишь ломаный краешек крыш и огромный скат неба, залитого темно-малиновым полусветом, а комнату заливали потемки густым тяжелым варом. Тепло шумела в крови водка, сквозь дребезг стекол и вой машин я слышал влажное чваканье клапанов тугого насосика в своей груди, который сразу же сбавил ритм, притормаживал и срывался в бешеный бой, как только я вспоминал лица людей, которых я расспрашивал о Михоэлсе.

Тут, конечно, надо принять в разумение, что совсем мало историй в богатом прошлом отчизны окружены такой смутной известностью, такой легендарной недостоверностью, столь плотной завесой лжи, нелепых выдумок и сознательно перепутанных клочков информации.

Смерть Михоэлса окутывает непроницаемая тайна. Официальное сообщение в три строки о том, что в Минске погиб Михоэлс – председатель Комитета по Сталинским премиям. Государственные похороны по первому разряду. На панихиде министр культуры Фадеев сказал: Михоэлс был художник, осиянный славой, величайшей славой, выпадающей на долю немногих избранных.

Но Фадеев, заметивший в надгробном слове, что имя Михоэлса будет долго, быть может века, живо для всех, кому дорого искусство, уже тогда знал наверняка то, о чем вскоре стали шептаться немеющими от ужаса губами: Михоэлса убили не бандиты-националисты. И потому все его дела, свершения, замыслы, надежды, само его имя подлежало уничтожению, распылению, изглаживанию из людской памяти.

Очень скоро закрыли созданный и прославленный им ГОСЕТ, разогнали газету и издательство «Эмес», убили ближайших его соратников, арестовали друзей, родственников, глупо ошельмовали в газетах и приказали забыть.

Подвергнуть забвению. Михоэлса не было.

Людам велели забыть. И они забыли...

Мреют тени по стенам, на потолке прыгают отблески автомобильных фар, реют на Садовой железные зверюги.

Еще глоток, мне необходим еще один короткий взрыв спирта в крови. Я замерзаю в духоте. Как разбивающиеся льдины, дребезжат стекла в окне.

Все забыли. Никто не уклоняется от предписанной линии поведения.

Они не виноваты. Это уже генетическая идея поведения. Миллионам людей целые десятилетия кричали: «Шаг в сторону считается за побег – конвой стреляет без предупреждения!» Никто больше и не делает шага в сторону. Никто и не думает на шаг в сторону. Это система мышления, это линия подчинения.

Шаг в сторону считается за побег.

Размышления о смерти Михоэлса считаются за побег.

В последние годы о нем вышли две книги. Там есть его избранные статьи, там есть о нем статьи, там есть его биография. Только о смерти его там ничего нет. Шаг в сторону. Да это и понятно – человека ведь не замели, не воткнули ему десятку без права переписки и потом не реабилитировали. Объясняй теперь про непонятную трагическую гибель, ищи виновных, рассказывай сейчас о том, что и бериевские ребята орудовали не хуже чикагской мафии. Это все не из нашей жизни, не для наших людей. Не их ума дело. Это шаг в сторону.

И все мои знакомые артисты, писатели, журналисты, которых я спрашивал о Михоэлсе, удивленно пожимали плечами: а зачем тебе это?

Шаг в сторону. Подконвойная манера мышления. Господи, я ведь их не сужу – я и сам такой же!

Кое-кто с воодушевлением говорил мне шепотом: «Я вам все расскажу об этой истории!» Оглядываясь по сторонам, вполголоса пересказывали мне библиографию прочитанных мною сборников о Михоэлсе, разбавленную парой сплетен о бабах, с которыми путался при жизни великий актер. А как умер? Его убили в Минске. Кто? При каких обстоятельствах?

Руки за спину, ни шагу из строя, зырк-зырк, налево-направо, одними глазами – туда, наверх:

– Говорят... они... эти... Но точно никто не знает...

Да, слишком долго стреляли без предупреждения. В их перепуганно прижатых ушах все еще гремит эхо беспорядочных залпов. Шаг в сторону считается за побег. И я их не сужу.

Жена и две дочери Михоэлса. Они не знали обстоятельств и убийц, так же как и все остальные. Но они знали наверняка бездну деталей, которые меня могли направить на нужный след, вывести на сведущих людей. Семья Михоэлса пережила такой смертный ужас, что конвойные команды и угроза стрельбы уже не имели над ними власти.

Только помочь они уже не могли, ибо шаг в сторону ими был сделан. Они уехали в Израиль три года назад.

Круг замкнулся. Ко мне пришла печаль. И я запил.

Тяжело, с трудом сполз с дивана и проковылял к окну. Тусклые огни светили в палатах института Склифосовского. Открылись боковые ворота этой бездонной больницы и выехала длинная машина «скорой помощи».

В коридоре за дверью соседка Нинка обругала матом Евстигнеева. Он чего-то гугнил занудно, а она ему выкрикивала: «Ах ты, старый пидарас!»

Я вспомнил почему-то, что покойник Хрущев так же ругался на выставке художников в шестьдесят втором году. «Жулики вы, пидарасты!» – кричал он авангардистам, очень обидевшим его непонятностью видения мира.

Шаг в сторону.

Никогда и ничего не поймут про нас, про нашу жизнь люди, не ходившие в жизни ни разу строем, руки назад, шаг в сторону считается за побег. В окружении овчарок, надроченных рвать живых людей на мясо. Мы для них всегда искаженный образ. Или абстракция. Обычный человек не в силах представить себе бесконечность. Обычный западный человек не может представить, как Кеннеди, с багровой от ярости лысиной, топает ногами на перепуганных художников, обкладывая их американской матерщиной. У них, наверное, и матерщины-то настоящей нет.

Все пустое. Стреляют без предупреждения.

Из ворот больницы выкатилась еще «скорая помощь», за ней другая, потом третья, потом сразу несколько. Они протяжно подвывали сиренами, разгоняя поток встречных машин, пока не переключили светофор, импульсные фонари бесновались на крышах оранжевыми языками пламени. Куда они?

Все пустое.

Я уселся на теплый камень подоконника, глотнул из бутылки, и у меня в черепке будто фонарик просверкнул. И снова погас.

Выезжали и с пронзительным визгом уносились прочь по Садовой в сторону Красных ворот машины «скорой помощи» с пугающим просверком кричащих на крыше фонарей. Куда, на какое невиданное бедствие мчались они?

От ужаса прижмуривались светофоры, с истошным скрипом тормозили на перекрестках автомобили, пропуская мчащиеся кареты с красным крестом.

Наверное, разбился самолет. Или сгорел высотный дом. На Курском вокзале столкнулись электрички.

По улицам катился жаркий бензиновый ветер. Засмурнели, медленно разгораясь сиреневым пламенем, фонари.

Еще прокатили две машины с крестами.

Я глотнул остаток из бутылки. Натянул тренировочные брюки, мятую рубаху. Вдел ноги в сандалии, как в стремена, поскакал пьяный любопытный всадник – две ляжки в пристяжке, сам в корню.

Захлопнул дверь и еще слышал хрипкое злое подвизгивание сирены. Мне надо было на улицу, мне обязательно надо было узнать – куда они все едут?

Где-то приключилась беда гораздо больше моей печали.

У подъезда скромно и оробело притулился запыленный «моська» – ему был страшен этот исход белых, крикливо ревущих машин, перечеркнутых красными крестами.

Я шел поперек улицы, через перекресток к боковым воротам больницы, откуда выезжали санитарные машины, и вокруг меня вздымались клубы ругани тормозящих аварийно шоферов, с шипением скрежетали по асфальту баллоны, гремели завывающие моторы, в стеклах огибающих меня лимузинов мерцали сиренево-синие отсветы фонарей, красные дымящиеся бульбочки светофоров, полоснул этот гам скребущий прочерк далекого милицейского свистка...

Но я уже перекрыл выезд из ворот растопыренными руками и криком:

– Что случилось?

Шофер белой долгой машины шевельнул удивленно моржовыми усами:

– Ничего не случилось. Пройди с дороги, дай проезд...

– Куда вы все едете? Что произошло?

– Да сегодня квартал кончается. А талоны на бензин только к вечеру дали. Вот все и погнались заправляться. Да уйди ты с дороги!..

Рявкнул сиреной и умчался, шваркнув в меня мусор из-под колес. Зря я водку допил. Плюнул и пошел домой.

На двери нашей квартиры была прикреплена рисованная табличка: «Квартира № 5 борется за звание жилища коммунистического быта». В приступе бессмысленной злобы я стал срывать ее, но ничего не получилось, только пальцы искровенил – Евстигнеев прикрепил ее на совесть.

Оттуда – из бурлящих недр будущего быта – доносились звуки братоубийственной свалки. Соседи отворили дверь, и в лицо жарко пахнул суховой их ненависти. Ежевечернее кухонное Куликово поле.

Нинка была уже здорово под киром – я сразу ощутил это волшебной индукцией, возникающей между пьяными. Она сидела, развалясь, на перевернутом стиральном баке и держала на своих толстых коленях Кольку и Тольку, двух неотличимых ребят-погодков. Ее ребята были удивительно похожи друг на друга – по-настоящему удивительно, если учесть, что они были не похожи на нее, зато от разных отцов.

Нинка благодушно ругала матом Евстигнеева, а ее пацаны с хохотом повторяли ругательства своими толстыми неловкими языками.

– Шкура солдатская! – орал багровый от ярости Евстигнеев. – Пришел конец твоим бесчинствам! Завтра же! Завтра! Уконтропую тебя! Милиция меня знает! Они мне поверят! Посажу тебя! Шваль! Подстилка лагерная! Шалашовка!..

– Курва! Сука байстрючная! Мать у тебя была курва! И сама ты курва! И дети твои будут курвоводы! – вторила ему жена Агнесса Осиповна, черная, высохшая от злости ведьмачка.

Иван Людвигович Лубо, бросив на плите пригорающие котлеты, поочередно вытирал о брюки измазанные в фарше и жире руки и прижимал их к ушам:

– Господи! Что вы говорите при детях! Одумайтесь! Сами себя не стесняетесь, так хоть детей посовеститесь!..

– А ты, телигент хренов, не суйся, а то и тебе достанется! – лениво, со смешком отвечала Нинка.

– Вот! Слышите, гражданин Лубо? Слышите? Завтра свидетелем будете! Я ее посажу завтра! Мы с ней в другом месте поговорим!

– Нигде я вам ничего свидетельствовать не стану, почтеннейший, – бросил сухо Лубо и стал быстро переворачивать на сковородке котлеты.

А я стоял в дверях кухни и смотрел на них в тупом оцепенении.

Нинка стряхнула ребят с колен, как крошки, встала, накатила на Евстигнеева пышную грудь:

– Ой, напугал до смерти! Поговорит он со мной завтра! Так ты...

– Нина Степановна, умоляю вас – здесь дети, – с мукой завыл Лубо.

А она только махнула в его сторону рукой.

– Ты со мной сейчас поговори! – грозно сказала Нинка. – Я тебя слушаю...

Повернулась к Евстигнееву спиной, резко нагнулась и задрала юбку, выставив кругло-белую двойную подушку задницы. Евстигнеев замер, алчно вперившись в бездонный развал мучных ягодиц, очерченных алым кругом от доньшка бака.

– Караул! – всполошно заорала Агнесса Осиповна. – Шлюха! Шланда вокзальная! Караул!

Евстигнеев онемел, жадно глядя на пухлое седалище, которого наверняка у Агнессы и в молодые-то годы не было, он буквально впитывал в себя глазами все рыхлые ямки Нинкиных окороков, и взор его изнеможенно прилип к плавной вмятинке над копчиком.

– Что глазеешь, кобеляка старый? – надрывалась Агнесса.

– Господи, непотребство какое! При малых детях! – бормотал Лубо, скидывая котлеты на тарелку.

И Евстигнеев, замороженный этой мясной гитарой, молвил наконец слово, и было оно озарено чувством, как молитва. Он сказал торжественно и тихо:

– Жопа...

А Нинка с хохотом распрямилась и сказала Агнессе с вызовом:

– А ты, саранча сушеная, чем меня лаять, отдала бы лучше своему пердуну облигации...

Это был безоговорочно точный удар. Сколько я живу в этой квартире, столько идет война у Евстигнеева с женой из-за облигаций. За годы службы в конвойных войсках на севере он накопил тысяч пятьдесят облигаций – это по-нынешнему тысяч пять. И Агнесса их надежно упрятала от него. Каждый день они ругаются и дерутся. Евстигнеев грозит зарубить ее топором, потом стоит на коленях, потом просит отдать ему хоть часть, потом плачет. Агнесса несокрушима. Две огромные страсти владеют ее окаменевшей душой – любовь к этим накрепко заныканным облигациям и ненависть к евреям.

– Не твое собачье дело! – крикнула она и, завидев крадущуюся на кухню за чайником Ольгу Борисовну, переключила внимание уже изготовившегося к атаке супруга: – Вот жиды! Целый день шкварят-парят русские продукты, а сами ждут не дождутся, как Израилю продать нас за свою мацу...

Нинка засмеялась:

– Они хоть и евреи, но все равно вас, злыдней противных, приличней будут.

Ольга Борисовна, не оглядываясь по сторонам, вжав голову в плечи, юркнула к плите.

Лубо горестно воскликнул:

– Стыдитесь! Вы же советские люди!

Я вышел на кухню и тихо приказал:

– Нинка – домой! Вы, скорпионы, – марш в нору! Больше чтобы я звука не слышал. Если ты меня, Евстигнеев, разбудишь своим вквотаньем, я тебя на улицу вышвырну. Понял?

И отправился к себе в комнату. Они доругивались шепотом.

А я лег на диван. За окном похрипывали возвращающиеся с заправки «скорые помощи». Сумасшедший дом. Чудовищные люди. Василиски. Нежить. Бездарная монстриада.

Ослепшие от постоянного ужаса Довбинштейны.

Кастрированный интеллигент Иван Людвигович. Его жена Люба, загнанная жизнью до состояния тягловой лошади. Зачем живут? Чего хотят дожидаться? Увидеть, что их две дочери выросли и повторили их бессмысленный подвиг самоуничтожения? Иван Людвигович учит девочек музыке. В их тесноватой комнате стоит пианино. Покупали мучительно, расплачивались несъеденными обедами. Пианино одето в серый холщовый чехол, застегивающийся кальсонными пуговицами. Поиграв гаммы, девочки натягивают чехол. Пугающий символ бесцельных усилий и неоправданной бережливости.

– Облигации! Облига-аци-и-и! – пронесся в тишине страдающий заячий вопль Евстигнеева, и снова все смолкло.

Рывкнула за окном сирена «скорой помощи» – они все ехали, мерцая своими пульсирующими фонарями. Развозили по городу неизбежную беду общего идиотизма, всеобъемлющей бессмыслицы.

Потом прошаркала в уборную Агнесса, и глухая шаркотня ее тапок сливалась с бормотанием – «жид... жида... жид...».

Я ведь ничем не отличаюсь от своих соседей, от всех этих прохожих на улице. Безумных жителей розово-голубой земли счастья. Слипались глаза, наплыла сонная муть, баюкала, качала меня комната, как огромная грязная люлька, и прыгали по стенам пятна света, натужно-ровно гудели машины за окном и бликовали в стекле мутные огни неоновой рекламы. Я почти спал. И вдруг вскочил – толчком, уколом возникло воспоминание о колонне мчащихся машин «скорой помощи».

...На исходе ночи 5 марта 1953 года. Озверевший от горя московский люд прощался с великим Отцом. Я уже был большой мальчишка, я хорошо помню охватившее всех чувство растерянности. Умер Усатый Батя. Как обычный человек, как любой паршивый старик, вдруг окочурился Великий Идол, могучий и вездесущий, как Бог, и злобно-лукавый, как Дьявол.

Он же ведь бессмертен?!

Он возник раньше пределов памяти народа, победил всех врагов внешних, разгромил всех внутренних, осчастливил население, которое и должен был ввести в сияющие врата коммунизма. И пребывать нам с нами навеки. И вдруг какие-то странные неуместные слова – кровоизлияние, коллапс, в последние годы страдал...

Разве Бог, а он был настоящим Божеством новой религии, разве он мог страдать от каких-то плотских немощей? Разве у него была плоть, подверженная старению? Разве Боги смертны? Ведь если думать об этом, можно дойти до кощунственной мысли, что он носил грызный бандаж? Господи, прости и помилуй! И – клизмы?! Можно додуматься до такого вздора, чтобы назвать его – в неполные-то семьдесят четыре года – стариком?

Если бы за неделю до смерти кто-нибудь прилюдно назвал вождя стариком, ему бы даже десятку не навесили. В связи с очевидным сумасшествием посадили бы в желтый дом.

Но под апокалипсические раскаты «Итальянского каприччо» (часть первая), под грозные аккорды Бетховена и рыдания Шопена – никогда не ошибающееся радио устами своего еврейского дьякона Левитана обнесчастило весь наш героический и трудолюбивый народ, сообщив, что Чертов Батка подох.

Горе нам! Осиротели навек.

День павшей бесовщины. Сатанинский исход. Чертова тризна.

Освобожденные от работы и учебы люди в этот час растерянности, испуга, утраты надежды и веры в бессмертие зла повалили к Колонному залу, где возложили на курган из лент и венков маленького, рыжеватого, рябого старика, прижмурившего свои страшные желтые глаза людобоя.

В полдень перекрыли Садовое кольцо. Через час остановилось все движение.

Служащие, студенты, школьники, окраинные жители и обитатели пригородов рвались огромной неукротимой толпой в центр, чтобы одним глазком хотя бы взглянуть на смердящую кучку усатого праха, еще вчера безраздельно владевшего их жизнями.

Был мартовский серый день, оттепельно влажный, слепой от низких туч, расчерченный черными штрихами тяжелого вороньего пролета. Накануне пал обильный снег, и сотни тысяч мокрых ботинок, сапог, валенок, галош истоптали его в глубокое водяное месиво.

Ветер нес с юга пронзительный запах сырых деревьев, прошлогодней травы, оттаивающей земли. И крови.

Первые убитые появились к вечеру. По всем радиальным улицам – Горького, Петровке, Неглинке, Пречистенке, Остоженке, из-за Москворечья – накатывал в центр бушующий крикливый вал спрессованных, как в очереди за мясом, возбужденных, подвыпивших людей. Говорят, их собралось около трех миллионов. А через двери Колонного зала входило каждую минуту шестьдесят человек.

Милицейские заслоны толпа унесла мгновенно, растворив в себе их заградительные цепи. И пришла на помощь наша родная освободительница и защитница – армия.

Грузовики и бронетранспортеры перегородили улицы уже на последних рубежах перед Охотным Рядом. Еще свежи были воспоминания о военной стойкости и подвигах на подступах к сердцу Родины, и сейчас они показали себя достойными мужества отцов.

Медленно, неотвратно двинулись военные машины встреч хода толпы, чтобы выжать народ из примыкающих к правительственному центру улиц. Конец людских колонн, во многих километрах от начинающегося противостояния, ничего не зная о нем, продолжал расти и яростно переть вперед.

Чудовищный раздирающий уши вопль несмолкаемо понесся над серым напуганным городом. Так кричат убиваемые вместе люди. Я слышал этот крик на Рождественском бульваре. Я видел, как стали давить людей.

На семи холмах стоит Москва. Под каждым из них брызнула струей кровь – с оголовков неостановимо катила вниз человечья лавина, с ревом и дикими ужасающими криками давя в фарш о борта армейских грузовиков стоящих впереди.

Все в ужасе отталкивались от страшного края – вынесенных вплотную к борту мгновенно давили в лепешку, и от этого самоспасительного стремления увернуться толпа кипела и кружилась на месте, раскачиваемая короткими отливными паузами, и в эти краткие миги, когда толпа перестала напирать сверху, люди у среза своей жизни начинали истерически бить руками, ногами, рваться всем телом, стремясь на метр, на два отпихнуться, отпереться, отодвинуться от залитых кровью автомобильных бортов. Солдаты в кузовах хватили стоящих под ними людей за руки, за волосы, как утопающих, и тянули наверх, но тут же наваливал следующий прижим – уже висящего в воздухе с треском вламывали в железо, и над Трубной площадью вздымался новый шквал криков, рыдания, стонов, звериного завывания.

Я с тремя семиклассниками оказался чуть ниже Рождественского монастыря. Обезумевшая от боли и ужаса орава граждан носила нас в себе, турсучила, душила, била, ломала, пресовала. Мольбы заглушались громким, ясно слышным всем хрустом костей.

Сначала мы старались держаться вместе, но скоро нас разбросало, и каждого понесло в свою сторону. Мы были утопающими. В море страха и ненависти. Наверное, так ведут себя люди, старающиеся вырваться из трюмов уже торпедированного корабля. Кто-то сумел резко подпрыгнуть, подтянуться, вскочить соседям на плечи и побежать по плотному массиву голов, но не добежал немного до бульвара, рухнул, и его мгновенно с мокрым чваканьем затоптали.

Забыли о детях, о женщинах, стариках – накопленный за годы дарения Идола инстинкт выживания в одиночку вырвался на просторы города как чума.

Какой страшный рыдающий рев клубился над нами! Сзади стреляли холостыми патронами или в воздух – не знаю, впереди гудели сигналы военных грузовиков, истерически визжали убиваемые женщины, из уличного громкоговорителя гремела похоронная музыка, раздавался далекий жуткий утробный вой машин «скорой помощи», не могущих даже приблизиться к бедствующим, ожесточенный мат, проклятия, жалобный плач.

Оторванная голова мальчишки, затоптанные в грязной жиже тела, серые комья мозга на передке бронетранспортера, потеки крови на стенах.

На мне уже живого места не было, а толпа все кружила меня в своем рычащем чреве, и когда я повернулся в очередной раз вокруг себя, то увидел, что в шаге от меня, через два человека – фонарный столб. И обозначал он мою смерть.

Через секунду или через минуту начнется новое сжатие – и меня расплющит о чугун столба вдребезги. И от меня ничего не зависело – я и шевельнуться не мог, сдавленный со всех сторон людьми.

Я закричал изо всех сил – не хочу! не хочу! И будто толпа – немая, глухая, безумная – послушалась меня. На одну секунду она раздалась на волосок – я сбросил с себя пальто, взмыл выше, меня подхватил какой-то рослый моряк и передал в чьи-то руки в растворенном окне бельэтажа. Я ввалился в кухню и только тут заметил, что я босой – ботинки потерял в толчее и, промокший до пояса, не замечал холода. И тут облегченно заплакал.

Домой я попал ночью и до утра стоял у окна, глядя, как мчатся бесчисленные машины «скорой помощи».

Потом пришел отец, и я слышал, как он тихо сказал матери:

– В городе – ужас. Около двух тысяч убитых. Жалко. Синилова, наверное, снимут.

Приятель отца, одутловатый генерал Синилов, был комендантом Москвы...

А на улице сыто похрипывали, круто вскрикивали сиренами – мчались «скорые помощи»...

Я снова стал погружаться в дремоту, и последняя мысль была отчетлива – меня сохранил тогда Бог на прощальной тризне людореза для важного свершения.

И снились мне в первые мгновения сна кусочки моего романа – герцог Альба принимает ванны из детской крови, надеясь продлить свою жизнь.

И великий Сатрап в посмертной кровавой купели...

И горестно качающий головой отец:

– Эхма! Какой великий человек был! Видать, правду говорят – и всяк умрет, как смерть придет...

17. Ула. Пустырь

«Когда тебе невыносимо, не говори – мне плохо. Говори – мне горько, ибо и горьким лекарством лечат человека».

Я часто слышала эти слова от тети Перл, которая запомнила их как любимое присловье нашего деда. А дед слышал их от старого цадика рабби Зуси.

Умерла тетя Перл, задолго до моего рождения немцы повесили нашего деда. Исчезла память о жизни и мудрости старого рабби с ласковым именем маленькой девочки – Зуся.

Я хожу по домам, подъездам, квартирам и на пыльных лестницах, перед бесчисленными дверями, нажимая кнопки звонков, теснясь сердцем, утешаю себя мудростью пропавшего в омуте времени цадика Зуси – я говорю себе: мне горько.

Участвую в важнейшем политическом мероприятии – избирательной кампании. Я – агитатор. Мой участок – три длинных пятиэтажных барака, заселенных рабочими семьями с одного большого завода.

Где вы, добрые и простовато-мудрые Платоны Каратаевы? Где вы – ласковые Арины Родионовны? Куда вы попрятались, буколические дедушки и бабушки, благодушные пасторальные люди?

Зачем вы кричите на меня:

– Ботинки сыми! Куда на паркет поперла!

Я ведь вам не желаю зла – я просто боюсь Педуса.

Я только хочу вам отдать приглашения в агитпункт...

– Ходюте и ходюте цельный день, пропада на вас нет, дармоеды, – с чувством говорит мне рубчато-складчатая крепкая бабка. Глаза у нее – тыквенные семечки.

– Бабушка, я не дармоедка, – зачем-то оправдываюсь я. – Я после работы пришла.

– К мужикам бы шла, коли делов после работы нету...

Эх, бабушка Яга, дорогая старушечка, не объяснить мне тебе, какая бездна дел у меня, и не понять тебе, что, направляясь сюда, я и думать боюсь о мужиках, ибо стоит за их спиной страшной тенью главный мужик, истязатель, стращатель и насильник – Пантелеймон Карпович...

А в соседней квартире жилистый мужичок с впалыми висками говорит мне душевно – че ж ты торопиться, голубка, присядь, побалакаем, лясы поточим, про политическую положению в мире все обсудим, время есть у нас – мы-то, пенсионеры, люди неспешные, свое отбежали, времечко отторопили...

Угощает меня чаем, я отказываюсь, он беседует про политическую положению, объясняет мне важность агитации и пропаганды на современном этапе, подчеркивает, что в отличие от буржуазной машины голосования с ее продажностью, грязной погоней за голосами, уголовными аферами претендентов и лживыми заигрываниями с избирателями – у нас все наоборот. Во-первых, все по-честному...

Он прав – все по-честному. И я только не могу понять, сознательно он издевается над мной, верит ли действительно в идиотизм своего пустословия, или он меня провоцирует. Дурман плотного абсурда заволакивает мозг. Дурь, шаль, блажь затопили низкие берега реальности.

– И-э-эх! – протяжно горюет он. – Времена чегой-то переменялись! Раньше выборы – как праздник были. Помню, при Сталине еще, соревнования между избирательными участками были – у кого раньше полностью весь народ отголосует. Бывалоче – зима, мороз разламывает, шесть часов утра – темнота еще на улице, карточки хлебные не отоварены, а уже трудящиеся дожидаются у дверей – первыми бюллетень опустить. Дисциплина, понятное дело, – кто часов до десяти-одиннадцати не голосовал, тех на бумажечку, и список – куда надо...

Забыли все хорошее слово – нисенитница. Дичь, чушь, вздор, нелепица. Вкус белены на губах. Шум в ушах. Все плывет в глазах. Его впалые виски ублюдка превращаются в ямы. Это уже не голова. Голый череп. С сивым оскалом железных зубов.

Щелкают железные зубы черепа, вяло шевелится за ними толстая тряпка языка:

– У нас народ хороший, но дисциплины не знает. Оттого – вор. Я-то знаю – почитаю всю жизнь в вохре прослужил. Я те на улице любого человека взглядом обыщу, сразу скажу – вот этот ворованное прет! Опыт имеется. Щас труднее стало – срам потеряли совсем. Несет ворованное, нет в нем острастки, и совесть его не гнет – шагает как полноправный. Так эть и не диво – все щас чего-нибудь воруют!

В пустых глазницах тлеют мутные огоньки – мусор догорает.

– Не помнят старых заслуг нам! Эх, доченька дорогая, знала бы ты, сколько у меня грамот да поощрений! А кому это интересно? Кто щас вспомнит мои подвиги? Я в прошлые годы сам-один, наверное, целый лагерь укомплектовал расхитителями с производства! Как огня боялись – пусть он хоть в толпе хоронится или через забор нацелится, на задние ворота метнется, я его везде глазом высеку – подь сюды! Догола раздену, а краденое сыщу! Не повадсья воровать – вот те семь лет на учебу! А щас что? И-э-эх!

И стал он сразу сморщенный, маленький. Досадный промах творения. У него было высокое предназначение гончего пса, сухого злобного выжлеца, а досталась ему доля мерзкого, всем противного сторожевого человечешки.

– У нас народ хороший, но дисциплины не знает... – горько повторил он.

Воспитателями героев были кентавры – могучие и мудрые люди-кони. Образцом мудрости и героизма для подрастающих наших героев стал собако-человек – слившиеся в пугающее единство пограничник Карацупа и его пес. Кентавр Хирон взрастил бесстрашного Ахилла, хитроумного Ясона, Эскулапа. Погранпес Индокарацупа вскормил собачьим выменем Павликов Морозовых.

У нас хороший народ, а дисциплину он знает лучше всякого другого. Только этим можно объяснить, что никто из этих здоровых ребят-работяг, которых он истово и неукротимо ловил на проходной, за заборами, у задних ворот, не ударил его отнятым наганом во впальный висок, не сжал эту веревочно-жилистую шею, а послушно уходил в каторгу на семь лет. Они были согласны, они боялись. Как боюсь его я.

Я мечтаю встать и уйти, но боюсь шевельнуться, чтобы в нем не полыхнул дремлющий инстинкт выжлеца, чтобы не помчался за мной с хриплым яростным лаем, не вцепился сизыми железными зубами, не начал рвать меня и злобно ужевывать мое тело, распутив на лохмотья, спустив с меня платье, догола раздевши – а краденое нашел!

Ах, черт возьми! Исповедуем ерунду, слушаем вздор, верим вымыслу, видим нелепость, говорим дребедень, разбираем чепуху, вдыхаем дурноту, выдыхаем тошноту.

Дичь. Чушь. Гиль. Нисенитница.

А тут телефон зазвонил, бросился выжлец к аппарату кривой иноходью, вдавил трубку в яму на виске, повис на шнуре, голос дал, повел гон пронзительно, на визге взлаял, слюной кислой брызнул. Обо мне забыл. С придыханием, неумоимо гнал кого-то по следу – «общественность не потерпит... мы, домком, их породу знаем... выселять будем... по милициям загоняем...».

Бочком, тихонько, на цыпочках пошла я к двери, благополучно выбралась. И в соседнюю квартиру. Как они похожи, эти квартиры! Нигде не вкладывается столько страсти в жилье – нигде оно не достается такой чудовищной ценой. На получение квартиры уходит вся жизнь, и ее обретение – главная веха нашего бытия. Квартиры неудобные, перенаселенные, очень тесные – в нее нельзя внести шкаф и нельзя вынести гроб. Я видела однажды, как припеленывали к гробу полотенцем покойника и несли его стоя по лестницам. Это было впечатляющее зрелище – стоящий и слегка покачивающийся, будто пьяный, покойник.

И лакированный паркет. Обычный буковый или сосновый паркет циклюют, шпаклюют, морят, лакируют, полируют. И больше никогда по нему не ходят в обуви. Ни хозяйева, ни тем более гости. Ходят в носках или босиком.

Гости рьяно, с остервенением сдирают с себя в прихожей обувь. Если не спешат – хозяева твердо предлагают. Этот ортопедический нудизм приводит меня в ужас. Но все согласны. И гости согласны. Поскольку завтра, в качестве хозяев, будут принимать у себя босых, разутых гостей. Разутые гости, босяки хозяева. Все согласны. А может быть, я преувеличиваю? Может быть, я сгущаю краски и нарочно раскаляю свои чувства? Может быть, во всем мире все люди согласны ходить в гостях, при детях и дамах, в носках? Может быть, нетронутость лакированного паркета дороже? Может быть, в его зеркальной ясности, в желто-медовом ровном отсвете таится какой-то непостижимый мне культовый смысл?

Или это все тот же яростный отблеск абсурда? Может быть, это его законченный сияющий лик? Может быть, это икона абсурда, которая по законам бессмыслицы не висит в красном углу, а лежит под ногами, ласкаемая мозолистыми пятками и ношенными носками? Не знаю. Устала. Не могу больше...

18. Алешка. Затопленный храм

– Вставай, вставай, просыпайся, лентяй, поднимайся, лежебок! – тряс меня за плечо, срывал с меня одеяло Антон.

А я отбивался, глубже зарываясь в постель, потому что я помнил со сна – я закуклился. Даже Антона я не хотел видеть, потому что меня покрывал спасительный, хранящий меня от полного разрушения хитиновый панцирь одиночества и ненавистнической ко всему миру печали.

Я хотел бы видеть только Улу. Но этого позволить я себе не мог.

Если бы можно было лежать с ней здесь или у нее дома, молча, не открывая глаз, не глядя ей в лицо, а только слыша ее рядом! Главное – не видеть лица. Не видеть себя в ее глазах.

Я не могу смотреть на себя в зеркало во время бритья. Он – тот за стеклом, на серебрястой пленке амальгамы – мне противен. Мне хочется харкнуть ему в худую злобную рожу с опухшими глазами. Этот тип мне надоел до смерти. Он – не я, маленький, добрый, смешной человечек, мечтающий спать на руках у Улы, прижавшись к ее теплой мягкой груди.

Сволочь, трус и хвастун. Вечно кривляющаяся, что-то изображающая обезьяна. Прихлебатель, говно и бездарный завистник. Как он мне надоел, Господи!

Я не могу прийти к Уле – к ней сейчас может возвратиться только он. Он, гадина, останется в ее памяти, а не я.

Оставь меня в покое, я хочу жить в своем жестком гремящем панцире. Не скребитесь по его непрочному хитину. Дай, Антон, поспать, иди к черту, отстань от меня. Я коренной зуб в Дуськиной челюсти, не рви меня клещами наружу, я хочу болеть – в тепле, в тишине, в темноте.

А он волок меня за ноги с дивана, тормошил грубо:

– Поднимайся, просыпайся, алкаш несчастный, я сейчас повезу тебя прекрасно жить!..

Отстань, Антошка, не тряс меня, гад, я закуклился. Я куколка, из которой не вылетит бабочка, а выползет гусеница. Я – контрамот, я – двигаюсь по времени в обратном направлении, я вживаюсь в прошлое, я знаю, что нет никакого будущего, я хочу развиваться до вечера.

Оставь меня. Я – уродливый зуб на четырех корнях.

По голосу веселому Антона, по крепкой упругости его горячих огромных ладоней я чувствовал, что у него очень хорошее настроение, что на улице солнце, что он приготовился жить действительно прекрасно.

Он сдирал хитин моего панциря, как присохший струп на подживающей ране, и мне было это болезненно, щекотно и все-таки приятно.

Я открыл глаза и сказал ясно:

– Прекрати меня трясти! Иди в жопу! Я уже проснулся...

– Вот так бы давно. Быстрее одевайся, мы едем.

– Куда?

– В баню. Я сегодня вечером уезжаю. Провожать меня будем...

Да, я совсем забыл – сегодня Антошка уезжает в отпуск, он ведь мне говорил на днях. Он был весел и готовился к заслуженному отдыху в правительственной санатории в Сочи. Миновал испуг и душевное смятение, его остолоп Димка, видимо, был в порядке, трахнутый папка Гнездилов со своей засранкой-дщерью получил кооператив и три с половиной тысячи – все довольны. Интересно, где все-таки Антон достал деньги? Красный нашел вариант?

Меня это не касается. А вариант – судя по настроению Антона – очень хороший. Ведь у меня есть паскудная привычка раздумывать о чужих делах. И мне эта история не нравится. Не нравится неведомый мне хороший вариант Красного.

Я боюсь. Но сегодня Антон уезжает на курорт. Все прекрасно.

– А почему ты дверь в комнату не запираешь? – спросил Антон.

– Зачем? Что у меня тут воровать? – засмеялся я.

Антон, озираясь по сторонам, задумчиво покачал головой.

– Н-да-тес, скажу вам, обстановочка здесь не буржуазная...

– Антоша, скажу тебе по-честному, хрусталь и старинную мебель со времен родительского дома я возненавидел на всю жизнь...

Антон недоверчиво прищурился:

– Это у тебя от недостатка заработков. Придут деньги – снова полюбишь, – подумал и уверенно добавил: – Жить надо красиво.

Я натягивал ботинки, а Антошка тихо засмеялся:

– Ты меня, паршивец, все уесть сильнее стараешься, а я тебе подарок приготовил...

– Какой еще подарок?

Антон встал с кресла, хрустко потянулся, прищурил глаз, небрежно кинул:

– Через три месяца дам тебе отдельную квартиру...

Я просто оцепенел. Жить без Евстигнеева? Без Нинки? Без замораживающего меня ужаса Довбинштейнов, без душераздирающей обреченной бережливости приличных нищих Лубо? Жить со своей ванной? И уборной, которой буду пользоваться один, а не в здоровом коллективе жилища коммунистического быта? Господи, так не бывает!

– Врешь, наверное? – спросил я неуверенно.

– Ах ты, свинюга! – захохотал Антон. – А эту комнату кто тебе дал?

Это правда – и эту комнату мне дал Антон, и она годы была спасением, и пришла она как спасение в последний миг, когда я понял, что больше ни одного дня не могу жить со своими стариками под одним кровом. Тогда и пришел Антон, невзначай со смехом бросил мне ордер на эту комнату в этом необозримом людском муравейнике в самом центре города. Боже мой, как я был ему безмерно благодарен – доброму и щедрому спасителю! К тому времени я попал в неразрешимую ситуацию – кажется, в шахматах она называется пат. У меня не было выхода. Денег на кооператив – при моих-то заработках – не собрать ни в жисть. Ни в один список распределения жилья меня не принимали как избыточно обеспеченного жилплощадью – в пределах квартиры моего папаньки. Я жил у друзей, ночевал у любимых, но недорогих девок, снимал углы. И тут явился с ордером Антон. Дело в том, что его управление имеет какой-то обменный фонд, куда заселили людей на время капитального ремонта, и часть квартир и комнат находилась в его постоянном владении и пользовании. Каким-то образом он мне и отжухал эту комнату.

Но квартиру? Отдельную квартиру?

– Не верю, – помотал я головой.

– Поверь уж, сделай одолжение, – хмыкнул Антон. – Но молчок – ни одному человеку ни полслова. Я вчера подписал приказ – в четвертом квартале ставим ваш дом на капиталку...

– Но ведь после ремонта надо будет возвращаться!

– Не надо. Ваш дом переделают под министерство – еще одну ораву паразитов соберут. Это ведь придумать надо – я и запомнить названия не могу: Министерство средств механизации, коммунального, бытового, дорожного и еще какого-то там машиностроения! Вот жлобы!

– Ну, Антошка, удружил...

– Удружил, удружил! Посмотрел предложение – там несколько домов, на выбор, вижу твой адрес, ага, думаю – это и есть самое подходящее здание для этих дармоедов. Хоть братану хата обломится с вакханалии бюрократии. Но не забудь, что сказал, – никому ни слова...

– Что ж, есть повод выпить, – сказал я.

– У тебя, я заметил, и без повода получается, – сказал Антон.

– Стыдишь? – разозлился я.

– Не-а, – покачал башкой Антон. – Жизнь такая стала, что, кабы не мое дело, я бы давно спился к чертям. Этот газ сейчас нужнее кислорода. Ладно, поехали...

Мы вышли в коридор – разметались по стенам в сером пыльном сумраке тени-силуэты соседей, как атомные отпечатки на стенах Хиросимы, полутемные факсимиле испарившихся душ. Мгновенье они были неподвижны, будто хотели, чтобы я лучше их запомнил, а Антон лучше рассмотрел перед тем, как он поставит наше сгнившее жилище на капитальный ремонт для нового вместилища министерства с названием из сумасшедшего кроссворда и разбросает нас всех по своим отдельным норкам.

И сразу же ожившим стоп-кадром задвигались, засуетились, отправились по текущим квартирно-хозяйственным делишкам. Они снова были слепы, как люди во все времена, – им и в голову не приходило, что стоящий рядом со мной человек – посланец судьбы, ибо в наших условиях новая квартира становится новой судьбой.

Мимо нас промчалась в уборную Нинка – с ночным горшком, как с футбольным кубком, растрепанная и похмельно-злая. Потом из кухни двинулся к себе в комнату своей приседающей от вежливости походкой Лубо, балансируя сковородкой с оладьями и горячим кофейником, и, согнувшись еще круче, будто скачком рвануло его к земле усилившееся внезапно притяжение, кивнул нам – «доброго вам утречка», и мы ответили ему под аккомпанемент нестройных гамм, разыгрываемых его девчонками, уже расстегнувшими кальсонные пуговицы на склеенном из осины пиандресе, и эти звуки были похожи на вялое мочеиспускание старика, которого они высаживали по утрам на больничные утки наших ушных раковин. У дверей стоял Михаил Маркович Довбинштейн, покорно глядя на меня отвисшими красными веками большой собаки, – он каждый час ходит к почтовому ящику смотреть, не пришло ли разрешение из ОВИРа. «Ничего нет?» – спросил я. И он помотал головой и тяжело вздохнул, как всхлипнул.

Тяжело прошлепал, как грузовик на спущенных колесах, Евстигнеев, и на губах его булькало и пузырилось слово «об-ли-га-ции». Следом шаркала Агнесса, зло косилась на Довбинштейна, и оттого, что она неумолчно жужжала при этом – «жи-жи-жи-жид-жиды-жи», казалось, что она не человек, а безобразная кукла, работающая от старого электромотора.

Нежить. Морготина. Нелюдь. Омрачение ума. Припадочное воспоминание.

Из этого пропащего дома – на воздух! В баню, в пивную, на помойку – куда угодно. Благо, уже подрагивает от нетерпения умчаться нас в край тайных, запретных для всех этих людей наслаждений Антошкин автомобиль – рвущий глаз своей ослепительной, сияющей чернотой, весь дымящийся этим темным блеском, как наведенное на солнце затемненное стекло.

Шофер Лешка открыл заднюю дверцу, Антон подтолкнул меня – двигайся. И сел рядом. Это что-то новенькое, раньше он, как наш папенька, всегда садился с шофером. Я усмехнулся. Антон заметил, понял, подмигнул:

– Влияние Запада – не так демократично, зато можно сосредоточиться. И вообще – солиднее...

Солиднее так солиднее. Раньше в цене была идейная одержимость, теперь выше и надежнее добродетель солидности. Это какой-то малоисследованный феномен революцион-

ного сознания – в кратчайший срок все наши горлопаны-ниспровергатели становятся самыми замшелыми несокрушимыми консерваторами, перед которыми английские тори выглядят легкомысленными прожектерами, разгильдяями и шалапутами.

– Как с книжкой твоей? – спросил Антон.

– Никак. Врут все время что-то, мозги пудрят. Воляныт. Теперь, говорят, бумаги нет...

– С бумагой действительно трудно сейчас. Финны нам не хотят продавать...

– Ну конечно! У нас же – в отличие от финнов – страна безлесная! Где нам свою бумагу иметь!..

– Это не вопрос, – засмеялся Антон. – Есть такой анекдот про то, как помер один руководитель. Ему в чистилище говорят: у нас два ада – капиталистический и социалистический. Куда хочешь? Он без размышлений – в социалистический. Те удивились, а он поясняет – дурачье, раз ад социалистический, значит там с котлами да сковородками обязательно перебои будут – то уголек не подвезут, то смола кончится, то черти запьют...

Шофер Алешка только заржал, восхищенно замотал головой:

– Это точно, запьют у нас черти... У нас без того нельзя!..

Антон кивнул на него:

– Слышь глас народа?

– Распустили вас, – сказал я папаныкиным голосом. – Хрущевские дети!

Раскаленным черным камнем пролетела машина через город, выскочила на набережную против серой ячеистой громады Допра и свернула в ворота бассейна.

Я подтолкнул локтем Антона и, показав глазами на Допр, спросил:

– Купаясь тут, вы никогда не думаете о судьбе жильцов этого дома?

Антон оценивающе прищурился на вломленный в останки замоскворецких церковей конструктивистский изыск на четыреста квартир, поцокал с сомнением языком и круто отрубил:

– Этого больше никогда не будет...

– Да-а? – ехидно протянул я. – Это тебе где такую гарантию выдали?

– Нынешняя жизнь такую гарантию дает, никто из начальства больше рисковать не захочет. Уж больно карающий меч шустрым оказался. Как косилка...

Этот огромный дом построили в тридцатые годы и заселили элитой, он так и назывался – Дом правительства, сокращенно Допр. По жуткой иронии судьбы так же именовались тюрьмы – Допр – Дом предварительного заключения, и во всем этом бездонном муравейнике власти не оказалось ни одной-единой квартиры, из которой бы не замели хозяев. Пересажали всех, быстро заселили новыми и стали поспешно сажать этих новоселов – и так несколько кругов. Некоторые жильцы не успели распаковать вещи. Из одних квартир вывозили, а в другие – вселяли. Но я не слышал хоть бы об одном человеке, отказавшемся от ордера на квартиру в этом доме.

У них всех была чистая совесть. И короткая память.

И Антон точно знает, что больше этого никогда не будет.

Машина меж тем, описав полный круг по пешеходной дорожке вокруг бассейна, рывкнула сигналом на зазевавшихся прохожих, подкатила к дверям бани – знаменитой «избы», знаменитой в том смысле, что она служит закрытым клубом для среднего городского начальства и четко свидетельствует о твоём социальном достижении, а для всех недостигших она – не знаменитая, потому что она просто не существует для них. Пока не существует. «Изба» Андрея Гайдукова – мечта прицелившегося в генералы бюрократа, манна для гуляки и обжоры, греза жулика и продвигающегося честолюбца.

Чуть в стороне стояли несколько черных «Волг» с начальскими номерами. Шоферы на перевернутом ящике играли в домино.

Внутри «избы» – просторного ясно-желтого сруба – вели настоящие сени, мастерски изукрашенные деревянной решеточкой, с резными балясинами и петушком над притолокой.

И деревянным точеным молотком у входа. Антон постучал, распахнулась дверь, и в глубине сеней возник Степан Макуха – Андреев управитель, прислужник и, наверное, исполнитель приговоров. Со дна глубоких дырок в черепе посверкивали две лужицы крепкой марганцовки – странно замерзшие фиолетово-красные шарики. Он приглашающе замахал цепкими жилистыми ручищами, смял в жесткую гримасу сухое костистое лицо крепко пьющего человека – это означало улыбку. И все – совершенно беззвучно. Я никогда от Макухи слова не слышал. У него работа своеобразная. Наверное, Гайдуков, нанимая Макуху на работу, вырезал ему язык. А письменной грамоте Макуха не разумел наверняка. Нет, он, конечно, был специалистом очень узкого профиля.

Макуха захлопнул за нами дверь, проводил в горницу, шикарно стилизованную «а-ля рюс». Сермяга эластик. Лапти на платформе. Онучи из кримплена. Роскошный бар. Магнитофон-стереофоник. И какая же простая русская баня без бара и поп-музыки?

Степан показал рукой на широкий ореховый гардероб, другой – на стол, обильно уставленный выпивкой и закуской. Раздеваясь, я с интересом посматривал на серебряное ведро с битым льдом – оттуда завлекающе высывалось покрытое инеем горлышко «Пшеничной». Мне надо было срочно выпить.

А немой Макуха уже ловко разливал по хрустальным рюмкам водку, и стекло мгновенно зарастало серой патиной испарины. Поднес нам на деревянном подносике, мигнул страшными марганцовыми глазами – прошу! Я смотрел на мосластые пальцы, толстые суставы немого кравчего и думал о том, что сделал бы со мной этот беззвучный виночерпий, прикажи ему Андрей Гайдуков задушить меня.

– С Богом, – степенно сказал Антон и одним махом выплеснул из рюмки в рот, не обронив ни капли. И я принял свою – как на жаркий песок пролил. Зажевал корочкой. Услышал, как на скобленный пол упал, с хрустом рассыпался еще кусочек хитина, зачесался струп.

Антон обозрел стол, как полководец с командного пункта, удовлетворенно помотал головой – все резервы подтянуты и надлежаще развернуты. Спросил, а по интонации и ответил:

– Кто баню нынче ставит? Як-як, небось, постарался?

Макуха ослабил, кивнул.

Як-як – это Яков Яковлевич Ворохобов, директор крупной торговой продовольственной базы. Я его тут видел – пышнотелый, с огромной женской задницей, краснощекий голубоглазый нежный жулик, доведший меня до истерики чудовищными выдумками о своем партизанском прошлом. Его и еще нескольких высокопоставленных воров привадил сюда милицейский генерал Васька Точилин – друг Гайдукова. Не знаю, связывают ли их какие-нибудь темные делишки – наверное, связывают, – но, во всяком случае, Точилин по очереди водит их в аристократическую парилку, и за честь и пользу общения с крупным начальством они «ставят» баню, то есть привозят великолепную жратву и выпивку. За право участия в мире процессов делает свой взнос мир вещей.

Наш папанька им бы сроду руки не подал. Сталинская школа, бериевская закалка. Нынче все проще. Начальники сообразили, что все можно иметь и не «мокрушничая». Что-то дает власть, остальное доберем жульничеством...

– Айда? – спросил Антон.

– Иди, сейчас догоню. – Мне хотелось докурить сигарету, сладкую после первой рюмки.

Антон нырнул в парилку, а я стоял и смотрел через оконце на Допр. Отсюда он был виден весь – чудовищное капище социального благополучия. Это был дом-символ. Наверное, ни в один дом архитекторы не вложили столько заботы о будущих обитателях. Этот дом был ответом на разудалый клич революции или Гражданской войны – «За что боролись?».

Вот за что вы боролись, дорогие товарищи наркомы, управляющие, генералы и директора: огромные квартиры, ковровые дорожки на лестницах, уютно гудящие в шахтах лифты, гаражи для собственных «эмок» под домом, в первом этаже – закрытый продовольствен-

ный распределитель с кухней готовых яств, концертный зал, магазин с лучшим снабжением в Москве. А в торец встроены самый большой кинотеатр «Ударник», которому горячая фантазия творцов придала по силуэту абрис значка «Ударник СССР». С двух сторон дом омывался реками, по голубым водам которых бежали белоснежные пароходики. Из южных окон ласкала глаз зелень парка Горького, а из северных – азиатская величавость Кремля. Даже воздух здесь был не такой, как везде, – с недалеких корпусов кондитерской фабрики «Красный Октябрь» ветер непрерывно нес тропические ароматы какао, корицы, ликеров, волнующий дух сладкой жизни.

Вот за что вы боролись, дорогие товарищи. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Экспериментальное сооружение. Первый удачный опыт перемещения во времени – откуда-то из неведомых светлых далей в наше убогое пространство был принесен этот островок счастья для отдельных, наиболее заслуженных бойцов за всеобщее равенство.

Они стояли в своих новых необжитых квартирах у высоких окон – прямо напротив меня и смотрели на то место, где сейчас стою я. Не могли не смотреть – я это знаю наверняка десятилетия спустя, ибо на том месте, где стою я сейчас, высилось удивительное сооружение, много выше их жалких этажей.

Я стоял на дне храма Христа Спасителя.

Самый большой русский православный собор воздымал здесь, над бассейном, баней, над Допром, над Кремлем свой гигантский златоглавый купол, который за много километров до Москвы указывал путникам своей сияющей солнечной звездой знак прихода в центр христианской Руси.

Обитатели Допра стояли у окон и смотрели, как режут автогенным купол, как подрывники рушат многометровые, казалось бы, несокрушимые стены, поставленные на яичной извести. Как велик был запал этой бессмысленной злобы – им удалось сделать то, с чем не справились оккупанты.

В Нюрнберге были предъявлены фашистам обвинения за намерение разрушить центры славянской культуры, стереть с лица земли памятники их истории, религии, архитектуры.

А кто ответит за это? И кому спрашивать? И кого?

Еще работая в газете, я написал как-то статью о том, что ученые направленными взрывами перегородили ущелье, предотвратив затопление селом Алма-Аты. Редактор Фалелеев, толстоголовый кабан в железных очках, прочитал ее, помотал своими сине-зелеными лохмами, усмехнулся:

– Это забавно. Но ерунда. Когда я комсомольцем еще был – взрывали мы храм Христа Спасителя. Вот это работенка была!

Он уже на пенсии. Конечно – персональной. Скоро помрет, наверное. С кого спрашивать? И как за это можно спросить?

Дьявольская работенка оказалась работничкам по плечу. Никакие трудности их не смущали – в бесовском азарте сокрушили храм, которому стоять бы тысячелетия. Я думаю, в них всегда жила подсознательная тревога о краткости и зыбкости их религии. Они не могли допустить идейной конкуренции и взрывали храмы, но взрывы эти окончательно расшатали их собственные некрепкие устои.

На месте разрушенного храма Христа Спасителя было решено возвести храм их собственному мессии – Дворец Советов, увенчанный стометровой статуей Ленина. Существовала бездна сумасшедших прожектов. Самой перспективной была идея сооружения в голове у их Спасителя ресторана с крутящимся полом. Наверное, это было предметным торжеством материализма над бесплотным идеализмом. Но вдруг бесплотный антинаучный идеализм заупрямился – площадку фундамента, державшего некогда громадный храм, стало заливать подпочвенными водами. Тысячи тонн бетона не могли перекрыть бьющую со всех сторон воду.

Расстреляли архитекторов, несколько комплектов строителей. А вода все шла.

И научным материалистам пришлось отступить.

Но новоселы Допра этого не увидели – их уже самих давно побрали, перебили, сгноили в лагерях. Они платили дьявольскую дань, ибо радость от разрушения любого храма никогда не проходит безнаказанно.

Безвинных давным-давно убили неведающие, что творят, и ставшие виноватыми. А их убили знавшие, что творят, и потому еще более виноватые. И этих убили новые, те, кто перестал считать убийство виной. Последующие твердо знали, что надо просто убивать. Послушники заповеди – «убий».

Что-то так незаметно и необратимо изменилось в нашей жизни, что никто и не удивился, и не возмутился, а просто все обрадовались, когда созрела идея построить на месте разрушенного храма христианского Спасителя и непостроенного храма Советов – большой плавательный бассейн.

И при нем баню Андрея Гайдукова.

В общем-то, это разумно и справедливо. Прихожане маленькой молельни мира вещей, который они искренне переносят в мир процессов.

Я затыкнулся последний раз, выкинул окурки и пошел в парилку.

* * *

В сауне полыхал хлебный жар – горячий ржаной ветер с еле заметной примесью мяты и эвкалиптового масла даже шибал в лицо, обжигал кожу до ознобного вздрога. На верхней полке широко развалил свое крепкое мясо Варламов, чуть ниже душевно беседовали Васька Точилин с неизгладимым выражением генеральства на лице и Серафим Валявин, директор ресторана Дома журналистов. Под ними полулежал на полке, опершись на локоть, Як-як – наивным светом голубых глаз и позой изображая того развеселого простоватого дурака, который на всех групповых снимках в санаториях укладывается в ногах выстроившихся перед аппаратом курортников.

– Привет, – буркнул я, и парильщики вразброд замахали мне грабками.

– Ба, никак сам Алексей Захарыч соизволили к нам пожаловать! – лениво завел Варламов, замминистра, обжора, пьяница и плут. – Большая честь для нас! Такая редкость! Волки в лесу передохнут...

Я молча полез на полку, Антон, уже разомлевший, довольный, заметил:

– Не передохнут. Егеря не дадут. Должно быть экологическое равновесие...

– Как в сауне, – сказал Варламов и подбородком показал на Точилина и его компаньонов. – Полицейские и воры. Итальянское кино.

Замурлыкал довольно партизан Як-як, выпью закатился в хохоте Серафим. Точилин отмахнулся.

Я сказал Антону через их голову:

– Цинизм сейчас считается самым прогрессивным качеством. Трезвый реализм и широкое государственное видение...

Варламов шлепнул меня по спине тяжелой ручищей:

– Наши отцы еще говорили: торговая баня всех моет, да сама в грязи...

Я улегся на горячей махровой простыне, закрыл глаза и отключился от них. Пропадите вы хоть в преисподнюю. Мы на дне. В глубоком подвале разрушенного храма. Контрамоция. Обратное стремительное движение во времени. Уходим в катакомбы.

Горячий пар. Волна жара накрыла меня, поволокла, бесчувственного, по гладким доскам, как утекающая вода. Надо так и лежать, не открывать глаз. Не видно рож моих собанщиков, не видно отчетливых автографов на деревянной стенке – кого тут только нет! И модные поэты, и

эстрадные дивы, и космонавты, сиюминутные светила-академики, лауреаты, и заслуженные, и народные, и главные, и старшие, и первые, и...

Интересно, Андрей разрешает расписываться на стене таким, как Як-як? Или они сами не стремятся к паблисити?

Если не разрешает – то несправедливо! Они – угловые венцы этого храма, воздвигнутого на дне прошлой разоренной цивилизации. Соль нынешней жизни, завтрашние ее хозяева. Их дети более жизнеспособны, чем потомство сегодняшних командиров.

А снизу гудит, докладывает непрерывно Серафим:

– Привозим их в номер, обоих, конечно...

– Обоих, – перебил грамотей Точилин. – Если две девки – надо говорить обоих.

– Да ты слушай, – обиделся Серафим. – Какая тебе разница! Одна телка, такая мурмулеточка – просто слюни текут. У вас, говорит, записи Бетховена найдутся? Умереть можно! А у самой грудочки ма-аленькие, первый номер...

– А другая? – с досадой спросил генерал.

– Срамотушечка – два метра, специальный лифчик носит, вместе с трусами. Но морда – классная!..

И от приятного воспоминания зачмокал со вкусом.

Все время, свободное от ресторанных махинаций, Серафим посвятил бабам. Андрей Гайдуков сказал про него: «Серафим, шкура, трахаться любит больше, чем по земле ходить». Никогда не попадаясь на жульничествах, он регулярно горел из-за своих мурмулеточек и срамотушечек. Андрей с хохотом рассказывал, что последний раз погорел Серафим в ресторане «Бега», где завел себе целый гарем из официанток. Когда он смертельно надоел им не только своей любовью, но и поборами с чаевых, одна из срамотушечек сперла у него дома партбилет и прямо на нем написала жалобу, которую охотно подписали остальные срамотушечки и мурмулеточки, а оскверненный партдокумент отправили наверх. Серафим со скандалом загремел, да, видно, большой смысл в поговорке – «баня смоеет, а шайка сполоснет». Не дали друзья пропасть – устроили к журналистам.

– Ты о чем думаешь? – толкнул меня в бок Варламов.

– О пакостях, о глупостях, о всякой ерунде...

– Ты бы лучше о серьезных вещах подумал. Я тут краешком уха о книжке твоей слышал...

– Что ты слышал? – приподнялся я.

– Жалобу твою обсуждали насчет повести.

– Романа, – почему-то поправил я.

– Какая разница, – отмахнулся Варламов. – Товарищи говорят – непонятно, чего он выжучивается? Писал бы как все. Подковырочки какие-то, шпильки, мелкотемье, ничего радостного в нашей жизни не видит. Ни одного, мол, положительного героя нет. Действительно, Алеха, как это может быть – без положительного героя? А молодежь как будем воспитывать?

– Личным примером, – буркнул я. – А резюме?

– Резюме? Ишь какой ты прыткий! – рассудительно молвил Варламов. – Тут, может быть, правильнее не спешить с решениями...

– Скот ты, Володя.

А Варламов не обиделся, расхохотался, сказал со значением:

– И вышестоящих уважать!.. – и обнял меня за плечи.

Я вырвался, стал слезать с полки, Варламов искоса глянул, тихо сказал:

– Еще одну рецензию затребовали. Из Союза писателей...

Вот это понятно – задушат руками коллег-друзей. Они ведь объективные и беспристрастные. Профессионально – замусолят, заласкают до смерти, безболезненно. Напоследок еще за талантливость похвалят. Ну ладно, мы теперь посмотрим...

Я толкнул подремывающего, разомлевшего Антона:

– Будет, братан, для первого раза. Пойдем, передохнем...

Антошка вынырнул из глубины, печально посмотрел на меня, лениво поднялся.

Серафим сказал торопливо:

– Идите, ребята, водка стынет. Счас доскажу – и мы...

И Варламов слез с полки, за нами отправился в холодный душ.

Потоки ледяной воды заливали меня – я чувствовал в ней земляной глубокий холод пловцов, утопивших их Китеж, их нелепый храм с куполом-рестораном. Мы на дне...

В горнице нас уже ждал Андрей – гладковыбритый, благоухающий французским одеколоном, чудовищно здоровый, еле вмещающийся в лазоревый костюм «адидаас». Он и на человека-то мало похож, а напоминает ловко скроенный, прочно связанный, туго набитый мешок мышц, костей и связок, с заливчатски нахлобученной головой порочного ангела.

Андрей посасывал апельсиновый сок, развернув на коленях «Правду», и поглядывал цветную передачу «Жизнь животных».

Вот он – наш каноник. Настоятель затопленного храма.

Увидел нас и не мигнул, не приподнялся, просто пальчиком шевельнул, и Макуха с проворством опытного министранта завернул нас в горячие махровые простыни. И отошел неслышно Макуха к стене, сложив на груди страшные громадные руки, смотрел внимательно чернильно-фиолетовыми каплями глаз. От него наносило на меня легким духом серы.

Андрей добро улыбнулся и внушительно сообщил:

– Все-таки римляне не дураки были, с этими термами ихними. Скажи, Алеха?

– Дураки, – ответил я, не задумываясь.

– Так считаешь? – удивился Гайдуков. – Это чем же?

– Варварам поддались. А те совсем не мылись. Никогда. Они жили в мире процессов.

– Все правильно, – радостно заржал Андрей. – Я всегда говорю – мир вещей и мир процессов надо соединить. Гармонически... – И почти незаметно шевельнул пальцами.

Пока Макуха наливал по рюмкам водку, вышли из парной остальные. Точилин сразу же подошел к телевизору, увеличил громкость. Какой-то иностранец – не то немец, не то француз – объяснял через переводчика-ведущего, как они снимали фильм о диких зверях в Африке.

Макуха подал мне из холодильника две красивые цветные баночки. Андрей подмигнул:

– Цени, Алешка, специально для тебя оставил датского пивца, ты же любишь.

Люблю. Люблю датское пиво. «Посольскую» водку, шотландский виски, финскую баню, бразильский кофе, американские сигареты.

На дне разрушенного храма?

Люблю еврейскую женщину.

Люблю писать – без положительных героев.

В костях еще ныла стужа пловцов, затопивших Китеж.

Одной задницей на двух стульях не усядешься.

Разве тебе жалко мира вещей? Ты уже зажился в нем. Тебе осталось совсем мало – скоро тебя окончательно поглотит стоячая ледяная вода затопленной молельни. Человек тонет, когда легкие заливаются водой. У тебя осталось дыхания на один большой вдох.

Этот вдох тебе дарован миром процессов и трансформирован в виде истории смерти пожилого еврейского комедианта. Вдохни глубже – есть надежда вынырнуть. Там – Ула. Далеко наверху, на зыбкой кромке затопления, на последней грани человеческого бытия.

Водка пролетела без вкуса, без горечи. И запаха у нее не было. Стоячая вода в легких.

– ...Ну-ка, Алеха, оцени эту красноперочку, – толкнул меня в бок Серафим, протягивая мне кусок светящейся янтарем копченой рыбины. – Не казенная, настоящий самосол. Из Ростова пригнали. Глянь, прямо сало капает...

Мы – пирующие на дне утопленники. Утопленники едят копченую рыбу. Нет, рыба ест утопленников. Невидимый рыболов, неведомый ловец душ наживляет крючки копченой красноперкой. Дешевыми бабами. Черными «Волгами».

Бесконечная молитва. На дне разрушенного, затопленного храма.

Утопленники пируют, закусывают, спорят.

Сухоногий, раздувшийся от заглоченной обманки власти генерал Васька красноглазоярится:

– Житья нет – заворовали! Среди бела дня чистят квартиры. Наладилось ворье – ложится на площадку, ногами по низу двери – бах! – и дверь вылетает, как не было.

– Двери нынче жидкие! – понимающе комментирует Як-як. – Я свою в железную раму вставил...

Наливной, нежный, как выданный из створок моллюск, придонный житель Як-як, что ты нахватал в свой необъятный зоб за дверью в железной раме? Неустрашимый партизан наших хозяйственных тылов, какие несметные сокровища отбил ты с хитрого крючка советской власти?

– А тут новое чепэ – с Пироговки трамвай угнали! – жаловался Точилин, разжевывая кусок свежей севрюги и хрустко закусывая маринованным огурчиком.

– Во молодцы! – захохотал Антон. – Переправят в Тбилиси, загонят черножопым по тройной цене. Вась, сколько трамвай стоит?

– Хрен его знает, – пожал острыми плечами генерал. – Тысяч двадцать. Или десять. Да не в этом дело – его ж наверняка из хулиганства угнали. Теперь его хер найдешь, нигде же ни порядка, ни учета не существует...

– В том-то и беда наша, – глубокомысленно раззявил сомовью пасть Серафим. – Ленин еще говорил: социализм – это учет!

Ах ты, мой дорогой теоретик, вздувшийся утоня. Где, на какой политучебке объяснял ты это проглоченным срамотушечкам и мурмулеточкам?

– Социализм – это учет похищенного! – пошутил Як-як и сразу испугался – не рано ли болтать начал, да все захохотали. И он улыбнулся вялым оскалом топляка – вышло не рано, коли закуска вкусна и шутка остра.

Бесовский наш игумен Андрей допил свой оранжевый сочок и сообщил:

– Мне тут один адвокат крупный доказывал, что поголовное воровство среди советских граждан есть выражение политэкономического закона стихийного перераспределения ценностей...

– Ну это ты брось! – отрезал Точилин.

– А чего бросать? – лениво ответил Андрей. – Этот еврей все правильно разобъяснил – нищета людская, на бутылку всегда не хватает. Вот и тащат, кто чего может.

– Это-то верно, – смягчился Точилин. – Уж как на производстве воруют – не приведи господь! Просто все подряд тащат, как муравьи...

– Погляди, чего у него за пазухой, – узнаешь, где он работает, – заржал Серафим.

Антон встал, сменил намокшую простыню на свежую, горяченькую, сказал задумчиво:

– Мы людям пишем в характеристиках – «вносит в работу то да се». А правильно было бы писать – «выносит с работы...».

Еще посмеялись, я выпил большую стопку и с тоской посмотрел на Антона.

Антошка, братан мой дорогой, и ты уже давно подвсплыл вверх брюхом. И судьба у нас одна – утопленников и пропойц на меже хоронят.

Давай выпьем, Антон. Зачем ты согласился на вариант Левки Красного? Ты мне ничего не сказал, но я знаю точно – ты эти деньги достал, нырнув до самого дна.

А! Все пропало! Все пустое.

А Як-як сокрушался, дожевывая бутерброд, и черные икринки обметали его сочный, как влагалище, рот:

– Ни чести, ни совести у людей не стало! Воруют невероятно, изощряются. Никому верить нельзя – все самому проверять надо...

Андрей гадко заухмылялся, но Як-як искренне, со слезой в голубом ясном глазу продолжал:

– Вы вот, Андрей, правильно заметили – воруют, в первую голову, на бутылку. И пьянство у нас развилось чрезмерно, раньше такого не было. Строгость была, но порядок...

Из своей норы, с мягкого дивана, в тишке под корягой, вынырнул с полудремы Варламов, зычно крикнул – хорошо сохранился для такого старого утопленника.

– Да-а, пьет население, – вздохнул он. – Как никогда. И пресса об этом пишет, и постановление правительство приняло, а пьют все равно...

– Главное – бабы пить вовсю стали! – душевно взволновался, озаботился Серафим. – Раньше нальешь ей, срамотушечке, рюмку кагора, она его и лижет целый вечер. А сейчас – хлопьями стаканище коньяку и – сразу за новым тянется. Была тут у меня одна на днях...

Антон перебил его:

– Вообще-то, если вдуматься, прямо катастрофа для производства. Куда ни ткнись, рабочего дня только начало – а один уже соображает, как бы выпить, другой – пьяный, третий – с опохмелюги. И работать некому...

Сплюнул сердито и залпом выпил свою рюмку, запил пивом.

– Я бы предложил сухой закон, – сказал Як-як деловито. – Вернее, полусухой – ударникам производства выдавать талон на две бутылки в месяц. И конец пьянству!

– А зарплату ударникам тоже будешь талонами платить? – спросил я его. – У нас половина бюджета на водке держится. Водка государству рубль тонна обходится, а у рабочих за нее все деньги отмывают. На периферии в дни зарплаты деньги на заводы прямо из магазинов возят...

Варламов насмешливо улыбнулся, и Антон покачал головой:

– Этого ты не понимаешь, дурачок! Водочные деньги для зарплаты – это пустяки. Ущерб нашей экономике от пьянства всеобщего – в тысячу раз больше дохода. От пьянства – прогулы в миллиарды рабочих часов, самый высокий травматизм, самая низкая производительность труда, чудовищное воровство – всего не перечислишь...

Серафим упрямо бубнил, покачивая вздетым пальцем с длинным серым ногтем:

– Нет, сухой закон – это неправильно. Несправедливо. Народу тоже радость нужна. Отними у него выпивку – что у него в жизни останется? Нет, несправедливо...

Варламов со змеиной улыбочкой тонким голосом сказал мне:

– Вот Серафим, простой человек, а в отличие от тебя сразу берет быка за рога. Народу радость нужна тоже – понятно? И с этим фактором люди поумнее нас с тобой считаются все-р-ез...

Точилин согласно покивал, и уставший от этих сложностей участковый надзиратель выпрыгнул из него:

– А главное, пьяный человек – он шумный, но послушный. В крайнем случае – дал ему между глаз, он же у тебя потом прощения просит...

Все правильно. Я тоже послушный человек, утонувший в тайной молельне мира вещей. Никто и не найдет от меня ни следа. И искать некому будет. Залило развалины храма черной мертвой водой безвременья.

Мне не хотелось, чтобы хмель брал меня сегодня сильно. Нет смысла. У меня есть крохотный пузырек воздуха – один вдох. Надо попробовать всплыть.

Точилин повернул ручку громкости, и телевизор оглашенно заорал картавым голосом зоолога-кинорежиссера и гугнивым переводом ведущего:

– «...Когда вы столкнулись лицом к лицу с диким животным – главное, не смотреть ему прямо в глаза... Звери не выносят прямого человеческого взгляда и становятся сразу агрессивными... Наоборот, опущенные глаза и полная неподвижность служат для зверя признаком миролюбия...»

– Вишь ты! – удивился Серафим. – Прямо как начальство!

Я встал, спросил Антона:

– Давай собираться?

– Ох, неохота! Когда-то снова париться будем? Но пора...

Мне стало легче – в этом тоже есть большая радость – выбрасывать что-то из своей жизни навсегда. Я здесь уже никогда не буду. Ула, я еще не утонул. Есть еще воздух – на один вдох. Я попробую всплыть.

Антон сорвал утром с меня хитиновый панцирь печали и размочил в бане подсохшие чешущиеся стружья.

Я не знал, не представлял даже, как мне нужна была сегодня баня.

Они стали дряблыми. Они не держат удара.

Мой ход. Завтра утром. За мной несокрушимость разрушенных храмов. А у них тайная молельня.

Только спокойно. Малозаметно. Опущенные глаза и неподвижность служат для зверя признаком миролюбия.

Соломон Михоэлс, старый комедиант, – я напишу последнюю страничку в обещанной тебе судьбе бессмертной славы. Я назначил тебе свидание на развалинах храма Христа Спасителя.

– Что? – переспросил Антон.

– Ничего, это я про себя бормочу.

– Ну-ну. – Антон помолчал, кряхтя сказал: – Ты, Алеха, знай на всякий случай – я не в санатории, а в гостинице «Жемчужина» жить буду. Если что понадобится – на всякий случай. Я с бабой – сам понимаешь...

– Хорошо, – кивнул я. Это он со своей секретаршей Зинкой намылился.

– Не одобряешь? – спросил он несколько смущенно. – Не нравится она тебе?

– Баба как баба. Мое какое дело?

– А-а! – махнул он рукой. – Табак да кабак, баня да баба – одна забава!

Булькнул и утонул. Я видел печаль тревоги на его лице, озабоченности и усталости. На кой хрен ему туда Зинка? Но топиться стало уже неотвратимым обычаем. Океан незаметно залил наш Китеж. Не желающим топиться нет места.

Главное – не смотреть зверю прямо в глаза.

19. Ула. Крах

Открыла дверь, не успела поздороваться и увидела на лице Марии Андреевны Васильчиковой выражение несчастья. Какое-то горе окаменило ее сухонькую фигурку, усушило морщинистые коричневые щеки, затуманило болью устремленный на меня взгляд подслеповатых старых глаз.

И сердце у меня лохматым гулким мячиком скакнуло в груди. Замерло.

Посмотрела на остальных – увидела суетливую копошню за столом Светки Грызловой, равнодушно-безучастную секретаршу Галю, пулеметящую на «ундервуде», Люсю Лососинову, прочувствованно жуящую бутербродик с форшмаком, погруженного в папки со старыми бумагами Эйнгольца, отвлеченную сторонними размышлениями Надю Аляпкину. И жадно вперившегося в меня Бербасова, приподнятого какой-то яркой, злой радостью.

Пока шла эти кратких пять шагов к столу Васильчиковой, просчитала напуганным сердцем тысячу вариантов, которые могли бы зримо соединить несчастье Бабушки и злобный восторг Бербасова, но ничего не придумала, лишь ощутила тошнотным сиротливым чувством – касается меня.

Присела к столу Васильчиковой, старый скрипучий стул спас от немощи ног, которые вмиг стали как рентгеновский снимок – тонкие темные кости на сером едком молоке пленки, растворившей живую, теплую плоть.

Бабушка погладила сухой холодной ручкой мою ладонь, сказала еле слышно:

– Ула... вам... завалили... диссертацию...

Какая оглушительная тишина! Я улыбалась. В стеклянной створке книжного шкафа я видела свою растерянную, жалобную улыбку.

Мне было стыдно.

Этого нельзя понять, но это так. Меня переполнял стыд. Я не думала о пропавшей диссертации – огромной, уже никому не нужной работе, не думала о том, что этот отказ не только черта под прошлым, но и маршрутная линия в будущее, я не думала об утере почти заработанного богатства – еще пятьдесят рублей в месяц минус налоги. Ах, какие грандиозные финансовые свершения мгновенно испарились с уже недостижимыми пятьюдесятью рублями! Но я и об этом не думала.

Я не думала о Хаиме-Нахмане Бялике, великом поэте, чье творчество я исследовала много лет с такой любовью и интересом. Не вспоминала мгновенно рухнувшую надежду, что хоть несколько человек узнает о поэтике удивительного художника, подвергнутого забвению и распылению.

Этот стыд был каким-то сложным двойным чувством. Меня снедал простой стыд неудачливого соискателя. Я ведь советский человек и, наверное, до конца жизни не смогу отрешиться от наших вздорных представлений о том, что хорошо и что плохо. Обитающая в ледяном выдуманном мире Высшая аттестационная комиссия признала мою работу – научный труд жительницы жалкого горестного теплого мира реальности – ненаучной и неинтересной. И официальное свидетельство моей ничтожности было мне мучительно стыдно, и стыд этот никак не могло успокоить сознание, что мир, где эта диссертация писалась, и мир, в котором она оценивалась, соединены только яростно пульсирующей живой артерией абсурда.

Но мысль о том, что я никак не могу преодолеть этот стыд, являющийся частью нашего Абсолютного Абсурда, повергал меня в еще больший стыд.

Мне было очень стыдно за мой простой стыд.

Я ведь написала хорошую работу. В самом конце, когда я оформляла ее как диссертационное исследование, я ее, конечно, немного попортила. Но она получилась хорошей почти случайно – я стала писать ее, нисколько не надеясь, не планируя, мысли не допуская, что ее кто-то захочет напечатать. Я читала Бялика, грозноязыкового, как пророк, и нежноматеринского необъятным еврейским сердцем, раздумывала о системе его пророческого и поэтического видения и делала для себя дневниковые заметки. Я читала Бялика и думала о себе. Я думала об окружающем мире. Мне хотелось вывести для себя и для людей какие-то внешние незаметные закономерности малопонятной системы «человек – культура – нация – мир», вместившейся в судьбу неизвестного на родине и всемирно признанного поэта.

Поэтика Хаима-Нахмана Бялика.

Мне было мало прекрасного перевода Владислава Ходасевича. Какие прихоти судьбы! Я снова и снова с нежностью поминала тетю Перл, заставлявшую меня с каменным упорством разбирать после школьных уроков иератические письма еврейской грамоты. Тогда мне это было неинтересно, я хотела гулять с девочками во дворе и кататься на санках на пруду, я ску-

лила, и дядя Лева, добросерд, говорил жене: «Лоз зи уп, зи из нох а кинд»¹, а тетя Перл коротко отвечала: «Шваг, их фрейг дих ныт»², а мне давала легкую затрещину, приговаривая: «Ты еще меня поблагодаришь за эти клэп, когда я буду на том свете...»

Спасибо тебе, дорогая тетя Перл! Спасибо за мудрость твою и терпение!

Как легко, как быстро всплыл в моей памяти забытый, умерший здесь язык, который тетя Перл закрепила своими легкими затрещинами – «клэп». Я быстро собирала буквы в слоги, слова складывались в брызжащие светом, силой, гневом строки Бялика.

Может быть, открылись глубокие тайники моей генетической памяти, унаследованной по нашему бесконечному древу жизни, возросшему из корней Иакова, Исаака, Авраама?

Я рассматривала письма, и в подсохших пластичных буквах, похожих в листе на неземной лес, свистел жаркий ветер вавилонского плетения, и больно отзывался крик страдания распятого, шептали сухими губами спасителя религии и культуры Иоханана бен Закаи, взрывали кровью сердца, ужасными муками совести великого предателя Иосифа Флавия, гремели яростью Ездры и тосковали огромной скорбью Иезекииля, печально-устало выводили прекрасной рукой Соломона «Все проходит!», и в псалмах Давида неслась пращой в черного Голиафа людской жестокости, их принес на скрижалях народу своему Моисей, и благословил ими Иаков своего четвертого сына Иегуду-Льва, Исаак отрунул Исава, любителя чечевичной похлебки, Авраам говорил с тем, чье сокровенное имя Ягве – «Тот, Который Жив»...

Ах, разве переводы Жаботинского могли бы дать свободу, радость и силу, которыми дышала живая строка Бялика?

Спасибо тебе, тетя Перл.

Конечно, он был поэт удивительный. Громадного лирического диапазона. Его гнала та же мучительная, радостная страсть, что и Иегуду Галеви.

Я никому не показывала своих записок, выполняя завет Бялика – «...и враг не прознает, и друг пусть не знает, про то, что в душе вы храните упорно...». Но однажды мне случилось разговориться с замечательным переводчиком и очень глубоким поэтом Семеном Израйлеви-чем Липкиным – он переводил для Всемирной библиотеки стихи Бялика на русский. Он переводил их с идиш, потому что включать в этот том переводы с иврита было запрещено – иврит не является языком народов СССР, это мертвый язык мирового сионизма.

Не знаю, почему я это сделала – впервые я дала прочитать свои заметки постороннему человеку. А вообще-то, можно объяснить. Липкин – крупнейший знаток, человек огромной культуры, замкнутая, но родная душа. Мне не нужна была оценка работы, мне нужен был разговор на этом уровне, мне нужно было понимание хоть одного такого человека. И я отдала ему красную картонную папку.

Он позвонил через день и своим чуть хрипловатым теплым голосом сказал:

– Спасибо тебе, девочка. Все-таки мы еще живы...

Я растерянно молчала, и слезы волнения сопели у меня в горле, а он заявил:

– Это надо опубликовать...

Я засмеялась, он заметил:

– Понятно, мы живем в такое время, когда не нужны и поэты – нобелевские лауреаты, если они евреи, но надо попробовать оформить работу как диссертацию.

– Зачем? – вяло отозвалась я.

Он был терпелив, настойчив, ласков:

– Затем, что диссертацию прочтут человек пятьдесят, а в нашу догутенберговскую эру не так уж это мало...

– Ее никто не станет включать в план...

¹ Оставь ее, она еще ребенок.

² Молчи, я тебя не спрашиваю.

– Есть зацепка: наш литературный Магомет – Горький – назвал Бялика великим поэтом, редким и совершенным, воплощением духа своего народа. А нынешние хозяева литературы просто не слышали о Бялике...

И я незаметно для себя втянулась в диссертационное безумие. Конечно, я никогда в жизни не смогла бы добиться включения моей темы в план, если бы Липкин не мобилизовал самых авторитетных литературоведов и поэтов. Он уговорил, доказал, заставил их поддержать эту идею. Потом началось мое самокалечение – я вырезала из работы куски, дописывала, что-то замалчивала, что-то недоговаривала, на что-то намекала. О последнем периоде жизни Бялика, когда он уехал из России в Палестину, я вообще не упоминала. Я старалась поменьше говорить о его жизни, сосредоточившись в основном на его стихах. Хотя применительно к Бялику это было особенно неправильно, ибо его поэзия была очень органичным продолжением его жизни.

Сколько раз я была близка к тому, чтобы бросить это извращенческое занятие мира Абсурда – сознательное уродование идеи, целеустремленное ваяние лжи, ожесточенную маскировку правды.

Я знала это давно, но впервые я столкнулась лично с феноменом нашего литературного творчества – человек садится за стол не для того, чтобы изложить несколько волнующих его мыслишек, а для того, чтобы написать только РАЗРЕШЕННЫЕ и поэтому уже обязательно известные соображения.

И все-таки не бросила. Со всеми потерями, недомолвками и умолчаниями я надеялась приобщить еще несколько человек к большому знанию, на постижение которого у меня ушли годы. Я хотела дать тем, кто мог понять, кто нуждался в этом, замечательного поэта. Меня гнала мысль о позорной покорности, с которой мы все обрекали себя, свою историю и культуру на полное забвение. Нас уже почти совсем замели серые пески безвременья...

Я черпала утешение в текстах Бялика. Даже шрифт вселял надежду – ведь это сейчас самая старая живая письменность на земле. За минувшие тысячелетия она сохранила в неприкосновенности свою форму. Еврейские буквы – нежно-растяжимые, мягко-пластичные, округло-согбенные, как рок, как бесконечность – они заполнили ровными, величественными рядами свитки священных писаний. Где-то далеко, на дне пропасти времени, особыми чернилами, тупыми гусиными перьями на желтоватых пергаментных свитках раз и навсегда принятым уставом их вывели мастера-переписчики – сойферы, и возникло нерушимое вовек великое сооружение Библии.

Навсегда. Никакие новшества не допускались в нашей письменности. Это не было приметой косности – это был знак отмеченности, это был знак вечности, неотменимый, как причащение к Тому, Кто нас прислал сюда. Пришедшие сюда первыми и те, кто увидит наших братьев из другой цивилизации, пославшей нас сюда, они будут соединены одной системой общения.

У нас нет разделения на письменный и печатный шрифт – свинцовые литеры наборных касс, блестящие фишки линотипов, приложенные к бумаге, сохраняют свою душевность, интимность, искренность живого письма, начертанного теплой человеческой рукой.

Вечность нашей прописи не зависит от капризов книгопечатания.

Господи! Я все еще оправдываюсь!

Мы странный народ, нам нравится слизывать мед с бритвы. Я была готова отрезать себе язык. Я ни о чем не жалею...

И мой простой стыд перед людьми в комнате, сотрудниками отдела – нормальная реакция среднего человека. Со всем своим воображением я пока еще маленький человек в толпе.

А комната по-прежнему была полна отвратительной напуганной тишиной приемного покоя, где сию минуту сообщили родственникам, что больной не перенес операции. Экзитус. Сами понимаете, врачи бессильны, болезнь слишком запущена... Очень тяжелый паци-

ент... Существуют пределы возможностей... Может быть, если бы обратились раньше... Вещи покойного заберете сейчас?..

Все тонуло в ватной глухоте, просоночной неслышности, немота бритвой полоснула по связкам, приглушенный шепоток, ступор испуганного молчания, невесомость обморока.

Немая сцена. Меняются персонажи, меняются подмостки, но редко кому приходит в голову, что Гоголь зафиксировал не сценическое действие, а традиционное состояние российского общества.

Здесь задобрить можно только самозванца.

Ошарашенно тарачился на меня Эйнгольц, часто мигая своими красноватыми выпученными глазами. Бессмысленно перекадывала с места на место бумажки Светка Грызлова, добрая душа. Захлебнулся последней очередью и замолк «ундервуд» Гали. Накипела толстая мутная слеза на веке у Нади Аляпкиной. Без удовольствия дожевывала бутерброд Люся Лосоσιнова. Оцепенело замерла Бабушка, только сухая коричневая щека подергивалась, и в пальцах тряслась погасшая папироса «Беломор».

От возбуждения подпрыгивал на стуле Бербасов, он морщился в сладкой муке отмищения.

– Как же так? – потерянно спросила Надя Аляпкина. – Уж если у Улы плохая диссертация, то у кого хорошая?

– Надо скандал поднять! – рванулась Светка. – Что они там понимают? Диссертацию рецензировали два академика – там понимают? А «черное» рецензирование сейчас запрещено! У них должны быть серьезные основания!

– У них найдутся основания, – тяжело вздохнул Эйнгольц. – У них есть право, а это и есть лучшее основание.

– Я отказываюсь все это понимать, – скрипуче произнесла Мария Андреевна. – Это ведь какое-то сознательное вредительство. Зачем все это нужно? Не понимаю. Я, видимо, выжила из ума. Я слишком многого не понимаю...

– А может быть, это недоразумение? – выдала, сглотнув остаток бутерброда, Люся Лососинова. – Может быть, перепутали диссертации?

– Ты лучше молчи и ешь, – заметила сердито Светка.

– Почему? – возмутилась Люся. – Я не меньше твоего понимаю. И знаю, что Ула написала прекрасную работу. Если бы не про еврея, ее массовым тиражом, может быть, выпустили...

– Дура ты, Люська, – от души выпалила Светка.

– И ничего она не дура, – вступилась секретарша Галя. – Она правильно говорит, в ВАКе полно антисемитов. Да как везде...

– Я бы вас, уважаемая Галочка, попросил воздержаться от необдуманных заявлений, – подскочил на стуле надутым шариком Бербасов. Он подтянул еще выше свои вечно короткие мятые брючата и понес значительно: – Может быть, в оценке работы Суламифь Моисеевны допущена некоторая невдумчивость – это можно будет обжаловать. Но чернить такую инстанцию, как ВАК, нам никто не позволит.

– Да пошел ты, – загнула Галя, глядя в упор пронзительно-черными татарскими глазами. Он боится ее – не захочет она печатать его бумажонки, так он и с Педусом на нее управу не найдет.

Светопреставление – это не конец света. Не смерть мира. Не взрыв. Не Армагеддон. Это незаметный переход жизни в мир абсурда.

Широко, шумно, начальственно-уверенно распахнулась дверь, и всех в комнате закружил вихрь уважения и сердечной привязанности к гостю, который и был нашим хозяином. На пороге стоял директор института Колбасов. На всех посмотрел строго, а на меня – снисходительно. Снисходительностью своей он обозначал мне сочувствие.

Подошел ко мне, ободряюще похлопал по плечу:

– Не придавайте серьезного значения, все перемелется...

За ним втекла в комнату, всочилась, расплзлась густая лужа его свиты – безглазые немые рыбки-прилипалы, изъясняющиеся в его присутствии только восхищенными междометиями или возмущенным мычанием. Капричос. Светопреставление.

Сейчас у свиты не было повода возмущаться, а восхищаться можно было только фило-софичностью директора и твердостью его перед лицом беды. Чужой.

Поэтому они помалкивали, издавая лишь какое-то слабое гудение, их вялые души лени-вых подхалимов исторгали неопределенные звуки огорчения, скрашенного здоровым служи-вым оптимизмом.

Колбасов заверил:

– Не стоит огорчаться, чего-нибудь мы скумекаем...

И свита облегченно заулыбалась – раз шеф сказал, значит он чего-нибудь скумекает. Уж он-то наверняка скумекает, раз сказал! Главное, что сказал – не стоит огорчаться! Только Педус Пантелеймон Карпович, оставшийся в дверях – неизгладимая привычка камерного вертухая, – только он не улыбался и не радовался, а равнодушно, не глядя на меня, жевал своими тяжелыми жвалами. Он-то знал свое!

А Колбасов еще раз уверил:

– Нет причин сильно расстраиваться! У вас неплохая работа...

Я верила в искренность Колбасова, уговаривающего меня не расстраиваться из-за неза-щищенной диссертации. Колбасов мне не сочувствовал – он просто не способен на такое сер-дечное чувство, он искренне призывал меня наплевать на служебные невзгоды. Без лишних слов, только своим видом бесконечно преуспевшего и любимого хозяевами животного, он демонстрировал мне огромное преимущество наплевательства на любое дело. Конечно, жалко полсотни доплаты за ученую степень, но, если хорошо покумекать, можно их восполнить. А на остальное – наплевать...

Я смотрела на Колбасова – рослого, гладко-розового кабана сорока лет, которого Люся Лососинова называла интересным мужчиной, – ощущая в этом шестипудовом хряке предмет-ное воплощение своих неразвитых половых влечений деревенской свинки.

Колбасов что-то говорил, двигались сухие губы на его мясистом, наливном лице, редко помаргивали белые ресницы и значительно приподнимались на скошенном лбу бесцветные бровки.

Но я не слышала его. Я оглохла.

А он положил мне руку на плечо, и губы его продолжали двигаться, и руку он задержал на мне дольше на секунду, чем нужно для выражения начальнического и коллегиального сопе-реживания. И передал мне беззвучно этим прикосновением – мне нравятся такие брюнетистые женщины, мне надоела моя костистая баба, не будь дурочкой, веди себя со мной как следует, и я что-то скумекаю – будет тебе твоя жалкая степень и твою копеечную полсотню накинём, и сам я мужик в полной силе, в самом расцвете, я каждый день езжу в бассейн и через день на теннис...

Тоху и Боху! Начало начал нашей жизни! Разве может понять этот налитой янтарным жирком кнур, что я каждый день утрачиваю свое женское естество от неостановимого потока мыслей, с грохотом проносящегося через мою голову, и что женщина не должна столько думать, столько волноваться, что она выгорает от этого дотла.

Что-то говорил Колбасов, радостно кивали и щерились вокруг подхалимы, оцепе-нело-неподвижно сидела Бабушка Васильчикова, неспешно шевелил роговыми жвалами Педус, преграждая у дверей путь всякому, кто надумал бы сбежать без команды из камеры, а я досадливо разглядывала на крыльях короткого носа Колбасова рыжеватые веснушки.

Я знаю, почему меня так сердили эти веснушки – они подрывали мое предположение о том, что он не был никогда ребенком, а был выведен в натуральную величину в каком-то тайном инкубаторе ледяного мира. Этот мрачный зажранный кнороз принадлежит к особой

породе современных командиров, странных человекоподобных особей, которых плодят, формируют и воспитывают где-то наверху и выпускают сюда управлять нами, жалобными обитателями горестного реального мира.

Ни в чем не участвовавшие, никого не любящие, они задают тон во всем. Невоевавшие генералы – они сейчас главные герои и стратеги. Нищие хозяйственники распоряжаются чужими миллионами, не зная страха банкротства и разорения. Писатели магистральной трудовой темы, с детства не бывавшие в деревне и знакомые с пролетариатом через водопроводчика на их даче. Ничего не открывшие сами молодежавшие руководители науки.

Все со всем всегда согласны. Нельзя замечать реальности. Мы не живем, мы проживаем, переживаем, переживаем. Только бы не отняли кусок хлеба. Только бы выжить. Дожить. До чего? До чего мы можем дожить? Время выродилось в безвременье. Несгода. Застой – глухая пора.

Колбасов замолчал – перестали змеиться ненасосавшиеся пиявки губ в тугих комьях его мясисто-рыла. Он, наверное, заметил, что я не слушаю, и лицо его стало как пустырь – оно ничего не выражало, не проросло на нем ни единого чувства, и припорошило его пылью безразличия.

Они уже собрались уходить, и я неожиданно тонким голосом спросила:

– А почему же все-таки ВАК отказал в утверждении?

Колбасов снова обернулся ко мне и удивленно развел руками – он ведь столько времени потратил на меня!

– Они считают проблему вашей диссертации неактуальной...

– В моей диссертации нет никакой проблемы, – произнесла я срывающимся голосом. – А поэтика великого поэта не может быть актуальной или неактуальной!

Колбасов чуть откинулся назад, пристально взглянул на меня, медленно сообщил:

– Не нам расклеивать бирки на литераторов – кто великий или не великий! Время покажет...

И вдруг меня охватило чувство, которое должен испытывать летчик в момент, когда колеса самолета оторвались от земли и он всем существом своим слышит – летит! Не знаю, что со мной произошло, но я внезапно почувствовала – я не боюсь этого клыкастого желто-промытого борова, поросшего золотистой чистой щетинкой.

Боясь только, чтобы он не перебил меня, я выкрикнула:

– Но вы же не стесняетесь расклеивать эти бирки Софронову или Грибачеву?

Сдавленно хрипнул из угла Бербасов:

– Да как вы смеете!..

Но Колбасов испепелил его коротким скользким взглядом и зловеще проронил:

– О-о-очень интересно! Ну-ну?

– И еще я хотела бы узнать, кто это – таинственные Они из ВАКа? Кто эти люди? Каков их научный авторитет? Или, может быть, это решает машина? – Я чувствовала неземную легкость огромной злости, невесомость от сброшенного балласта постоянного ужаса, вдохновенный запал на грани истерики.

Колбасов наклонил голову вперед, он уже шаркал нетерпеливо ногами, чтобы броситься в атаку и растоптать меня в прах. Но пока сдерживался, распаяв в себе ярость на мою еврейскую неблагодарность, жидовскую наглость, иудейскую приставучесть.

– ВАК не обязан сообщать нам имена закрытых рецензентов, – довел он до сведения.

– Почему же я, наш ученый совет, весь институт должны больше доверять мнению какого-то анонимного рецензента, чем оценке наших ведущих ученых и поэтов? – спросила я, и голос мой был жесток и скрипуч, как наждак.

– Потому что рецензент ВАКа объективен! – топнул свирепо ногой Колбасов.

Он уже не собирался со мной кумекать насчет диссертации. И я к тебе не пойду, зря сигналил ты мне липкими сардельками своей пятерни о возможных вариантах. Ты мне противен, кадавр из начальнического инкубатора.

И вся сопровождавшая его толпа не улыбалась больше, не радовалась, а гудела обиженно, сердито, возбужденно, в их недовольстве был слышен металлический лязг перегревшегося трансформатора. А Педус с пониманием качал головой – ему мое грязное нутро было давно подозрительно.

В дверях Колбасов обернулся и крикнул на прощание:

– Вам с таким характером будет трудно. У нас коллектив хороший, склочники не уживаются...

Вышел, вытекла за ним свита. Бербасов на одной ножке вслед поскакал. Тоска и страх стали вновь сочиться в меня ядовитой смолой.

Чего это меня понесло? Все ведь согласны.

Мария Андреевна отрешенно сказала:

– Не дай Бог мужику барство, а свинье – рога!

Светка буркнула мне – зря ты с ним связалась! Эйнгольц неподвижным взглядом уперся в стену, Люся Лососинова встревоженно достала из сумки ватрушку, Надя Аляпкина ввернула, что идет в библиотеку. Галя сделала новую закладку и пустила над нашими головами длинную очередь из «ундервуда».

Ничего не происходит. Все согласны. Безвременье. Большое непроточное время.

20. Алешка. Облезлый гриф

В это утро ангел, пролетая над нашим домом, решил заглянуть в свой мешок с добрыми вестями – не завалилось ли там чего-нибудь для нас, да нечаянно упустил завязочку, и они все разом рухнули в нашу квартиру.

Нинку, уже несколько лет не имевшую каких-то определенных занятий, приняли на работу мороженщицей и дали лоток около метро «Красносельская».

– Приходи, Алеха, забесплатно мороженым накормлю! – приглашала она радушно, а ее Колька и Толька ерзали от нетерпения, негромко скулили, поторапливая ее, возбужденно слизывали сопли красными кошачьими язычками.

Евстигнеев собирал в дорогу Агнессу, которая отправлялась на лето к своей сестре в Елец, и жалобно выпрашивал у нее хоть еще один червончик – «мало ли чего может случиться!».

– Ничего не может случиться! – железно пресекала его грязные имущественные поползновения Агнесса. – Не сдохнешь...

А он был так счастлив избавиться от нее хоть на месяц, что даже про спрятанные облигации не помнил. Он боялся, что она может передумать ехать к сестре. Евстигнеев наверняка наметил широкую следственно-разыскную программу поисков заныканных облигаций, хотя я думаю, что Агнесса их как раз у сестры в Ельце и держит – подальше от его липких цапучих лап.

Михаил Маркович Довбинштейн в полуобморочном состоянии совал мне в руки – «взгляните сами, убедитесь лично, Лешенька» – стандартную почтовую открытку, на которой было написано, что его приглашают в отдел виз и регистрации иностранцев Главного управления внутренних дел. Бедный старик. Дай тебе Бог. Может быть, ты уже не жидовская морда, не изменник, может быть, ты уже иностранец?

В сомнамбулическом оцепенении он бормотал: «...они ведь не могут нам отказать... у нас там дети, внуки... мы так намучились... мы столько вытерпели... я ничего против советской власти не имею... я просто хочу быть с детьми... я никогда ничего себе не позволял... я

отвоевал всю войну... я два раза был ранен и один раз контужен... если надо, то я могу свои медали отдать...»

Я заверил его, что все будет в порядке, с такой твердостью, будто я был начальником ОВИРа. Хотя знал, что они могут отказать. Они все могут. Это я знаю. Да только что ему толку от моего знания!

В конце коридора меня перехватил Иван Людвигович Лубо – он изгибался, клонился, скручивался от вежливости, взволнованно потирал руки о штаны.

– Алексей Захарович, меня пригласил на переговоры человек, которому вы меня рекомендовали...

– Ну и прекрасно! Он мне сказал, что возьмет вас. Там, правда, зарплата небольшая...

– Да бог с ней, с зарплатой! Мне бы только штатное место досталось! Господи, я бы так работал!.. Я бы показал, на что я способен!..

Ни на что ты уже не способен, Иван Людвигович! Хотя, к счастью, не знаешь этого. Все твои силы ушли на бесконечную войну с негласной анафемой, которой предали тебя четверть века назад. Лубо знает пять или семь иностранных языков, но всю жизнь просидел дома, вел домашнее хозяйство, воспитывал девочек, перебивался случайными – и всегда анонимными – переводами. Лингвист, знаток старонемецкой поэзии, интеллигент, вытирая руки о штаны, пережарил на нашей смрадной кухне пультаны картошки, горы котлет, сварил цистерны шей, слабо отбиваясь от наседающей Агнессы, зажимая уши от материны подгулявшей Нинки.

Он был наказанный. Несильно, но без срока.

Тридцать лет назад Иван Лубо, приехавший переводчиком посольства в Стокгольм, подпил где-то в кабачке, подрался с местными хулиганами, попал в полицию, где разобрались и оштрафовали хулиганов. Я думаю, что бывшие хулиганские парни – сейчас осанистые шведские господа – на второй день забыли эту историю раз и навсегда. А Лубо отозвали в Москву, исключили из комсомола за поступок, позорящий звание советского человека, и выгнали с волчьим билетом на улицу. При Сталине он просто боялся скрыть факт бывшей работы в МИДе – за это можно было загреметь в лагерь как шпиону. А потом это стало невозможным – ему никак было не объяснить в отделах кадров, где он мог болтаться несколько лет без дела. И все снова возвращалось в управление кадров МИДа, откуда коллеги-кадровики сообщали на запросы о Лубо: «Уволен за поведение, несовместимое со званием советского дипломата, и утрату доверия».

Он утратил доверие. Простоял целую жизнь у плиты, вытирая ладони о брюки. Осталась только бессмысленная мечта попасть на работу – «зачислиться в штат». Его обещал взять к себе в маленькое издательство один мой приятель...

– Правда – от Бога, а Истина – от ума, – доказывал мне что-то с вежливым жаром Иван Людвигович. – Все будет хорошо, только бы мне – в штат. Я буду всем доволен.

Ты прав, дорогой Иван Людвигович. Правда – от Бога. Но где же сыскать Истину, коли ума нет? Чем ты, старый дуралей, будешь доволен?

Лучше бы тебе тогда десятку сунули как шпиону, отмучился несколько лет, потом бы реабилитировали. Начал бы жить со всеми на равных. А так отбарабанил тридцать. Под домашним арестом. Аббат Фариа с пианино на кальсоновых пуговицах. Э, все пустое...

Может быть, я такой же дуралей, как Иван Людвигович, но все-таки я сейчас попробую хитростью копнуть землю, снять хотя бы дерн с того наглухо засыпанного колодца, где на дне остались со своей тайной Михоэлс и отец Улы. Они тоже ушли как жертвы вечной молодости – они не умерли, они погибли.

Как у нас говорят – на боевом посту. Выполняя, так сказать, свой долг. Дав себя убить без лишних осложнений, без ненужного шума и придушенного крика, они, по замыслу сумасшедших сценаристов, получили право даже на официальные похороны. А не то что на помойку выкинули...

Я и ехал сейчас к одному из сценаристов. На улицу имени 1905 года, дом два, квартира семь. Может быть, Петр Степанович Воловодов и не был автором именно этого сценария, но он множество лет входил в бесовскую сценарную коллегия, превратившую жизнь людей в полупрозрачную рвущуюся пленочку бессвязного фильма небывалых ужасов.

Если существуют законы драматургии сумасшествия – он их должен знать.

Дядя Петрик – частное лицо, собесовский пенсионер, тихий старичок. Разжалованный генерал-лейтенант, осужденный на пятнадцать лет заместитель министра, отбывший полный срок арестант, бывший друг моего папаньки. Он уже десять лет на свободе. А всего ему – шестьдесят семь годков.

Несколько лет назад он приходил к отцу в гости, но дружба между ними не возобновилась. Он говорил тогда с горестной слезой: «За что? За что меня? Мы все одно дело делали...»

История с Воловодовым поразительна. Я верю, что его осудили незаконно. Я вовсе не хочу сказать, что он не заслужил свой пятиалтынный так же, как его наверняка заработал мой папанька, которому никаких претензий вообще не предъявили. Но после смерти Сталина, когда посадили дядьку Петрика, не было времени, да и особого желания копаться в действительно совершенных им преступлениях.

Надо было «разогнать бериевскую шатию». Не осудить публично преступную машину и ее команду, а отогнать от кормила и перебить прежних рулевых. Никогда дворцовые путчи не ставят задач правосудия.

Петрика подстегнули быстренько к делу Абакумова, и сколько Воловодов ни орал, что никогда не имел ни малейшего отношения к разгрому ленинградского начальства, за что официально привлекался бывший министр – других грехов Абакумову не сыскалось! – ему воткнули пятнадцать и отправили в лагерь.

Не наказанный за действительное зло, о котором Воловодов, естественно, забыл, а покаранный за преступление, которого он не совершал, в условиях, когда вся их деятельность не была названа преступной, а туманно именовалась «отдельными перегибами», дядька Петрик совершил забавную эволюцию – он стал диссидентом справа.

Это был род добровольного безумия – он сознательно, горячо, искренне считал, что все происходящее у нас до 1953 года было справедливо, мудро и прекрасно. И все эти достижения были смыты мутной водой предательства идеалов, беззакония и постылого раболепия перед Западом. Он позволяет себе, не скрываясь, говорить вслух такое, за что обычный инженер, как минимум, вылетел бы с работы, если не угодил бы в психушку. Но на Воловодова власти не обижались – он был по идее «свой» человек. Он был борец не «ПРОТИВ», а «ЗА».

Я представляю, как начальник райаппарата сидит – почитывает сводку осведомителей, доходит до рапорта об очередном злобном высказывании дядьки Петрика, не может сдержаться добродушной усмешки, качает головой, бормочет: «Вот чертяка!.. не унимается... крепкий мужик... наша косточка... душой болеет за правду...»

Я долго терзал звонок, пока он открыл мне дверь, сухо похлопал по плечу – проходи на кухню, а сам вернулся в уборную. Запущенная, грязноватая квартира, обшарпанная мебель, все пропитано кислым запахом одинокой неопрятной старости. На подоконниках, на шкафу, на полочках, на полу, на кривом табурете – кактусы. В горшочках, в проржавленных кастрюлях, в фанерных ящиках от посылок, в старой синей кружечке с облупившейся эмалью. Крошечные – с мизинец, огромные – с собаку ростом, круглые, длинные, саблелистые, коричневые, ярко-зеленые, в розовых цветах и с рыжеватой небритой щетиной, растения заполняли всю квартиру, и, хоть я знал, что они не пахнут, все равно казалось, что это они испускают неприятный кислый запах одиночества, злой тоски и ненужности.

Дождаясь, пока Воловодов убедит в сортире свой старчески-несговорчивый кишечник, я подошел к окну. Слева тяжело клубилась пыльная усталая зелень Ваганьковского кладбища, справа железно грохотали, мучительно толкались, перебираясь с места на место грузо-

вые вагоны на сортировочных путях Белорусской железной дороги. В раскаленном синеватом мареве мчались со злым фырчанием через путепровод машины, в своем радужном разноцветье похожие на прижатые ветром к асфальту воздушные шарики.

Я озирался в комнате, заросшей кактусами, будто брошенная в джунглях вырубка, и не мог сообразить, что меня отвлекает. Здесь чего-то не хватало привычного, но чего именно – не мог я зацепить никак.

От легкого ветерка пошевелились страшные ножи огромного кактуса, потихоньку раскачивались его злоеющие шипы. Бурые круглые головы, истыканные иглами, будто поворачивались за мной, стоило сделать шаг. Со всех сторон торчали бесчисленные острые шилья. Кактусы были мне противны – они и на растения были мало похожи, они, скорее, смахивали на какие-то вземные полуживые существа. Враждебные.

На стене висела грамота общества кактусоводов за большие успехи. Наверное, последняя награда дядьки Петрика в этой жизни.

С гневным завыванием взревел унитаз, щелкнул выключатель, и появился Воловодов. Он прошел к раковине, заставленной синюшными пустыми бутылками из-под кефира, долго, задумчиво мыл руки с мылом, утирал их сальным кухонным полотенцем, потом спросил безразлично:

– Как, Алешка, поживаешь?

– Скучно поживаю, дядя Петрик.

– Это уж как все. Время сейчас такое. Люди ничтожные, мысли убогие...

Он стоял, опершись задом на раковину, высокий, худой, крючконосый, лысовато-седой, в коричнево-фиолетовой полосатой пижаме, прижав к груди когтистые пальцы, и очень напоминал мне в своем кактусовом диком интерьере грифа-стервятника.

Облезший завонюченный гриф судорожно двигал шейю, крутил сухой острой башкой, натягивая у горла дряблые веревки вен.

– Смешные времена, – сказал он, кивнув на радиоприемник. – Слышал я по чужому голосу, какие-то американские молокососы приехали сюда протестовать против арестов. Один из них приковал себя цепью в ГУМе к перилам, а остальные швыряли листовки. Два часа наши говноеды ковырялись, пока их утомонили! Умора, да и только.

– А чего надо было сделать? – спросил я с интересом.

– Чего сделать? – удивился он. – В мои времена послали бы Леньку Райхмана...

– А он бы что?..

– Ленька? Отрезал бы этому пилой руку – и конец беспорядку! При нас такого быть не могло...

Я засмеялся – при них действительно такого быть не могло. «И что характерно!» – как говорит мой папанька.

И что характерно – Ленька Райхман состоял не в должности налетчика с Молдованки. Он тоже бывший генерал-лейтенант.

Интересно, английский генерал-лейтенант может отрезать пилой руку демонстранту?

Я засмеялся. Мне надо было подпустить осторожно снасть.

– Как он, кстати говоря, живет? Давно он у нас не был...

– Женился, дурень. Но понять можно, – клюнул носом воздух гриф, растрепались над ушами редкие седастые перья, картофельными оладьями висели его сиреневые уши. – Такого лихого парня зашельмовали, посадили, не у дел оставили. В самом расцвете, как говорится. Тоскует Ленька...

– Да, я по рассказам помню – человек он штучный. Это ведь он тогда с Михоэлсом обтупал дело?

Гриф-стервятник покачал из стороны в сторону своим желто-коричневым от запоров лицом:

– Это ты все перепутал. Мы к этому делу не имели отношения. Этим занимались крутовановские люди...

У меня замерло сердце. Господи Всеблагостный! Если Ты есть на небесах, помоги мне! Боже правый, если мне суждено процарапать по этому тусклому коридору к давно свершенному злодейству, то вот она – первая щелочка в монолитной стене. Это вход в намертво замурованный лаз.

Нестерпимо захотелось выпить. Мне остро доставало сейчас первого хмельного вдохновения, той необычной легкости мысли и непредугадываемой верности слов и поступков, что возникает от первого, второго прижившегося в тебе с утра стакана.

Осторожно спросил его:

– Дядя Петрик, а не путаешь ты? Отец говорил как-то, что как раз в это время Крутованова посадили. А через год выпустили...

– У твоего батьки от сытой, спокойной жизни склероз развился, – сердито сказал Воловдов и с интересом взглянул на меня. – А должен был бы помнить...

– Почему?

Гриф помолчал, помотал костистой острой головкой, вздохнул, еще раз на меня глянул:

– Дело было знаменитое. А кокнули Михоэлса крутовановские ребята, да грязно сделали, наследили, насрали повсюду, за ними еще год подбирать пришлось... Туда же выезжал с официальным расследованием Шейнин. Ну конечно, этот еврей-грамотей, стрикулист паршивый, сразу же почти все разнюхал. Эх, не послушал меня тогда Виктор Семеныч...

Он и сейчас произносил имя Абакумова с взволнованным колебанием заизвесткованной грудины.

– А разве Абакумов симпатизировал Крутованову? – лениво осведомился я.

– Как собака кошке! Но ничего сделать не мог. Знал он, что погибель его в этом предателе, да бессилён был. Крутованов с Маленковым на сестрах были женаты, вот тот его и подерживал перед Сталиным. Понимаешь, Сталин через Маленкова – Крутованова держал под надзором Берия, а Лаврентий через Крутованова контролировал Абакумова. Этот подлюга, Крутованов, и свалил Виктор Семеныча, думал сам стать министром, да ему Лавруха хрен задвинул – матерьяльчики у него были, ну, он Сталину доложил, и Крутованов – в подвал ухнул. Маленков понимал: остался теперь Берия на свободном поле, конец теперь. На уши встал, а отмазал Крутованова у Сталина, его и выпустили через год, на прежнее место вернули. У нас с ним кабинеты на одном этаже были...

Господи, только бы не сбить его с настроения неуместным словом. В нем прорвалась тоска вынужденной немоты. Кроме своих кактусов, ему некому рассказать перипетии борьбы в этом небывалом террариуме – все были чужие. А своим это все неинтересно. Они и сами знают.

Я был гибрид – почти «свой», наверняка воспитанный с младенчества, что чужим нельзя говорить ни слова из услышанного в доме, и мне, как постороннему, ни в чем этом не принимавшему участие, практически не заставшему звездную пору этого обгаженного грифа-стервятника, – рассказать мне о том, что не всегда он был хреном собачьим, тоже было соблазнительно. Через несколько минут или через несколько часов в нем перегорит запал униженного тщеславия, и он будет жалеть о выскочившем и непойманном воробье сказанного слова. Сейчас его еще разгоняла ярость огромной зависти к удачливому прохвосту.

– Отец всегда говорил, что Крутованов очень хитрый человек...

– Хитрый? – удивился дядька Петрик. – Да это исчадие ада! Умный. Ну, умный! Хитрец, врун, вероломный, как скорпион. Гадина – одно слово. Он и сейчас в полном порядке. Генерал-полковник в отставке, полная пенсия, все ордена. И пятьсот зарплаты.

– А он что – работает еще?

– Работает! – в гневе взмахнул когитистыми лапами. – Он заместитель министра внешней торговли! Вон в газете недавно интервью с ним: «Мы – за разрядку, мы – за торговлю, мы

– за сближение, мы – за социализм, а вы будьте за капитализм, только мир пускай будет да чтоб за границу почаше ездить...» Сука, оборотень проклятый! Дождется, паразит, его евреи за границей, как Эйхмана, споймают еще!

Я захохотал:

– Дядька Петро, а ведь ему было бы им чего там рассказать, а?

– Он бы рассказал, можешь быть уверен! Ему на все наплевать, только бы харчи чтоб были хорошие!

– Повстречался бы с семьей Михоэлса, было бы им о чем вместе вспомнить...

– А семья что – в Израиль уехала?

– Давно.

Гриф повозил сухую складчатую кожу на жестком подбородке, покачал головой:

– Все-таки неуживчивый народ...

– Дело не в неуживчивости, а во въедливости, – заметил я. – Ты же сам говоришь – Шейнина послали тогда в Минск марафет навести, а он всю срань раскопал...

– Так это тоже Крутованов виноват! – возопил гриф. – Ведь предполагалось все сделать чисто, чтобы не ставить никого в известность. И прокуратуре нечего знать наши дела! Планировали специально послать потом Шейнина, чтобы этот писака там крупно обделался. Понимаешь, ему ведь роль была придумана – он там ничего не должен был найти, а признаться в этом не захотел бы. Ну он и подыскал бы каких-нибудь посторонних ослов, чтобы, как в его детективных рассказах, – все концы с концами сошлись. Тех бы шлепнули, и все – концы в воду...

Вот, оказывается, какую ему незавидную роль отвели, великому детективу Льву Романовичу Шейнину! Он был прославлен своими детективными рассказами, которые пек на раскаленной сковородке правосудия, и особое уважение и доверие к его рассказам вызывало то обстоятельство, что он был не какой-нибудь писателишка-любитель, а самый взаправдашний следователь. Правда, совсем немногие его читатели знали, что детективный писатель Лев Романович был не простой следователь-беллетрист, а прокурорский генерал, начальник следственного управления прокуратуры Союза...

Что же ты, умник, не рассмотрел железные пружины хитрого капкана еще в Москве? Почему не сказался больным? Чего не отвертелся от поездки в Минск? И там уже, увидев воочию белые нитки наспех сшитого убийства, чего не сыскал каких-нибудь посторонних ослов? Не сообразил? Посовестился? Или решил сам в игру включиться – козырного короля в рукав спрятать?

Сейчас этого уже не узнаешь. Все равно получилось по их плану – ничего и никогда Шейнин не сказал никому. Концы – в воду.

– А Шейнин действительно нашел кого-нибудь? – спросил я.

– Нашел, – усмехнулся гриф, и от этой запавшей улыбки, от полуприкрытых, как у покойника, глаз мне стало не по себе. – Толковый он был еврей. Да в те времена нас ведь было не объехать...

– А что?

– Да ничего – отзывали его в Москву срочно и посадили.

– В чем же его обвинили?

– Ну, этого я не знаю – меня это не касалось. Да и не вопрос это. Всегда что-то есть. А уж когда окунули – он подписал все, что сказали. И на всех...

Ах, еще бы немного поговорил бы он, мне нужно еще одно...

– Дядя Петрик, а Шейнин что – отыскал ребят, которые выполняли задание?

Гриф хищно оскалился, подобрал выше костистые плечи, потрянул облезшими перьями:

– Это уж хрен ему, – и непристойным жестом выставил до локтя худую пупырчатую руку. – В те времена мы своих на сторону не выдавали!..

– Ты их знал, этих ребят? – как можно небрежнее обронил я, и в тишине расплывшейся паузы я мгновенно уловил возникшее, как силовое поле, противостояние.

– Нет, – медленно, не сразу ответил гриф, внимательно вперившись в меня желтыми пронзительными глазами. – Не знал. А ты почему меня об этом спрашиваешь? Тебе к чему это?

– Просто так, – пожал я плечами. – Вы ведь последние могикане. Уйдете, некому и вспомнить будет...

– И не надо, – отрезал Воловодов. – Не надо об этом вспоминать. И так вспоминателей больше, чем дел...

– Раз не надо, значит не надо, – засмеялся я. – Мне ведь это ни к чему, просто к слову пришлось. А живешь ты, дядька Петрик, скучновато. Тебе бы развлечься, настроение бы улучшилось. А то сидишь здесь со своими кактусами...

Я огляделся и неожиданно понял, чего мне не хватало в этой комнате, – в ней не было ни одной книжки. Нигде. Никакой. Только кактусы.

– А как же мне прикажешь развлекаться? – скрипуче спросил Воловодов.

– Ну, это я не знаю! Сходи в кино или куда-нибудь в парк культуры и отдыха.

Гриф зло усмехнулся и с той же резкостью, как давеча в непристойном жесте, выкинул тощую жилистую руку в сторону окна:

– Вон мой парк культуры и отдыха...

Из церкви на Ваганьковском кладбище донесся первый неспешный удар колокола, и медленный полнозвучный густой звон потек над нами.

21. Ула. Распродажа

Действительно нет причин расстраиваться, незачем огорчаться. Однажды, еще до того, как все затопила матерая едкая вода безвременья, мы все согласились с тем, что жизнь есть способ существования белковых тел плюс обмен веществ. Это удивительное откровение стало фундаментальной научной основой всеобщего бытия. Научным его делал упомянутый плюс, а фундаментальным – не включенный в формулу минус. Минус духовность.

И нечего расстраиваться, незачем горевать – в рамках отдельного случая существования белкового тела надо думать об обмене веществ. Главное – сосредоточиться на плюсе. А минус – это пустяки. Бог с ним, с минусом.

Мы все согласились быть просто белковыми телами плюс тридцать один рубль в получку – вот вся цена моему обмену веществ.

Сотрудники задолго до обеда разбрелись из комнаты, только Эйнгольц сидел за столом и внимательно-грустно смотрел на меня.

Остальным было невыносимо зрелище моей униженности и собственной трусости. Им было совестно смотреть на меня и боязно сидеть со мной – а вдруг вернется Колбасов и подумает, что они со мной заодно, что они против него.

А может быть, я в сердцах наговариваю на них.

Просто с младенчества мне запомнился урок коллективного ужаса – испуга невиновных людей, которых очень легко можно было объявить виноватыми. В мае 1953 года мы ехали с тетей Перл на троллейбусе. Был теплый весенний полдень, мне – пять лет, и ощущение счастья завершилось местом у открытого окна в полупустом салоне. Перед самой Пушкинской площадью в проезде Скворцова-Степанова возникла автомобильная пробка, троллейбус стал, а я высунулась из окна, чтобы лучше рассмотреть – какая-то машина продиралась сквозь пробку, издавая пронзительные ревуще-квакающие звуки. Огромный черный ЗИС-110, беспрерывно мигая желтыми фарами, угрожающе орал сиреной, ограниченные толкучкой, шарахались с его пути малолитражки, но дать ему дорогу не могли физически – впереди было все забито. Около

нашего троллейбуса лимузин замер, и через опущенное окошко передней двери я увидела в упор пассажира.

В распахнутый ворот белой рубашки свисали два подбородка, маленький рот, похожий на смеженное веко, бородавка на щеке, влажная лысина, утепленная светлым подшерстком. Опрятная кисточка усиков под носом, будто сморкнулся чернилами и забыл утереться. И вымоченные светло-голубые глаза за ледяными стеклышками пенсне. Он смотрел прямо перед собой, не замечая пробки, нашего застрявшего троллейбуса, моего удивления.

– Тетя, посмотри, какой страшный дядька! – крикнула я громко.

Он повернулся ко мне – его потное лицо было на расстоянии метра от меня, медленно рассмотрел и коротко улыбнулся, как сморгнул. Я успела увидеть в щели между тонкими губами-веками проблеск золотых зубов.

И вздох-всхлип ужаса пронесся еле слышно за моей спиной в салоне. Водитель троллейбуса почему-то открыл дверь – наверное, от растерянности, и люди, давясь, ожесточенно толкаясь у выхода, рванули наружу, как вода из треснувшей бочки.

Впереди оглашенно засвистели милиционеры-регулировщики, машины задвигались, вновь взревела сирена ЗИСа, блеснуло солнце в золотой дужке пенсне, и лимузин, фыркнув, рывкнув, желто вспыхнув фарами, умчался.

В троллейбусе мы сидели одни. Я смотрела на оцепеневшую тетю Перл, синюшно-белую, потом спросила ее:

– Что такое?

Она с размаху влепила мне пощечину и заплакала:

– Она спрашивает – «что такое?»! Идиотка! Это же был Берия...

Белковые тела.

Люди генетически усвоили раз и навсегда: ничего нет проще, чем изменить их способ существования и прекратить обмен веществ. Не надо огорчаться. Надо быть жизнерадостными и скромными тружениками. Строителями сказочного города Хелм, населенного дураками.

Я смотрела на глубоко задумавшегося Эйнгольца и была благодарна ему за то, что он не говорит мне сейчас бессмысленных слов утешения. Эйнгольцу тоже не нравится предписанный ему способ существования, но его скорбная фигура выражала тоску по минусу. Его старенькая замшевая курточка из свиной выворотки была ему тесна, в плечах она расползлась на швах, на локтях и на животе залоснилась до черноты, вытерлась до гладкости кожи на лацканах. «Надо бы зашить ему куртку», – механически подумала я, глядя, как он нешироко и методично, с точностью механизма покачивается над своим столом.

Сейчас, в миг глубокой тоски над убиваемым минусом, он забыл о том, что он христианин, а оставался по-прежнему евреем, необозримо древним, раскачивающимся вперед-назад как тысячи поколений его предков на молитве, в скорби и трудном размышлении.

Извечно раскачиваются евреи вперед-назад – они слышат ход незримых часов. Мы – маленькие маятники их. В переставшем раскачиваться еврее остановились часы нашего Бога.

Эйнголец неслышно раскачивался на стуле, с бессмысленной аккуратностью раскладывавая и меняя местами листы копирки, блокнотики, стопки черновики, остро отточенные карандаши, в специальном конвертике шариковые ручки и отдельно – обычную чернильную с золотистым пером № 86, и в движениях его была отчетливо видна бессознательная любовь ко всем этим предметам, хрупким инструментам человеческой культуры, которая сама давно объявлена минусом.

Эйнголец оторвался от своего стола, и замерло его раскачивание, когда он посмотрел мне в глаза.

– Что будешь делать? – спросил он.

– Ничего.

– Хочешь, вместе напишем апелляцию в президиум ВАК? – сказал он просящим голосом.

– Не хочу.

– Почему? Давай я пойду к профессору Бонди – он может подать в президиум протест.

– Не надо, Шурик. Я не буду подавать апелляцию. Мне это не нужно.

– Как же быть?

– Никак. Ты помнишь, в Библейских хрониках, Паралипоменоне, есть слова: «Потом вошел к жене своей, она зачала и родила ему сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что „несчастье постигло дом его“...»

Эйнгольц смотрел на меня вопросительно своими красноватыми выпуклыми глазами, и я закончила свою мысль:

– Понимаешь, имя всему этому – Берия, что значит «несчастье постигло дом его». В этом доме – огромное, необъятное несчастье. И здешний способ существования белковых тел несовместим с поэтикой Бялика. Ты ведь знаешь о несовместимости белковых тел? Они отторгают меня, им непереносим мой обмен веществ...

– Что ты говоришь, Ула? – крикнул Эйнгольц. – Ты ведь по своей культуре – русская интеллигентка, ты...

А я решительно помотала головой:

– Нет, Шурик. Я хочу с этим покончить. Мои белковые тела устали приживаться. У меня больше нет сил...

Распахнулась дверь, и в комнату ворвался Володька Федорук, бросился с порога ко мне, обнял, стал целовать в лоб, в темя, в затылок.

– Ула, ласточка моя, голубонька, подружка моя бедная! Вот вражины проклятые! Все им неймется, заразам проклятым! Таковую девку обидеть! Диссертацию завалить такого ученого человека! Ни дна чтоб им, ни покрывки, сукам казенным!

Я высвободилась из его объятий – посмотрела в его круглое распаренное лицо, которому так не соответствовало выражение досады и огорченности. Володька, веселый неграмотный шалапут, попал к нам в институт по блату, быстро перессорился с начальством, подружился со всеми приличными людьми, пошумел, попьанствовал, всех раскритиковал, года два назад женился на дочке какого-то важного туза из Киева и уехал жить туда. Он там быстро продвинулся, часто приезжал в Москву и всегда заходил к нам в институт. Как я понимаю, его тормозит в продвижении к еще большим верхам только отсутствие ученой степени – он жалуется всегда, что нет времени «присесть, диссертацию махнуть».

За розовое безбородно-гладкое лицо мы называли его Вымя.

– Ну, Шурик, ты хоть скажи – не хулиганство ли это? – кипятился Володька. – Враги! Одно слово – враги рода человеческого! Таковую работу спалить!

– Спасибо, что хоть не на площади, – заметил Эйнгольц.

– Ха! На площади! На кой черт нам эта оперетта! У нас есть котельные, кочегарки! Костров всей Европы не хватит на их растопку – сколько туда мудрости людской загрузили...

– Что же будет? – невпопад безлично спросил Эйнгольц.

– Плохо будет, – весело заверил Вымя. – Ты ведь знаешь, Шурик, что я ненавижу анти-семитов. И скажу тебе откровенно и объективно – плохо будет. Евреям в особенности...

– А почему евреям – в особенности? – упрямо спрашивал Эйнгольц.

– Это долгий разговор. У нас шутят, что уезжающим евреям дают медаль «За освобождение Киева». Только я все чаще вспоминаю слова моего батька...

– И что же тебе сказал твой батька? – спросила я равнодушно.

– Он пацанчиком был еще, так стоял у нас в хате какой-то петлюровский командир. Вызвал он богатых евреев из местечка – собирать контрибуцию вместо погрома, и заявил им: «Слухайтэ, жидки. Чи Троцкому будэ, чи нэ – нэ знаю. Но вам, троценятам, будэм маму мордоваты!» Вот чего мне батька сказывал. Вопросы есть?

– Нет, – ответили мы в один голос с Эйнгольцем.

– Я Марию Андреевну встретил сейчас, она пошла к Колбасову, – сообщил Вымя. – Она его хочет уговорить... Только, по-моему, это разговор для бедных...

– И я так думаю, – сказала я.

– А что будешь делать?

– Ничего. Выкину и позабуду.

– Бро-ось, – недоверчиво протянул Вымя. – Такую работу классную – бросить? Что-то мне не верится...

– А ты поверь, сделай милость. Я больше не буду этим заниматься.

Вымя переводил недоуменный взгляд с меня на Шурика, потом снова смотрел на меня, и от красных его щек веяло жарким паром. Еще раз переспросил:

– Ты это твердо решила?

– Да.

Он глубоко вздохнул и быстро сказал:

– Продай мне.

– Что продать? – не поняла я.

– Диссертацию. Твою диссертацию.

Даже усталость у меня прошла. Я удивленно спросила:

– А зачем она тебе? Что ты с ней будешь делать?

Я рассмеялась. Трагедия плавно перетекала в фарс. Я только спросила:

– А что, в Киеве больше понравится поэтика Хаима-Нахмана Бялика, чем в Москве?

– Да не будь дуручкой, Ула! Какой там Бялик! У нас есть сейчас поэт один, ну просто огневой парень, на ходу подметки режет, к власти рвется. Да ты знаешь его – Васька Кривенко! Я его стихи вставлю вместо бяликовских в твою работу – она как по маслу во всех инстанциях за полгода пролетит! На стихи-то всем наплевать – их ведь никто и не читает! Важен как раз сопроводительный текст...

Я взглянула на Эйнгольца – у него был вид человека, которого залила с ног до головы ассенизационная цистерна и умчалась прочь. А он остался сидеть за своим письменным столом с аккуратно разложенными инструментами как назло не умирающей письменности.

Потом посмотрела на Володьку. Вымя. Его лицо окатывали быстрые короткие волны возбуждения, алчности, неудобства перед Эйнгольцем, сочувствия ко мне. Но самыми чистыми были волны страха – сейчас придет кто-нибудь посторонний, и уже наполовину сладившаяся сделка может расстроиться.

Ах, бедная старая Мария Андреевна! Дорогая Бабушка! Зачем ты пошла унижаться к тому мрачному тяжелому кнуру? Твое унижение будет бесполезным. Ты не умеешь просить и уговаривать. Ты же мне сама не раз повторяла – интеллигентность несовместима с деловитостью, ибо деловитость принижает достоинство.

– А сколько ты мне дашь за диссертацию? – спросила я Вымя.

– Ула! Ула! – задушевно крикнул Эйнголец, но я резко хлопнула ладонью по столу.

– Сколько?

– Ула, я и сам не знаю, – смутился неожиданно Володька. – Я ведь не каждый день покупаю диссертации...

Тонко, неуверенно засмеялся и быстро предложил:

– Две тысячи сразу. – Подумал немного и накинул: – И тысячу после защиты.

Он торопился, он боялся, что кто-нибудь придет.

Я засмеялась. Мне было действительно смешно. Ведь если вырвать из нашей жизни боль, то останется только смешное. Смешное и жалкое. Декорации Абсурда! Господи, ну взгляни, как это смешно! Поэтика Бялика на примере стихов огневого парня, который на ходу подметки режет! Это же невероятно смешно – это же просто обмен вещев! Какая разница! На стихи-то всем наплевать!..

Я неостановимо смеялась, я хотела замолчать и не могла, я хохотала до слез, и меня разрывал на куски этот не подвластный мне смех, мучительный, как рвота.

Все прыгало перед глазами, и Шурик зачем-то совал мне в рот стакан с водой, он думал, что у меня истерика. Я оттолкнула его, раскрыла ящик стола и вытащила оттуда красную картонную папку с экземпляром диссертации.

И наконец сладила со смехом. Володька испуганно молчал, и я спросила его:

– Сколько стоит шикарный обед в ресторане?

– А что?

– Ничего, мне интересно. Я ни разу в жизни не была еще в ресторане.

– На сколько персон? – деловито осведомился Вымя.

– На двоих. Пятьдесят рублей хватит?

– Если шикарный обед, то столик...

Вот и прекрасно – моя зарплата. За месяц – плюс обмен веществ, минус налоги.

Я протянула Володьке папку:

– Давай сто рублей.

Он начал надуваться принципиальностью:

– Нет, так я не могу, так я не согласен. Я ведь не ограбить тебя хочу, я хоть как-то, по своему помочь... Компенсировать твой труд...

Вот он уже и помогает мне. Это и неудивительно. Наша торгашеская сущность евреев! Мы ведь – за деньги-то! Отца родного не пожалеем! Ничего нет святого...

– Давай сотню или передумаю! – крикнула я.

Зазвонил телефон, я сорвала трубку и услышала голос Алешки:

– Ула?

– Да, Алешенька, это я. Давай сейчас увидимся?

– Давай... – неуверенно сказал он. – А где?

– На Арбате. У старого метро. Через полчаса.

– Хорошо. Еду, – сказал он испуганно. – Ничего не случилось?

– Нет-нет. Все в порядке. Я просто соскучилась! Я хочу тебя видеть!

– Целую тебя, Ула! – обрадовался Алешка. – Я помчался...

Положила трубку и сказала Володьке:

– Ты берешь диссертацию?

– Ула... пойми... я так не могу... ты столько... сидела...

Пришлось сделать вид, что прячу папку обратно в стол.

– Последний раз спрашиваю – берешь?

Вымя выхватил из кармана бумажник, очень толстый, коричнево-засаленный, жирный, на нем можно было картошку жарить. Из его сморщенных створок торчали многочисленные бумажки, неуживчиво вылезали наружу квитанции, выскакивали глянцевые квадратики визиток, засиженных мухами званий и должностей... Из особого отделения вытащил пачку купюр, похожую на грустный осенний букет – небольшой, но ярко насыщенный красными, зелеными, фиолетовыми цветами. Володька считал десятки, от волнения сбился, помусолил указательный палец, снова стал считать. Он был нежадный парень, ему было просто неловко особой застенчивостью вкусно обедающего человека под взглядами двух голодных оборванцев.

Он расплачивался десятками, чтобы было побольше бумажек в пачечке – возникла иллюзия суммы значительной.

– А у тебя нет целой сторублевки? – спросила я.

Вымя перестал считать десятки и протянул мне хрусткую коричнево-серую купюру. Я положила ее в сумку, подумала о том, что впервые в жизни держу такую бумажку в руках. Глупо. Как ужасно глупо! Мне ни разу не полагался платеж, в который бы могла уместиться такая купюра. Драма непреодоленной бедности...

– Ула... если хочешь... это будет как аванс... в любой момент я готов... – заикался Володька, но взгляд его уже был прикован к красной папке на моем столе.

Я направилась к двери, и сокрушенно молчавший Эйнгольц спросил:

– Если будут тебя спрашивать, что сказать?

– Скажи, Шурик, что хочешь. Все равно...

И захлопнула за собой дверь.

Прошла по коридорам, в которых шатались праздные, мимо столовой, зловонящей щами и людским азартом – длинная очередь выстроилась за развесным палтусом, мимо закрытой на учет библиотеки, спустилась по лестнице в запыленный сумрачный вестибюль, миновала гардероб, где болтался, как висельник, чей-то одинокий брезентовый плащ, взглянула на плакат «Уважайте труд уборщиц!» и впервые поняла, что это призыв не понарошечный, что это не зашифрованная инструкция. Это программа нашего способа существования белковых тел.

В этой дурости огромный смысл. От меня никто не требует уважения к уборщице. По своему даже не разрешается уважать уборщицу. Мне велено уважать труд уборщицы.

Прости меня, Алешенька, может быть, я предаю тебя, но я так больше не могу жить. Я не могу заставить себя уважать труд уборщиц. Громадный организм не принимает моего белкового тела. Я устала поддерживать свой обмен веществ минус духовные потребности и осенние сапоги на тридцать рублей в получку. Я не могу выдержать накала плохо затаенной враждебности ко мне. Я не могу привыкнуть к тому, что, когда на улице кто-то произносит слово «евреи», я непроизвольно вжимаю голову в плечи. Я замучена необходимостью проживать одновременно в двух измерениях – в мире абсурдных свершений и в мире живых горестных потерь. Я не хочу ходить по квартирам агитировать за одного кандидата на одно место. Я не понимаю, как анализ поэтики и личности Хаима-Нахмана Бялика можно иллюстрировать бурсацкими виршами какого-то прохвоста, выкинув стихи и имя замечательного поэта.

Прости меня, Алешенька, я устала так жить. И я думаю, что однажды нас всех здесь убьют.

Отторжение. Все естественные связи прерваны. Люди соединены только бурно пульсирующей пуповиной абсурда.

И ты. Еще ты меня соединяешь с этим миром, Алешенька, – моя любовь, моя боль, последняя и невозполнимая потеря здесь.

– Здравствуй, Алешка!

– Здравствуй, Ула! Почему ты плачешь, любимая?

– Я не плачу, Лешенька. Это просто так. От волнения. Я испугалась, что больше не увижу тебя...

– Куда же я денусь? Я не звонил, я не хотел идти к тебе с пустыми руками, мне было стыдно. Я думал, сойду с ума без тебя...

Мы стояли, обнявшись, на Арбатской площади, и ко мне вдруг пришел покой пустоты и отрешенности. Я знала, что ничего мне от Алешки не нужно, что ничего он не может узнать и найти в этом бездонном морящем болоте. Я знала, что мы обречены, что мы уже не очень молоды – ему под сорок, а мне под тридцать, что наша совместная жизнь прожита, что наша встреча – как расставание перед отправкой на фронт, потому что я здесь больше жить не могу, а он больше нигде жить не захочет, он по-настоящему глубоко русский человек, и нам остаются теперь лишь горечь и разочарование чувств, сиротство разлуки, непроходящая боль потери единственного нужного на земле человека.

Алешка, как много я тебе не сказала! Меня всегда сдерживало, замораживало неподвластное мне целомудрие еврейских женщин, чья стыдливая холодность – проклятие отринутой их праотцами прекрасно-распутной, властно-похотливой богини Астарты.

Я не сказала тебе, что люблю тебя на всю жизнь. Неведомо, что ждет впереди. Ты будешь далеко, невозвратно далеко, будто мы умерли, и в другой жизни может возникнуть какой-то мужчина. Не ты! Он никогда не займет твоего места.

Ибо любовь к тебе мне и самой совсем непонятна. Это морок, мана, сладкий блазн, долгое наваждение, радостное омрачение ума, истекающий мираж.

Спасибо тебе, любимый! Спасибо за все. Я не плачу...

– Ула, любимая, что с тобой? Что случилось?

Я видела перед собой его испуганные глаза, хотела успокоить его и – не могла, потому что сердцем чувствовала: мы обрушились в бездну.

– Ничего, Алешенька, все в порядке. Я очень по тебе соскучилась. А мне сегодня неожиданно повезло – я заработала за пустяковую работенку сотню. Давай пропьем?

Алешка захохотал:

– Это ведь надо! Сегодня день сплошных удач! Поехали кутить!

Гнал Алешка свой старенький «москвичок» – «моську» на большой скорости. А я опустила стекло, высунула наружу голову, и жаркий плотный ветер дня сплошных удач заботливо-незаметно промокал на моем лице слезы.

Я душила их в себе, но они не слушались и текли быстро, безостановочно, и это были слезы о моем убитом отце и замученной матери, о всем нашем изрубленном и засохшем древе, это были слезы о никчемной, пропавшей жизни Алешки, я плакала о нашей обреченной любви, я плакала об отданном на поругание Бялике, я плакала об уходящей молодости и от предчувствия беды.

Я плакала по себе. Господи! Не оставляй меня!

22. Алешка. Дорога в казенный дом

Первого сентября я решил поехать в Минск. Почти месяц прошел с того жаркого денька, когда мы с Улой пропивали ее случайный заработок. И весь этот месяц меня не покидало странное ощущение осажденного в крепости, приготовившегося к бою и все-таки с мучительным томлением ждущего решительного штурма.

В этом душном грозном августе все изменилось. Старая жизнь сломалась незаметно и необратимо – в ней появилась цель, и бремя достижения этой цели было мне тягостно и в то же время – вожделенно.

Целыми ночами я лежал рядом с Улой, смотрел в ее тонкое и резкое лицо, и сердце мое разрывала небывалая нежность, и душила меня острая горечь злого предчувствия.

Немые зарницы, как вспышки ослепительного страха, полосовали в окне квадратный лоскут неба, пролетели с шорохом короткие дожди, тяжело вздыхали на улице старые тополя, и я слышал, как нервные рывки ветра сдирали с них листья и гнали по асфальту с бумажным шуршанием.

На переломе ночи становилось холодно, я заползал под одеяло, прижимался теснее к Уле и начинал тонко, прозрачно дремать, угревшись от прикосновения к ее теплой спине, округлой мягкой попке, к гладким длинным ногам ее, которые она подворачивала под себя. Она даже спросонья не отталкивала меня – ледяного уличного утопленника, покрытого гусиной кожей озноба. Поворачивалась ко мне, не просыпаясь, клала свои ласковые ладони на мое лицо, а ноги зажимала шелковистыми бедрами, и сквозь текучую просинь неверного колышущегося сна мне казалось, что круглая неглубокая дырочка ее пупка соединена со мной живой пуповиной, что ее тепло ощутимо перетекает в меня, что мы – одно существо, мне продолжал сниться давний сон обо мне – еще не родившемся.

Во сне я надеялся, что не будет утра, что не настанет света, я не хотел думать ни о Михоэлсе, ни о Крутованове, ни о всей нашей мерзкой жизни. Мне мнилось, что мы с Улой где-то в избушке, в глухом заброшенном лесу, вокруг на сотни верст – ни живой души.

Мне не нужна больше литература, неинтересны книги, мне противны люди. Я не хочу всего этого.

Мне нужно, чтобы мы были одни.

И это была ловушка в тайной заданности моего дремотного оцепенения, потому что короткая небывалая радость покоя обрывалась ужасом – Ула пропадала. Я всхрапывал, удущенный каждый раз этим кошмаром, открывал глаза, и никогда, за все годы наши, не бывала она мне желаннее и слаже.

Я дотрагивался до тебя, и руки мои тряслись от твоей близости и моего огромного напряжения. Я погружался в твой жаркий сладостный мир, как в омут.

Микрокосм.

Что толлок я своим пестом в горячей бархатности твоего лона? Себя? Время? Или свою жизнь?

...ревел на форсаже мотор обезумевшего от скорости «моськи», взвизгивали испуганно на поворотах баллоны – я и сейчас мчался по Минскому шоссе, ничего не видя перед собой...

Что-то случилось с Улой. Не знаю что – не могу объяснить. Но что-то с ней произошло. Как будто у нее появился другой мужчина, и она жалеет меня, не решаясь бросить. Но это не мужчина, я уверен, я знаю наверняка.

...на обочине торчал огромный плакат «Скорость ограничена и контролируется вертолетами и радарамии». Я нажал сильнее акселератор и обогнал тяжелый трейлер. Все вранье, и это вранье. Никакие вертолеты здесь не летают, и радары не работают. Неподалеку от городков прячутся хитрые гаишники на обочинах и вымогают трешки у зазевавшихся шоферов. Вот тебе и все радары.

А мне надо быстрее в Минск...

В этот сумасшедший август в Уле вдруг заметно обозначились черты, которые я никогда не замечал раньше. Невероятная возбужденность, которая вдруг сменялась почти обморочным равнодушием ко всему. Как человек, собиравшийся на вокзал и обнаруживший вдруг, что его часы давно стоят.

Нежная, любимая, близкая – я вижу, что ты незаметно уходишь от меня.

...перед поворотом на Рузу заправил на бензоколонке машину и рванул дальше по пустынному шоссе. Справа и слева мелькали занесенные на каменные постаменты самолеты и танки – одинаковые, равнодушные памятники чужим страданиям. Те, кто ставил эти фабричные памятники, не убивался сердцем о тех, кто лежал под ними. Он выполнял мероприятие по увековечению памяти павших героев.

Павшие герои – вы такие же безымянные и забытые, как те, кого убили в Минске и чьи зыбкие несуществующие следы я надеюсь разыскать. Я корыстный следопыт. Я хочу умом сыскать Истину, чтобы сердцем вернуть себе Правду...

Ула попросила меня пойти с ней в синагогу. Я очень удивился, но согласился. «Зачем это тебе?» – спросил я только. «Мне нужно», – коротко ответила Ула. Не было праздника, и службы никакой не было. Несколько старых евреев бесшумно сновали в полутемном храме, здесь было прохладно и неторжественно. Ула строго сказала: «Подожди меня здесь» – и пошла куда-то. Я стоял, привалившись к гладкой каменной стене, рассеянно рассматривал аскетически-суровое убранство синагоги, воздетое к небу семисвечье их священного светильника, тяжелые деревянные лавки, похожие в неверных квадратах верхнего серого света на таинственные лари, согбенные ряды букв на стенных надписях, сомкнутые треугольники Давидовых щитов.

Откуда-то сбоку появился цивилизованного вида человек – он был разительно не похож своей осанкой, роговыми очками, начальственным экстерьером на тихих, старых, замшелых, с опу-

ценными головами людей, обретавшихся в синагоге. Негромко, но очень резко, со скрипучей твердостью командирского голоса он гаркнул что-то по-еврейски, и все находившиеся в его поле зрения изменили свой первоначальный, зачем-то намеченный маршрут и, суетливо семеня непослушными старыми ногами, побежали по углам, как тусклые, бурые мыши. Синагогальный командир пожевал строго губами, повернулся ко мне вполборота, и я увидел в неярком отсвете косога луча на его щеке круглую коричневую родинку, из которой рос пучок рыжеватых волос, длинных, словно хипповый ус.

И по этой родинке с длинным пучком волос, похожих на ненормальный ус, неуместно проросший из середины щеки, я сразу вспомнил его.

Эх, жалко, что я не пошел по папаныкиным стопам – из меня со временем получился бы подходящий шпион. Я ведь могу узнать в синагоге человека, которого видел незапамятно давно – я был еще ребенком.

Я видел его у папаныки в кабинете. И домой он пару раз к нам приходил – еще в Вильнюсе. Мое детское воображение так поразил этот сумасшедший ус на щеке, что я запомнил даже его фамилию – Михайлов. Он давал мне несильно подергать за ус на щеке и на папаныкины насмешки смущенно отвечал: «Это мой талисман, его нельзя сбривать – удача пропадет». Наверное, моему папаныке была зачем-то очень нужна удача Михайлова, иначе – я-то хорошо знаю его нрав – обязательно приказал бы сбрить этот удивительный ус на щеке.

Михайлов был старший лейтенант. Это я помню наверняка – разбирать звездочки на погонах я умел еще до школы.

Видно, странная удача вела хозяина удивительного бородавочного уса на щеке, коли он столько лет спустя командовал старыми евреями в синагоге.

Он шел вдоль стены – мимо меня, и, пропустив его на шаг вперед, я из озорства сказал тихо и отчетливо:

– Старший лейтенант Михайлов!

Он не вздрогнул, его просто понесло чуть в сторону, как автомобиль с неисправными тормозами, но плавно остановился и голову поворачивал медленно налево, чтобы успеть рассмотреть мое отражение в полированной мраморной стене. Потом взглянул на меня в упор и твердо сказал:

– Моя фамилия Михайлович. Кто вы такой?

– Я Алексей Епанчин. Помните, я вас дергал за ус? Давно это было...

За стеклами очков вокруг глаз у него была темная морщинистая кожа, будто опалившаяся от долгого яростного полыхания буравивших меня зрачков. Глазницы были велики для раскаленных глаз, подозрительно рассматривавших меня из глубоких нор в этом крепком сухом черепе.

– Не знаю никакого Епанчина, – влепил он, как резолюцию отпечатал. – И никогда усов не носил. Ни давно, ни сейчас...

И в яростном блеске притаившихся в провале коричнево-черных его зрачков мелькнуло торжество и презрение.

Он носил свой бородавочный ус как приманку для дураков – все рассматривали это диковинное украшение, а он тем временем из бездонных колодцев выгоревших глазниц успевал разглядеть тебя всего.

Он был уже не Михайлов, а Михайлович, и, наверное, не старший лейтенант. Он был на службе. И всем своим видом демонстрировал мне, что я своими дурацкими шутками и нелепыми воспоминаниями чуть не расколол его в нелегалке.

Он повернулся, чтобы уходить, но все-таки задержался и сказал мне:

– А вам здесь, молодой человек, явно нечего делать. Это все-таки храм Божий, надо уважать чувства верующих...

И пошел.

Ула похлопала меня сзади по плечу, спросила встревоженно:

– Ты о чем с ним говорил?

– Ни о чем, – засмеялся я.

– Это габе – староста синагоги. Его здесь все боятся...

– Неплохого выбрали себе старосту евреи! – захохотал я откровенно.

– Его не выбирают. Его назначает совет по религии...

– Ну, это крепкий религиозный боец! Он раньше у моего папаньки служил.

Ула скривилась, как от мучительной боли, пробормотала сквозь зубы:

– Как метастазы – всюду проросли...

Мы вышли на улицу, сели в «москву», я потихоньку тронулся с места, взглянув в обзорное зеркальце, и увидел наведенную мне в затылок двустволку выжженных глазниц в черном чехле роговых очков.

...я мчался по шоссе, и железно-масляный гул мотора, упругое бухтенье резиновых колес по серой ленте асфальта, свист ветра в боковом окне убаюкивал меня. Мне не хотелось спать, это дрема в отчетливой яви. Я чувствовал свое движение.

Этот бешеный гон по узкому шоссе требовал такого внимания, что я невольно отключался от всех тех дум, событий и волнений, что перетурсучили мою жизнь в минувший грозной душный август.

Я резал носы попутным грузовикам, отшатывала мой валкий «москвич» встречная воздушная волна от беззвучно и страшно надвигающихся грузовиков международных перевозок. Я проскакивал в узкие щели, обгонял, и в этом бесцельном ралли, где на финише меня ждали только тени умерших, я надеялся найти успокоение и отдых от неутомимого мучителя, неустанного моего погонщика – страха.

Во мне зрела уверенность, что я теряю Улу. Как я могу удержать ее? Что я могу предложить ей!

Я хотел, чтобы скорость вырвала меня из воспоминаний. Мелькали, изматывали душу своей безнадежной красноватоглинистой пустотой сиротские поля.

На этой трассе нет жилья, на сотни километров нет буфета, лишь машинный разор, шоферская суета и мат, горклый бензиновый смрад на редких колонках.

Нет жилья, нет людей. Только стрелки боковых указателей – до деревни столько-то, до города столько-то. Они все в стороне.

Я мчался по стратегической магистрали. На ней нет городов, деревень, людей. Они в стороне. Люди вообще в стороне от стратегических путей.

Всех своих людей я оставил позади. Обычные неведомые мне люди, почему-то навек застрявшие в своих деревнях в стороне от магистрали, – они побоку. Впереди – тени...

Я уехал из своей квартиры, объятый счастьем, огромным и пугающим, как пожар. В этом разлагающемся жилище, уже отмеченном печатью распада и разрухи, обреченном на расплыв и расплев, где все было тлен, гниль, прель – в нем пышно запылялся мираж душевного успокоения и надежды.

Нинка на третий день работы загуляла, загудела, пропила всю выручку за проданные эскимо и вафельные стаканчики и больше уже на работу не выходила. И была довольна. «Раньше жила и сейчас проживу», – весело сказала она мне.

Иван Людвигович Лубо ходит на службу. Как всякая революция, это событие повергло их семью в голод, хаос и внутреннюю вражду – его жена Соня не успевает купить продуктов, не умеет жарить котлет, некому следить за тем, чтобы девочки вовремя расстегивали кальсонные пуговицы и вышибали гаммы из разошедшегося пиандроса, все недовольны, но, как при каждой революции, они надеются на временность этих трудностей, которые, я не сомневаюсь, не кончатся никогда.

Довбинштейнам разрешили выезд. Измученные старческими немощами, ошалевшие от волнения, бесконечных хлопот, неисчислимых запретов, они с животной методичностью выполняли все строжайшие предписания по оформлению отъезда, и вид у них был людей задерганных и замученных насмерть, и не радовались они вслух не только из опасений проявить свою нелояльность к бывшей строгой родине. Михаил Маркович шепнул мне в коридоре – коротко, тихо, затравленно: «Алешенька, у меня нет сил больше жить...»

Когда я уходил из дома, приехал грузовик – забирать на таможенную вещь Довбинштейнов. К ним привязался с ножом к горлу Евстигнеев, он требовал, чтобы они по пути захватили в комиссионный магазин его ореховый сервант. Довбинштейны испуганно отказывались, слабо возражая, что мебельный комиссионный магазин совсем не по пути, а грузчики и так матерятся, сердятся и грозятся уехать. Но главным образом они боялись, что Агнесса вернется от своей сестры раньше, чем они покинут пределы нашей отчизны, и объявит их сообщниками Евстигнеева. Дело в том, что за время отдыха Агнессы наш стукач-общественник сорвался с постромков. Загулял и запил.

Если бы в этот тягостно душный август я был занят не своими делами, а писал полицейский роман, то передо мной была бы готовая модель поведения ждущего возмездия расстратчика. Не найдя спрятанных облигаций, Евстигнеев пропил оставленные ему женой деньги. Потом он стал выносить из дома и продавать вещи. Сердце его теснил ужас неминуемой страшной расправы, но хмельной боевитый ум склерозно подскрипывал – за восемь бед один ответ. Теперь он дошел до распродажи мебели. Он кричал на испуганных Довбинштейнов, он требовал отгрузки своего серванта, доказывая, что они не подохнут, если переплатят грузчикам за доставку в магазин его серванта лишнюю десятку. «Вам все равно здесь уже деньги ни к чему», – доказывал он трясущимся от страха старикам, которые находили в себе силы сопротивляться только в предвидении еще большего страха перед Агнессой.

Увидев меня, он притих немного, но все-таки сказал искренне:

– Жаль, конечно, что вас выпускают. В лагеря бы вас лучше, изменников! – И мне назидательно сказал: – Запомни, Алексей Захарыч, – все они предатели! Жид крещеный, что конь леченый, что вор прощенный...

... я мчался по шоссе, пустынной военной магистрали какой-то удивительной стратегии, вслушивался в яростный клекот поршней, дробный гул клапанов, смотрел на стрелки указателей съездов к далеким деревням живущих побоку людей, и в памяти отслаивались грустные названия поселений безрадостно живущих обитателей – Осинторф, Шеменаиха, Новозономическое, Застенки...

Через двадцать километров – Минск. Там – тени.

23. Ула. Звонок

Господи, как все мы разъединены, как непроницаемо разобщены мы в этой жизни! Как ничего не знаем о происходящем вокруг!

Я знала, что многие евреи в последние годы поехали отсюда на Родину. Но все это было от меня далеко, отчужденно и страшно. Кому-то разрешили, кого-то держали по несколько лет. Но никаких подробностей я не знала, потому что неужажаящему еврею общаться с уезжающим нельзя – за это могут отнять тридцать один рубль в получку, принципиально изменить способ существования белковых тел и разрушить дотла твой жалкий обмен веществ. Уезжающий еврей – сионист, изменник, прокаженный.

В бесконечно давние поры антисемиты Манефон, Лисимах, Апион, Аполоний Молон – историки, реторы, писатели античного мира – утверждали, что исход из Египта был не бегство от рабства к свободе и достоинству, а изгнанием прокаженных из счастливой и благополучной земли Аль-Кеме.

Ничего не изменилось. Все повторяется. По-прежнему каждый уезжающий – прокаженный, и только за общение с ними можно угодить в лепрозорий, благо наши иммунологи совершили неслыханное открытие о психиатрической природе возникновения проказы несогласия и стремления к воле.

Наши прокаженные знают, что они вне закона, что они на полулегальном положении, что никто не защитит их от произвола и насилия, и потому сидят они по норам тихо, стараясь не появляться на людях, вождельно дожидаясь заветного письма с сообщением, что Черное море расступилось для них.

Никто еще не опроверг закона сохранения энергии. Не исчезает энергия света, тепла и электричества – она лишь превращается в новые формы. А куда же делась неисчислимая энергия боли, стыда и страха миллионов людей? Пропала? Исчезла? Ее похоронили?

Но ведь она сохраняется количественно? Она же вечна? Она же неуничтожима?

Она превратилась.

Ее не измеришь в ваггах, джоулях, люксах.

Она растворена в людях. Безграничная энергия зла и безверия.

Никто не в силах подсчитать ее запасы, она не программируется для компьютера, да и какая счетная машина смогла бы дать ответ по формуле высшей математики страдания, где десятки лет надо было перемножить на миллионы замученных, прибавить многие миллионы потерпевших, разделить на бессильный гнев, возвести в куб непреходящего ужаса, взять интеграл в пределе от разоренного неграмотного крестьянина до убитого академика, снова возвести в квадрат бесконечной нищеты, вычесть все права и возможности, извлечь корень смысла жизни, продифференцировать по униженности, покорности, смирению, еще раз разделить на состояние всеобщего похмелья, вывести постоянную миллиардов пролитых слез и представить весь народ стройными логарифмическими рядами бессмысленных цифр статистики.

Высшая математика страдания.

Бесчеловечная энергия ненависти. Ее испепеляющее ужасное пламя пока под спудом. Тоненькие струйки дыма от нее прорываются яростными перебранками в автобусе, осатанелой грызней в очередях, бесцельными мрачными интригами на службе, всеобщим усталым озлоблением, беспричинной, необъясненной себе самим неприязнью ко всем другим народам, никогда не сходящим с лица выражением озабоченности, подозрительности, досады.

Люди измучены растворенной в них энергией ненависти, ее тяжкое бремя обессилило их. Они неосознанно мечтают освободиться от нее. И однажды пламя этой ненависти вспыхнет, затмив солнце своим неистовым полыханием. Придет умытая кровью злоба и с криком кинется на людей. История людской жестокости померкнет, ибо энергия ненависти не переходит в другие формы, пока не выжжет все дотла. Обиталище этой неслыханной энергии станет пустыней.

Конец света. Наверное, это и будет Армагеддон.

Этот великий ужас всеобщего уничтожения дал мне силы и решимость стать прокаженной.

Еще ни один человек не знал, что я прокаженная, но мои пальцы были сведены судорогой ужаса – первым симптомом начавшейся болезни, когда я набирала номер междугородной телефонной станции и дрогнувшим голосом попросила телефонистку заказать мне разговор с городом Реховот, государство Израиль, абонент 436–512.

«Да, господина Симона Гинзбурга. Да, девушка, пожалуйста, на двадцать часов. По московскому времени? Спасибо...»

Я сидела у телефона, механически разглаживая письмо, уже старое, истершееся, от моего двоюродного брата Семена, слесаря с золотыми руками, сына расстрелянного в Биробиджане дяди Мордухая.

Несколько лет назад мы стояли, обнявшись с Семеном в аэропорту, мы плакали, и этот незнакомый мне человек со стальными сизыми зубами говорил мне: «Приезжай, девочка, сестренка, для тебя всегда найдется кров и кусок хлеба».

Спустя пару месяцев пришло от него письмо – он устроился механиком в университетскую лабораторию, был чем-то доволен, чем-то озабочен и снова звал к себе. Но тогда я не знала еще закона сохранения ненависти – страх перед проказой был больше предстоящей гека-томбы.

Я побоялась даже ответить – я понимала, что это глупость, что факт наличия родственников за границей уже зарегистрирован и осел в бездонных досье Пантелеймона Карповича Педуса до первого потребного случая. Но страх перед проказой был огромен, я боялась, что эпидемиологи в околышах могут отнять еще до появления пятен на лбу и бурых язв мое достоинство – тридцать один рубль в получку, Хаима-Нахмана Бялика, разлучить с Алешкой и поместить в лепрозорий.

Я не писала тогда письма Семену – я еще не понимала фундаментальности двух основных законов нашей жизни – Всеобщего Абсурда и Сохранения Ненависти.

А теперь, превозмогши свой животный ужас, лимфатический страх, костомозговую боязнь, внутриклеточный страх перед проказой, я сидела перед телефоном и ждала звонка, прерывистого электрического сигнала по тоненькому проводку, уходящему куда-то далеко, через океанскую толщу над бездной моей зараженной проказой Атлантиды.

И потом я не могла понять, почему так ясно, так отчетливо я слышу в трубке голос Семена, когда нас разделяют и тысячи верст, и тысячи лет. Он – дома. А я?

Где я? Это чужбина? Работный дом? Вражеский полон? Концлагерь? Нищенский приют? Мне так страшно здесь быть одной... Через стену ломится паралитик, разрушая бетон шарами радиоволн... Растоптали Хаима Бялика... Алешка отправился на поиски теней... Мне страшно, я замурована на десятом этаже дома в городе Атлантиде, залитом мертвой водой безвременья... Кипит, как магма, под тонкой корочкой багровая энергия ненависти... Москва – Третий Рим, а четвертому – не бывать... Это разве вера? Это разве крик надежды?... Это вопль – предупреждение об испепеляющей мощи вырвавшейся на свободу энергии ненависти, стыда и страха...

– Да-да! Семен! Я тебя хорошо слышу! Да! Я здорова! – быстро говорила я в микрофон, понимая, что за несколько лет он уже забыл симптомы проказы. – Да, я жду от тебя вестей... Да, правильно, да... Да, надумала, решила...

А-а, пропадите вы все пропадом! Все равно все разговоры с заграницей прослушиваются и записываются на магнитофон! Пускай знают – да, у меня проказа! Я не хочу больше жить!

– Сеня! Сеня! Мне нужно приглашение! Да-да! Вызов! Нет, без вызова не принимают заявление в ОВИР! Мне срочно нужен...

Тинь! Тинь! – и разговор оборвался. Лопнула ниточка, связывавшая меня с поверхностью. Я все держала в руках трубку – немую, мертвую, как деревяшка. И ее непривычная беззвучность тоже пугала. Утонула в мертвой воде. Прошло несколько минут, и в трубке всплыл тяжелый басовитый гудок зуммера, круги разошлись, вода безвременья сомкнулась.

Я сожгла за собой мосты. Проказа никогда не излечивается. Не забывается. И не прощается.

24. Алешка. Театр

Подарив администраторше гостиницы «Минск» десять рублей на память, я преодолел вычеканенную на латуни табличку «Мест нет» и получил маленький угловой номер на четвертом этаже.

Чемоданишко сунул в шкаф, пиджак бросил на пол и рухнул на кровать.

У меня не было сил шевельнуться. Окажись желтозубая гостиничная администраторша бескорыстнее или подозрительнее, не прими она моей взятки, я попросту улегуся бы в вестибюле...

Правда от Бога, а Истина от ума, но постигается она только оборотнями – единственными действующими лицами нашего времени. Мне не случалось раньше сталкиваться с этим, но сегодня я понял, почему главным героем литературы стал перевертыш, оборотень, человек с чужим лицом. Любую задачу можно решить только обманом, только выдавая себя за кого-то другого и всячески маскируя действительную цель...

Я приехал утром в театр голодный и невыспавшийся в мотеле – ночью было очень холодно в фанерном домике, одеяло коротко, по очереди зябли то ноги, то плечи.

Начальница кадров – глиняная рыхлая баба с серой жестяной прической, будто сваренной из старого корыта, смотрела на меня безразлично, редко мигала набрякшими веками, которые смыкались с тяжелыми синеватыми мешками под глазами, и казалось, будто в тебя уперто два тупых слабых кулака. Наверное, больные почки.

Эта женщина могла поверить только грубой, наглой лжи. Я протянул ей свое старое тасовское удостоверение корреспондента отдела информации для заграницы. В нем была масса добродетелей. Золотой герб на красной обложке и надпись: «ТАСС при Совете Министров СССР» – делали меня сразу в ее глазах лицом очень официальным. Во-вторых, корреспондент отдела информации для заграницы наверняка приехал не за фельетоном и не критиканство в газете разводить, а обязательно хвалить – загранице сообщают только об успехах. В-третьих, там было указано, что постановлением СНК СССР от какого-то там числа 1938 года владелец этой книжки имеет право пользоваться телефонной и телеграфной связью по первой правительственной категории, что делало меня лицом, в какой-то мере присным правительству. Мое старое удостоверение – вычеркнутое, давно аннулированное в тайных книгах кадровиков ТАССа – здесь было действительным.

Кадровица вычитывала каждую букву в красной книжечке, она вперилась в нее своими синюшными буркалами, похожими на украинские сливы, она водила ее перед носом, словно нюхала и намеревалась лизнуть, чтобы попробовать на вкус. И хотя я был спокоен за книжку – она была проверенная, настоящая, – все равно под ложечкой пронзительно засосала пиявка страха. На том стоим.

Кадровица дочитала книжечку, лизать не стала, а улыбнулась бледными бескровными деснами.

– Ольга Афанасьевна, – протянула она мне сухую шершавую лодочку ладошки.

Спектакль притворщичества начался. Пролог прошел успешно.

Я объяснил, что приехал для сбора материала на большую корреспонденцию, а может быть, выйдет и несколько статей, но они все должны быть объединены общей темой – преемственность поколений, сохранение старых театральных традиций, их развитие современной творческой молодежью. Сейчас меня интересуют ветераны культурного фронта – в первую очередь. Разрешите, Ольга Афанасьевна, я для начала запишу вашу фамилию, имя, отчество...

Она смотрела, как я вывожу в блокноте ее имя, и таяла от предвкушения завтрашней славы, и скромно бормотала, что, может быть, ее и не надо упоминать, она ведь хоть и немало сил в театре оставила, но все-таки она не в полном смысле ветеран культурного фронта, поскольку в театре она три года, а до этого служила в жилищно-коммунальном управлении...

Ну что же – если все вокруг ложь, корысть и беспамятство, то мне больше не из чего строить правду.

Если прав старый дуралей Лубо, то путь к Правде, данной Богом, надо мостить истиной злоумия и лжи. У меня других стройматериалов нет...

...Я открыл глаза и не смог сообразить сразу – спал ли я сейчас, неудобно лежа на жестком, буграми и ямами продавленном гостиничном матрасе?

В номере было полутемно – только потолок слегка подсвечивался сиренево-синими бликами из окон напротив. Моя комната выходила во внутренний колодец здания, на дне которого был ресторан, откуда поднимались волны запаха жареного лука и лежалого, несвежего мяса. И грохотала музыка. Когда джаз ненадолго умолкал, ко мне взмывали клочья разорванных пьяных голосов, надрывно вопивших «Дэ ж ты, дывчына?»... Обрывки песен снова сминал, укачивал, расплющивал джаз, бесшумно текли вверх луковые клубы, и в первой же паузе недобитые пьяные орали «Стою на росстанях»... Я хотел есть, но я слишком устал...

...Кадровица Ольга Афанасьевна, согреваемая мечтой о газетной известности, старалась на совесть. Она показывала мне старые афиши, альбомы с программками, личные дела творческих кадров. Мы пробирались сквозь время. Вспять. Меня интересовал спектакль, сыгранный 13 января 1948 года, – пьеса «Константин Заслонов». Героическая драма о белорусских партизанах, представленная на Сталинскую премию. Этот спектакль приехал принимать Михоэлс.

– В своем очерке я отведу вам, Ольга Афанасьевна, роль хранительницы творческого наследия прежних мастеров, – сказал я с чувством, заметив первые признаки усталости в отечном лице кадровицы. Она часто держалась за поясницу. Наверняка болеет почками.

Бездонный и бесконечный многоэтажный лабиринт лжи. Меня не интересовали достижения культурной жизни, мне наплевать на преемственность поколений, я прятался за недействительным удостоверением, в котором все написанное – чепуха, я был любезен и обаятелен с противной мне бабой, и все это происходило в выдуманном мире театра, в самом его абсурдном уголке – отделе кадров.

Но это полноводное море вранья, волны притворства, пена вымысла, брызги нелепых выдумок, плотный туман легенды скрывали единственно реальное – людей, которые могли знать, как убили тридцать лет назад двух евреев из Москвы.

И у самого края всей этой небыли стояла на тверди моей жизни Ула.

– ...всего в группе было тогда пятьдесят восемь человек, вместе с оркестром, – объясняла мне кадровица.

Ей бы не о газетах думать, а лечь в урологическую клинику. Но она хотела, чтобы в газетах прочли о ней как хранительнице творческого наследия прежних мастеров сцены. Никто не видит себя со стороны; ей и в голову не приходило – будь я настоящим корреспондентом, я не заглянул бы в ее заплесневелую нору, а получил все интересующее меня у главного режиссера, который еще больше хочет сам быть в газете хранителем и продолжателем творческого наследия...

– ...четверо из ветеранов, которые были в театре после войны, работают и сейчас, – бубнила кадровица, и я ей нравился наверняка своей добросовестностью, я записывал все имена. – А остальные... Один бог весть, как распорядилась ими судьба. Одни поразъехались, другие умерли, некоторые ушли в другие театры...

Она сделала паузу, посмотрела по сторонам, чтобы убедиться – никого посторонних при нашем разговоре допущенных, осведомленных, ответственных лиц не присутствует? И добавила значительно:

– А кое-кто и в заключении побывал... Я это по документам знаю...

Четыре человека живы. Четверо, которые видели Соломона за несколько часов или несколько минут до смерти.

Собственно, трое. Актриса Кругерская тяжело больна. Я сказал кадровице, что могу сходить к ветеранше сцены домой. Ольга Афанасьевна поерзала, потом затейливо объяснила, что Кругерская после инсульта своих не узнает.

Актёр Стефаниди, капельдинер Анисимов, флейтист театрального оркестра Шик. Флейтиста я для себя выделил особо. Флейтист Наум Абрамович – советский гражданин еврейской национальности. Для него приезд великого еврейского комедианта был наверняка гораздо большим событием, чем для двух других ветеранов. Он должен был запомнить гораздо больше

их, потому что, как говорят евреи, – «ему это болело». И решил говорить с Шиком напоследок...

Я снова вынырнул из своего сна-забытья, похожего на обморок. Сейчас я спал наверняка, все повторялось для меня во сне, как киносъёмочный дубль. Я искал во сне новые решения, а может быть, другой подход. Я подумал о том, что Михоэлса, судя по сохранившимся обрывкам записных книжек, тоже всегда волновали таинства сна, удивительные процессы, текущие в дремотном подсознании. В одном месте у него написано: «Интуиция есть сокращенный прыжок познания».

Я встал с кровати, попил невкусной стоялой воды прямо из графина, есть захотелось мучительно, но не было сил спуститься в ресторан. А главное – не было сил смотреть на эти красные рожи, которые сейчас дружно подпевали оркестру:

– Гелталах! Как я люблю вас,
Мои денежки...

Это был, видимо, модный здесь шлягер, потому что уж очень истоиво орали десятки здоровых глоток о своей нежной привязанности к денежкам.

Что же, нормально. Все нормально. Можно спеть и о денежках. Никто этого не формулировал, но все знают, что мы дожили до времен, когда ничего не стыдно.

Ничего не стыдно. Стыдно только не иметь денег.

Я достал из чемодана свой НЗ – бутылку водки и лимон. Ножа не было, я сковырнул зубами пробку, хватил длинный обжигающе-радостный глоток и откусил кусок лимона.

Внутри все согрелось, на пустой желудок спирт действовал быстро, хмель потек по каждой клетке, как огонь по бересте. Он добавил мне сил. Сейчас я усну, надо только раздеться.

Рухнул в койку, и вялые бесформенные мысли поползли – тяжелые, забитые, измученные, как цирковые звери. Я вспоминал все, что мне пришлось прочитать в статьях о Соломоне, и все, что написал он сам.

Интуиция – сокращенный прыжок познания.

Может быть, я избрал неправильную методику поиска? Я собираю частности, ищу детали, пытаюсь найти статистов этого спектакля крови и убийства. Надо найти центральную идею этой драмы, понять образующие силы этого кровавого представления.

Может быть, правильнее идти от личности Михоэлса?

Может быть, есть какое-то объяснение в нем самом?

За два года до смерти, выступая перед молодыми режиссерами, Соломон сказал очень точные слова: «Судьба человека – цепь событий, образующих линию борьбы, побед и поражений, – раскрывает идею данной жизни, ее урок».

ЕЕ УРОК.

Какой урок должен извлечь я из судьбы Михоэлса?

Комедиант огромного таланта, еврейский Чарли Чаплин, не получивший мирового признания. Его слова и признание внутри страны были абсолютными. Но страна была закрытой, и за границей его знали как общественного деятеля.

Громадного артиста убили как собаку. Но он ведь им был верен до конца?

Или я чего-то не знаю? А может быть, появились сомнения в его лояльности? С него ведь началось физическое избиение еврейской интеллигенции. Не понимаю я его урока!

Но понять это необходимо. Хранительная способность мозга забывать ненужное доведена у наших людей до биологической задачи. Нет памяти, и все!..

Я думал об этом еще днем, когда разговаривал в театральном буфете с актером Стефаниди и капельдинером Анисимовым. Я угощал их пивом, и они добросовестно напрягали память и сообщали мне палеонтологические анекдоты из сценической жизни, рассказывали

о житейских трудностях, об отсутствии в городе мяса, об интригах бездарностей, о грязных махинациях в очереди на получение жилья – главреж дает квартиры только своим друзьям и любовницам. О Михоэлсе актер Стефаниди помнил мало и смутно. Он только помнил, что его убили, причем связывал это по времени со смертью Сталина и понижением цен на селедку. «Я тогда с горя запил», – грустно сообщил он и добавил: «Жалко было – такой мужик громадный, с генеральским басом».

Он его совсем не помнил и врал мне, чтобы поддержать интересную беседу. Михоэлс был невысок и говорил мягким баритоном.

И капельдинер Анисимов все забыл. Единственно, что запомнилось ему, – как фотографировали Соломона в фойе. Специально приехал фотограф, и Михоэлса уговорили сфотографироваться с труппой и сделать несколько портретных снимков. Анисимов помогал фотографу, расставлял стулья, таскал софиты, и потом фотограф подарил ему один не очень качественный отпечаток. «Это как раз в день смерти и было, за несколько часов до спектакля, – сказал Анисимов. – Потом-то уж не до фотографий было».

Никаких групповых фотографий у кадровицы Ольги Афанасьевны я не видел.

– Любопытно посмотреть бы было на эти снимки, – сказал я. – Да где их сыщешь?

– Моя сохранилась, – невозмутимо сказал Анисимов. – Я ее как приколотил кнопками в нашей раздевалочке служебной, так она до сих пор и висит там. Никому не мешает.

Мы выпили еще по несколько стопок коньяка и подружились с Анисимовым на всю жизнь. И он подарил мне фотографию Михоэлса, отпечатанную за несколько часов до его смерти...

Я встал с кровати и вынул из чемодана папочку, раздернул молнию и добыл в туманный сумрак моего номера старый фотоснимок.

Внизу, в ресторане, оголтело ударил в тарелки оркестр, казалось, что не только посетители, но и лабухи уже напились до чертей. Залихватски вопил в микрофон певец, и дробно топотали каблуки.

Оц-тоц-перевертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-перевертоц, кушает компот,
Оц-тоц-перевертоц, и мечтает снова,
Оц-тоц-перевертоц, пережить налет...

Соломон, ты этого хотел? Ты ведь сам писал в газете «Правда»: «Народы России доказали всему миру превосходство над Библией и Богом». Ты так думаешь по-прежнему?

Блики света из окна скакали неяркими пятнами по тусклому пожелтевшему картону фотоснимка. Человек, приговоренный к смерти. Исполнение приговора – через семь часов. Но он еще не знает о приговоре.

Я смотрел внимательно на фотографию, и в меня холодом смерти вползала мысль, что я ошибаюсь.

Я смотрел на лицо Михоэлса, и мне все больше казалось, что он знает. Он знает о приговоре.

Неужели он знал?

Громадная голова. Роденовский размах. Возвышенный урод. Наклонная вертикаль лица увенчана тиарой высоченного лба и покоится на мощном фундаменте могучей и очень живой оттопыренной нижней губы. Крутой разлет бровей сходит в приплюснутый сильный нос борца. Но все это – только шелом, прикрытые, инженерные устройства для пары выпуклых, все понимающих, умно прищуренных глаз.

Они разные – глаза – на этом снимке. Левый смотрит вперед, он еще полон любопытства, надежды, вчерашней властности и силы. Правый – утомленно прикрыт, в нем всеведение и отрешенность.

Соломон всегда повторял актерам: «Глаза – это единственный кусочек „открытого“ мозга».

Пожелтевший кусочек картона с одним надорванным углом и ржавыми кружочками от старых кнопок. Что на нем – случайная гримаса комедианта? Или провидение своей судьбы? Или черта предела, за которой уже надо извлекать из этой судьбы урок?

Неужели ты уже все знал?

Осторожно положил фотографию на стол. Взял бутылку и сделал еще крепкий глоток из горлышка, сосал лимон. Надо понять Михоэлса в его последней части жизни, без этого не разобраться во всем произошедшем.

Надо заново продумать все, что известно о Михоэлсе.

Надо вновь прочесть то небольшое, что написано. Там должны быть какие-то намеки, недосказанности, все написанное надо читать как шифровку.

Все металось и плыло перед глазами, мой утлый номерок раскачивали волны диких криков из ресторана, всплески музыки, косо просвеченный сумрак слоился облаками – как сегодня днем вздымались клубы некрепкого душистого дыма из длинной прокуренной трубки Наума Абрамовича Шика. Он держал ее, словно флейту, прижимая поочередно к мундштуку толстые белые пальцы, и все время казалось, что со следующей затяжкой он выпустит не струю ватного дыма, а тремоло чистых высоких звуков.

Но трубка только тихо потрескивала, не в силах разразиться волшебным звуком, и окутывала Шика клубами прозрачно-серой завесы, будто скрывая его от моих надоедливых распросов.

Крупный, пышно-седой, насмешливо-ленивый, Шик говорил мне севшим стариковским голосом:

– Время сейчас такое, что никто ничем не дорожит. Если это только не наличные. В газете написано, что через могилу Иоганна Себастьяна Баха провели шоссе. А отвернуть немного в сторону им было кисло? Так?

Он смешно говорил – выкидывая из слов или вставляя по своему усмотрению мягкие звуки. А твердых знаков он, видимо, вообще не признавал.

– А раньше были другие времена? – спросил я. – Сахар слаще, погода лучше?

– Украинский сахар фирмы Бродского был-таки слаще, – засмеялся Шик. – Я ведь его помню. А теперь мы едим кубинский. Но у меня диабет, а камни гремят в пузыре, как медьяки в копилке, – меня лично это уже не гребьет. Так? Хотя имею я в виду другое...

– Я вас так и понял, Наум Абрамович, – заверил я. – Вы говорили о войне...

– Ну да... Как я вам уже говорил, до войны я работал в еврейском театре в Харькове...

– Простите, – перебил я, – значит я не понял. Вы сказали про работу в театре, но ведь еврейский театр был в Москве?

Шик выпустил дымовую завесу, грустно заперхал.

– Пхе! В Москве! В Москве был ГОСЕТ – главный еврейский театр страны. Нынешнее поколение уже не помнит, что до войны у нас было четырнадцать еврейских театров – в Белоруссии, на Украине, в больших русских городах. Их закрыли, наверное, в честь победы над фашизмом – другого объяснения у меня нет...

– Наверное, – кивнул я.

Шик не спеша продолжал:

– Сейчас мне шестьдесят пять лет, а летом сорок первого мне было двадцать семь, и в мае месяце меня взяли на военные сборы в лагеря. Так что на второй день войны я уже сидел

в окопах, а вернее говоря, бежал с остальными от немцев. А мои все остались в Харькове, так их всех там и убили.

Шик легко, по-стариковски вздохнул.

– А как вы в Минске оказались?

– Это уже после войны. Я ведь был совсем вольной птицей, ни кола, ни двора, ни семьи – ничего. Поехал в Москву – в ГОСЕТ, к Льву Михайловичу Пульверу. Он был у нас за главного – для евреев-музыкантов, я имею в виду. И композитор прекрасный, и аранжировщик, и дирижер замечательный. А главное – человек хороший. Выслушал он меня, повздыхал – рад бы, да сами еле держимся. И пристроил меня сюда. Так я здесь и застрял, вот до сих пор околачиваюсь...

– Женились, наверное? – подсказал я.

– Было, – засмеялся старик. – Дважды. Но первая жена пила. Вы слышали такое, чтобы еврейская женщина пила водку. И как пи-ла! Пришлось сбежать...

– А вторая? – полюбопытствовал я.

– Хорошая женщина. Светлая ей память. В прошлом году похоронил ее. И опять остался один. Вот так...

Я искренне посочувствовал ему – у старика был стереотип одинокого человека. В его легкости, в мягкой насмешливости была печаль разъединенности с людьми. Не от гордыни – мне угадывалась в нем мучительно преодолеваемая с юности застенчивость, прозрачно замаскированная под снисходительность.

– Наум Абрамович, вы начали рассказывать о сдаче спектакля «Константин Заслонов»...

Шик махнул рукой, зажег спичку, закурил погасшую трубку.

– По-моему, это была полная ерунда. Но его представили на Сталинскую премию, и тут началось! Как в том анекдоте – сначала шумиха, потом неразбериха, потом поиски виновных, затем наказание невиновных и, наконец, награждение непричастных. Ну, награждение – ладно. А наказали так, что не приведи Господь...

– В каком смысле? – осторожно спросил я.

– Так ведь Михоэлс как раз возглавлял ту самую комиссию из Москвы. Можно сказать, я чуть ли не последний видел его на этом свете... – И, будто застеснявшись своей нескромности, он жалобно усмехнулся извиняющимся смешком и ушел в уединенность своих воспоминаний.

Он наверняка курил трубку, чтобы прятаться от собеседника в клубах дыма. Оттуда, из-за маскирующей его завесы, сказал он стесненным голосом:

– Ах, какой добрый, хороший человек пропал... Я уже не говорю – какой артист... Великий таки артист был...

– А как это случилось?

– На них налетела машина... С ним был еще один человек. – Помолчал, побряхтел, недоверчиво покачал головой и добавил, словно себе объяснил: – Шли два человека по тротуару, и вдруг на них налетел грузовик. На тебе!

– Как же это вышло – такой дорогой гость, такой важный человек ходил пешком?

– Ах, что вы говорите! Его везде возила наша «эмка» – директорская. Но тут он решил погулять! Ему захотелось свежего воздуха! Он ведь шел в гости – это где-то рядом... Не захоти он свежего воздуха, может быть, ничего бы и не случилось! – Старик нервно пробежал пальцами по длинному мундштуку, и, если бы трубка имела голос, я бы, наверное, услышал голос тревоги, тонкий пронзительный сигнал беды, испуганный крик исчерпанной судьбы, потому что Шик неожиданно закончил: – А может быть, и «эмка» не увезла его от смерти...

Это был контрапункт. В зыбкости старых воспоминаний, в расплывчатости пересказа давних событий, мутной воде навсегда истаявшей драмы – я ощутил твердое дно факта. Старик что-то знает. Может быть, я иду тем же пересохшим руслом, по которому еще свежим

следом прошел тридцать лет назад Шейнин? У писателей, даже если один из них работает в прокуратуре, сходная система пространственного воображения.

– Да-а... Ужасная история, – тягуче бормотал я. – Все понятно.

Шик вынырнул из табачного облака, как из укрытия, и в его голосе было полно твердых знаков:

– Вам понятно? А мне – нет! По-моему, там все было непонятно!

– Это и неудивительно! – вдруг жестко сказал я. – Вы знаете, но молчите, я молчу, потому что не знаю, как он погиб. А мои дети просто не будут знать, что он жил на свете!

Старик с интересом посмотрел на меня, я взял его большую теплую ладонь обеими руками и прижал к своей груди:

– Наум Абрамович! Поверьте мне – я честный человек. Я не стукач, я не провокатор. Мне просто надоело ничего не знать. Человеку, чтобы жить, надо хоть кое-что знать. Нельзя всю жизнь провести в завязанном мешке. Нельзя бояться стен – мы сами превращаемся в камень...

Старый театральный человек Наум Абрамович Шик не мог не оценить широкой артистичности моего жеста. Он ответил на мое пожатие. И, отогнав рукой серый слоистый дым, он сказал мне с горечью, искренностью и болью:

– Мальчик мой! Те, кто знал правду об этой истории, давно превратились в прах и пепел! За несколько дней в театре посадили четверых самых любопытных, и остальные откусили языки. Все боялись друг друга, делали вид, будто ничего не случилось – никто не приезжал, не было премьеры, никого не убивали. Даже спектакль, представленный на Сталинскую премию, сразу же сняли с репертуара. Ничего не было...

– Но ведь в театре кто-то с кем-то дружил, кто-то что-то рассказывал...

– Ах, дорогой мой! Ви не пережили этого! Ви не в состоянии понять, что люди с тех времен навсегда перестали верить друг другу! Прошло, наверное, пятнадцать лет, уже Хрущев викинул Сталина из Мавзолея, и только тогда мой сосед, можно сказать приятель, Ванька Гуринович рассказал мне, что его высадили из-за руля...

– Из-за какого руля? – удивился я.

– Я же вам говорил, что Михоэлса и его товарища возили на директорской «эмке», – нетерпеливо махнул рукой Шик. – Такь шофером этой «эмки» был как раз Иван Гуринович, мы с ним жили в одной квартире. Он меня часто подкидывал в театр. Так в тот вечер он привез Михоэлса в театр, высадил у служебного входа, и сразу же к нему подошли милиционер и двое в штатском: «Почему ездите за рулем в нетрезвом виде!» А надо вам сказать, что у Ивана было вирезано две трети желудка и он в рот ничего не брал из выпивки. Он начал спорить, доказывать, но, как у нас говорят, – обращайтесь до лампочки! Висадили его из-за руля, милиционер повел его в участок на проверку. Он кричит – мне народного артиста надо везти, а ему спокойно объясняют – без вас, пьяниц, справятся, отвезут и привезут, куда надо...

– И что с Гуриновичем стало?

– Ничего. В два часа ночи отпустили. Михоэлс уже был мертв...

– А где сейчас Гуринович?

– Где Гуринович? Давно уже на том свете! Наверняка с Михоэлсом встретились. Я думаю, Иван сказал ему спасибо за двадцать лишних лет на этой земле...

– Почему? Какая связь?

– Потому что Михоэлс был великий актер и замечательный режиссер. Рассеянным он не был – нет! И не заметить, что за рулем сидит другой человек, – не мог. Может быть, это мои выдумки – но я думаю, что именно поэтому он решил лучше идти пешком. Все-таки улица, люди ходят, ведь било всего одиннадцать часов...

– И вы думаете, что Гуриновича... – медленно стал спрашивать я.

– Я ничего не думаю, – отрезал Шик. – Я фантазирую. Но положить Гуриновича в уже разбитую машину – ничего не стоило. И выглядело бы лучше. Но Михоэлс пошел пешком...

Старые события захватили его, он утратил незаметно защитную скорлупу своей застенчивой отъединенности, он был во власти сильных воспоминаний, поднимавших его над собой.

– ...Мне говорили, что грузовик, который их раздавил, ехал очень медленно, – задумчиво, как четки, перебирал Шик потускневшие картиночки прошлого, черно-белые проекции, переводные отпечатки чьих-то рассказов. – Нет, грузовик не летел, знаете, как это бывает, сумасшедшим образом. Он медленно ехал и вдруг, ни с того ни с сего, завернул на тротуар и буквально впечатал их в стену дома...

– Это кто-нибудь видел? – нетерпеливо переспросил я.

– Конечно видели! Люди всегда видят. Но их научили верить своим ушам больше, чем своим глазам. Видели, как «студебеккер» дал потом задний ход, съехал на мостовую и вот тут уже помчался как пожарный...

– А номер? Номер никто не записал?

– Говорят, что записали, – мрачно усмехнулся Шик. – Кто-то видел, запомнил.

– А машину нашли?

– Нашли – не нашли. Иди проверь! Люди рассказывали, будто номер был покрашен фальшивый. Как это узнаешь? Люди шептали, в кулак бормотали... Один говорил, что их убили на улице Немига, другие – на углу Проточного переулка. Кто-то даже говорил, что Михоэлс и его товарищ видели этот грузовик, что они пытались убежать, спрятаться, укрыться, но он их догнал и вбил в стену...

М-да-те-с. История – первый сорт. Это тебе не любительские представления мафии. Госаппарат на подстраховке, тайная полиция на стреме.

– Наум Абрамович, а где эта улица – Немига?

– Да ведь это все здесь близко! Мы с вами на Ленинском проспекте, тогда он назывался проспект Сталина, идете в сторону вокзала – туда, где было еврейское гетто, и справа – Немига. А на нее выходит Проточный переулок. Но там почти ничего не осталось – все дома сносят под новые кварталы...

– А что там делал Соломон? К кому он мог идти ночью в гости?

Шик ответил не сразу, он пожевал губами, снова раскурил погасшую трубку, и пальцы его медленно прошли по мундштуку – они играли отступление, они звали память в обратный поход, они скорбели о давнем убиении безвинных, они оплакивали встарь разрушенный храм.

– Так... Он шел в гости, – тяжело вздохнул и уточнил: – Вернее, на минен. Вы не знаете, конечно, что такое минен?

Я покачал головой.

– Так я вам лучше расскажу по порядку. Когда закончился в театре спектакль, дали занавес, Михоэлс прошел за сцену. Мы, оркестранты, тоже поднялись – вы же понимаете, не каждый день удастся вблизи увидеть такую звезду... Хорошо. Он стоял, разговаривал с режиссером, шутил с актерами, смеялся, расспрашивал знакомых актеров о житье-бытье. Я, вы сами понимаете, человек маленький, кто я такой – флейтист, пхе! Так я стоял себе в стороне и просто смотрел на него во все глаза. Хорошо. Ну поговорили и стали расходиться...

Шик закашлялся, слезы выступили на его глазах. Он достал из кармана огромный носовой платок, утер глаза и неожиданно с отвращением бросил трубку на стол:

– Вы где-нибудь видели, чтобы человек таких лет, как я, курил будто паровоз? Если человек в своем уме... – И он снова закашлялся.

Я терпеливо ждал. Шик сделал руками несколько дыхательных движений, кашель утих, но он еще долго расхаживал по комнате, глубоко дыша и утирая глаза платком. Я воспользовался паузой и спросил:

– А тот его спутник, о котором вы говорили, тоже был с ним на сцене?

Шик закивал головой, откашлялся, заговорил наконец:

– Да, так вот... Стали расходиться, и тут я вижу: к нему подходит наш актер Орлов, был у нас такой, приличный человек, и артист неплохой, хотя и на вторых ролях. Вместе с Орловым – его родственник, я его и раньше видел, несчастный парень, вместо обеих рук – культишки, видно, на фронте потерял... Так... И они отзывают Михоэlsa немного в сторону и начинают с ним по-еврейски шушукаться. Я отошел – мало ли о чем людям надо поговорить? Но они проходили в это время как раз мимо меня, и я слышал, о чем они толковали. Только тут до меня дошло...

Шик подошел к столу, взял свою трубку, с сомнением посмотрел на нее. Я предложил:

– Не хотите сигарету, Наум Абрамович?

– Хочу, – кивнул Шик. – Но мало ли чего я хочу. Крепкий табак уже не по мне. Пусть будет это сено, по крайней мере, я к нему привык.

И он начал набивать трубку. Я терпеливо ждал.

– Дело в том, что за неделю до того у Орлова родился ребенок, – сказал Шик, не раскуривая трубку. – По нашему обычаю полагается делать брис, обрезание...

– Да-да, я слышал. Значит, родился мальчик?

Шик задумался.

– Знаете, это я вам точно не скажу... Что-то забыл... Но это не важно, если рождается девочка, делают брисице – тот же самый обряд, только без обрезания...

– Понятно.

– Так вот, для этого обряда требуется минен.

– Кажется, что-то вроде кворума?

– Абсолютно правильно, молодой человек, это молитвенное собрание из десяти мужчин. Но соль не в этом. После бриса устраивается праздник – выпивка, закуска, песни. Представляете, что для людей в те времена значил такой праздник, когда хлеб в каждой семье держали в отдельных мешочках и каждую крошку на весах взвешивали? Но ребенок – это благословение Господне, и родители ничего не жалели, лишь бы праздник получился как у людей.

Шик чиркнул спичкой, воспламенил свое сено.

– Так, Орлов и этот его родственник-калека пригласили Михоэlsa на минен. Они очень просили его, можно сказать, на коленях стояли... Потом, я знаю, многие наши обижались на Орлова – евреев в театре хватало, и все хотели попасть на праздник. Но он позвал только директора труппы... он уже тоже давно на том свете, царствие ему небесное, хороший был человек, хотя и тронутый немного... Да, так многие обиделись, но только не я, не-ет... Я понимал, что директор труппы – большой человек, податель хлеба, как его не позвать? Ну а про Михоэlsa и говорить нечего, такую величину за своим столом иметь – раз в сто лет может случиться, и то не всякому...

Я поднялся с кресла, прошелся по комнате. Шик продолжал неспешно:

– Михоэls посоветовался со своим товарищем, и они согласились. Орлов записал ему адрес, потом на словах стал объяснять, как к нему проехать... Потому что у Михоэlsa были еще какие-то дела в театре, а Орлов торопился обеспечить дома, чтобы все было в порядке. Так, все попрощались и ушли. Я тоже попрощался с Михоэlsом за руку и ушел. Я не знал, что вижу его в последний раз. А на другое утро уже все знали, какое случилось несчастье.

Я решил уточнить на всякий случай:

– Значит, к Орлову они так и не пришли? Это случилось по дороге туда?

– Да, конечно, – грустно сказал Шик. – Видно, не было суждено... Потом было следствие, приезжали большие следователи из Москвы, но так все и осталось.

Мне пришла на ум одна догадка, и я спросил:

– Наум Абрамович, а вас по этому делу допрашивали?

Шик покачал головой:

– Бог миловал. История, скажу вам откровенно, была темная, времена – вы, наверное, и не знаете – ох какие тяжелые... Попасть к ним на зуб... И я подумал, что Михоэлсу уже все равно не помогу... То будет лучше никому не говорить, что я слышал тот разговор и что он согласился прийти на минен... Тем более, что про это приглашение и без меня знали.

– Он ведь тоже ветеран, этот Орлов?

– В общем, конечно, он же работал в то время. Правда, его скоро уволили из театра по сокращению штатов.

– Может быть, поэтому я не встретил его фамилию в списке?

– Может быть, так, – равнодушно пожал плечами Шик. – Какое это сейчас уже имеет значение! Я встречал его потом пару раз в городе, так мельком. У меня после той истории осталось к нему неважное чувство. Мне и говорить-то с ним не хотелось...

– А жив он вообще? – выпалил я испуганно.

– Понятия не имею. Он ведь должен быть еще не старый человек... – помедлил и нерешительно добавил: – Если он прошел через те передраги. Жизнь тогда стояла и в базарный день медный грош...

Я спросил на всякий случай:

– Вы не помните, как его звали?

– Алик. Его называли Алик, хотя, по-моему, он был Арон – если не ошибаюсь. У нас ведь считается стыдно носить такое еврейское местечковое имя. – Шик грустно улыбнулся. – Я тоже был Николаем. Абрамом тогда просто обзывали. В любой очереди или трамвае говорили: «Ну ты, Абрам!» И будь ты сто раз Шлоймой, ты был все равно Абрам. Вот и я долго был Николай Алексеевич...

Я проснулся или очнулся от забытья, в котором прожил наново сегодняшний день. Умолкла грохочущая музыка внизу, осел в колодце ресторанный смрад, погас свет в окнах напротив, притухли голубые, сиреневые, синие сполохи на потолке. Но я отчетливо видел лицо гениального комедианта на старой фотографии, прислоненной к полупустой бутылке на столе. Мне и в сумраке были видны его разные глаза. Один еще пытался что-то рассмотреть впереди, другой был развернут вспять его жизни.

Он знал. Он просил нас извлечь урок из его судьбы.

Он безмолвно просил нас вспомнить его слова, он молча орал мне, немо бесновался, он молил нас догадаться о том, что уже говорил однажды: «Основное явление театра – приход и уход со сцены. Должна быть причина, толкнувшая актера „сзади“, и обязательно – цель, манящая вперед».

Он знал.

25. Ула. Некрополь

Мы, глухонемые и слепые донные жители, плохо представляем себе, что происходит в океанской толще, отделившей нас навсегда от мира, от поверхности жизни, от солнца.

Когда в телефоне что-то жалобно тинькнуло и разговор оборвался на полуслове, я уверилась окончательно, что последняя тоненькая ниточка лопнула навсегда. Но, по-видимому, из живой нормальной жизни спускаются в наши сумерки какие-то другие сигнальные веревочки и воздушные шланги, о существовании которых мы не догадываемся, – во всяком случае, я однажды вынула из почтового ящика необыкновенный конверт – длинный, синий, со слюдяным окошечком, в котором четко проступали буквы моего адреса и моего имени. И отправитель – Гинзбург Шимон, город Реховот.

И фиолетовыми чернилами поперек конверта надпись, сделанная на почте, – «Израиль».

Испуганно огляделась в пустом подъезде – проказа уже забушевала во мне, – спрятала конверт в сумку, бросилась в лифт, и скрипящая кабина мучительно медленно ползла вверх, бесконечно долго, словно я ехала в ней на Луну.

Жесткая посадка, грохот железной створки, темнота, ключ не попадает в скважину.

Захлопнула дверь квартиры, трясущимися руками достала из стола ножницы – сердце ледяной жабой замерло под горлом. Отрезала краешек конверта, вытащила пачку бумаг. Иврит, русский, английский. Гербы, красная шнурованная печать, штампы, подписи, резолюции. Министерство иностранных дел. Иерусалим. Израиль. Консульский отдел. Разрешение на въезд: «Вам разрешен въезд в Израиль в качестве иммигранта». Нотариальное свидетельство. Вызов «А».

«Настоящим обращаюсь к соответствующим компетентным Советским Властям с убедительной просьбой о выдаче моей родственнице разрешения на выезд ко мне в Израиль на постоянное жительство.

Я и моя семья хорошо обеспечены и обладаем всеми средствами для предоставления моей сестре всего необходимого со дня ее приезда к нам.

Учитывая гуманное отношение Советских Властей к вопросу объединения разрозненных семей, надеюсь на положительное решение моей просьбы и просьбы моей сестры, за что заранее благодарю. Шимон Гинзбург».

Звон в ушах, пот выступил на лбу, сердце ожило и с клетотом рванулось в работу, не считая ритма, вышибая дух. Алешке не надо сейчас говорить, скажу, когда понесу документы в ОВИР. Для него так будет легче. Пока это надо стерпеть самой. Я не имею права отравлять ему оставшиеся нам вместе дни, недели и месяцы. Господи, как я боюсь!

Я надеюсь на положительное решение моей просьбы и просьбы моего брата...

За что я заранее тоже благодарю...

Поскольку я тоже учитываю гуманное отношение советских властей...

Тихо было вокруг. Даже паралитик сегодня почему-то не радиобуйствовал. Может быть, его предупредили, что меня перевоспитывать уже бесполезно? Что я чужая, что еще один случай заболевания проказой установлен, зарегистрирован, и уже мчатся по вызову страшные санитары в синих околышах и партикулярном платье?

Придут, измордуют, убьют – никто голоса не подаст. Все попрятались в бетонные соты. Пустота. Тишина. Страх.

Я подошла к стеллажу с книгами – единственное мое богатство, все мое достояние. Вот моя компания, все мои друзья. Вас уже давно всех убили. И забыли. Я – смотритель вашего кладбища. Вас убивали поодиночке. Потом вас убили разом – как целую литературу.

Тоненькая книжка в моем самодельном переплете – «Бройт».

Ей пятьдесят лет. Плохая газетная фотография – смеющийся молодой Изи Харик. Академик, редактор еврейского журнала «Штерн». Тебя убили первым, и твои стихи, сотканые из долгой пряжи еврейских песен и легенд, отзвучали как песни, смолкли и были развеяны ветрами и беспамятством. Нет больше твоего журнала, нет твоих книжек, нет тебя. В литературной энциклопедии сообщают коротко: «Был незаконно репрессирован». Светятся в затухающем закате золоченые корешки нескольких томов «Еврейской энциклопедии». Я случайно купила четыре тома на барахолке Коптевского рынка – остальные двенадцать исчезли в вихре всеуничтожения, который не мог себе представить в пору разгула кровавой царской реакции ее составитель и редактор Израиль Цинберг, миллионер, ученый, меценат, просветитель. История еврейства, его культура, традиции и наследие при советской власти уже никого не интересовали, а позже стали вражеским сионистским инструментом. И вернувшегося из эмиграции Израиля Цинберга, еврейского грамотея, либерала и философа, – расстреляли.

Учитывая гуманизм властей...

Синяя книжечка – Осип Манделъштам. Первая и, наверное, последняя. Единственная. Великий поэт, провидец, мыслитель. Эту книжечку подарил мне на день рождения Алешка – она стоит на рынке сто номиналов государственной цены, потому что весь тираж продали через закрытые распределители и вывезли за границу. «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье...» – с горькой усмешкой написал он. Знал ведь, что и после смерти не на что рассчитывать, он предвидел справочную запись: «В 1934 г. в условиях культа личности М. был репрессирован. Погиб после второго ареста 27/ХІІ–1938 г.».

«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»

Наверное, этого репрессировали законно? Там ведь и о реабилитации ни слова.

Вот Моисей Кульбака – того-то точно законно репрессировали! И тридцать лет спустя нигде нельзя найти упоминания о том, почему и как убили выдающегося трагического поэта! Его имя нигде и никогда не упоминается, память о нем изглажена. Серая пыль забвения запоорила большой, надрывно крикнувший людям талант:

Везде, где человек стоял, там череп
Валяется в пыли, забытый, неприметный.
Бессмертны только боги.
Люди – смертны!

Стопка перепечатанных мной на машинке стихов возвышается над низким могильным холмиком Моисея Кульбака.

За что заранее благодарю...

Две книжки Самуила Галкина – друга Михоэlsa и моего отца. Лучший переводчик Шекспира на еврейский язык, прекрасный драматург и лирический поэт, дождался прижизненной реабилитации – он прожил четыре года после концлагеря. Но Шекспира никто больше не играет на еврейском языке, и память о потрясшей культурный мир постановке «Короля Лира» истлела вместе с костями Галкина и Михоэlsa.

Дер Нистер не дожил. Модерниста, символиста, эстета, признанного в Европе, волновала судьба его народа в России, и он вернулся сюда из эмиграции, чтобы написать своим непостижимым языком, полным изысканности, стилистических находок и ритмических пассажей, роман «Семья Машбер». Он предвидел катастрофу, но, наверное, не представлял себе, что его приговорят к двадцати пяти годам каторги и бросят в угольные рудники.

Обессиленного, больного старика, почти безумного, – из жалости уголовники убили лопатами.

Учитывая гуманизм властей...

Стремительно накатывала ночь, клубились над домами сине-серые перины туч, тяжело и грустно погромыхивал вдалеке сентябрьский гром, будто смущенный своей неуместностью. Барабанили по балкону редкие крупные капли, где-то пронзительно закричала пожарная машина. Я стояла у окна, смотрела незряче в запылившееся стекло, ослепнув от ужаса, и только голоса умерших с кладбища на книжной полке звали ко мне в отчаянии и тоске.

– Заранее благодарю! – вопил тонким напуганным голосом Ицик Фефер в камере смертников. Бывший любимый поэт, бывший крикун, бывший весельчак, бывший еврейский антифашист, бывший спутник Михоэlsa в поездке по Америке, когда они собрали у своих заокеанских братьев миллионы долларов пожертвований на борьбу с Гитлером. Измученный пытками «шпион», «организатор сионистского буржуазного подполья в СССР», пятидесятилетний древний старик, приговоренный к смертной казни, повторял мертвеющими губами:

Как сладко жить! – кричу я снова, —
На белом свете, где вовек

Сокровищ бытия земного
Один хозяин – человек!

Учитывая гуманное отношение властей к старейшине еврейской литературы Давиду Бергельсону – его убили во время допросов, я хочу верить, что он сразу приобщился к нашей Божественной сущности, этической идее нашей религии – к Эн Соф, Великой Бесконечности, чистой духовности наших верований.

Вас всех убили 12 августа 1952 года – расстреляли литературу целого народа, объявили преступлением принадлежность к этой культуре.

Волокли по заплыванным бетонным коридорам подземелий Давида Гофштейна, из хулиганства разбили очки, раздели догола – им было смешно, им было весело, они хохотали до колик, слыша, как полуслепой смертник бормочет про себя:

Но вижу я снова
Начало начал,
Блестящее светлое Снова.
И прядка, как прежде, вертась и стуча,
Прядет моей жизни основу...

Палачам неведомо понятие бесконечности, они не представляют Эн Соф. Их жизнь всегда у конца.

Я боялась зажечь свет. Пусть санитары думают, что меня еще нет дома. Как шепчет своим теплым хрипловатым голосом Перец Маркиш:

Я на глаза свои кладу
Вечерний синий свет.
И все шепчу в ночном чаду:
– Тоска, меня здесь нет...
И в угол прячусь я пустой,
И руки прячу я...

Пробежал до стены тира, залп, и нырнул беззвучно в вечную реку по имени Эн Соф.

– Заранее благодарю. За посмертную реабилитацию... – усмехнулся Лев Квитко. И сразу согласился на предложенную палачами роль руководителя сионистского подполья. Ударным отрядом подполья должна была стать еврейская секция украинского союза писателей. Лев Квитко весело признался, что им не удалось задуманные преступления против советского народа только по одной причине: в первый день войны все шестьдесят еврейских писателей записались добровольцами на фронт. Вернулось четверо. Остальные в антисоветских вредительских целях погибли на войне.

Он и сейчас не то смеется, не то подсказывает, не то утешает меня, и голос его, заглушаемый залпами конвойного взвода, подбадривает, обещает:

Как сильная струя уносит камень,
Волна работы унесет усталость,
Печаль размочит, сделает сильнее,
И дальше мчит, как водопад трубя!

Пустота. Ночь. Одиночество. Безмолвие. Только чуть слышный плеск волн на моем последнем берегу у бесконечной реки Эн Соф.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее.
Чище смерть, соленее беда.
И земля правдивей и страшнее...

26. Алешка. Тропа в один конец

Наш человек пропасть не может. Пусть он хоть один день проработал в учреждении или на предприятии – на него заводится личное дело, сердцевинкой которого является Анкета. Несколько листочков неважной бумаги, которые надо заполнить собственноручно, дабы впоследствии ты не мог отпереться от ответственности за сообщение неверных сведений о себе.

Купчую крепость заменили на Анкету. В кабалу шли сами. И бесплатно. В разлинованных пунктах, графах и параграфах надлежало сообщить имя, отчество, фамилию, место рождения, социальное происхождение, все сведения о родителях, ближайших родственниках, их занятиях, месте жительства.

Образование, место работы, где это место находится. Хронология трудовой деятельности – точные даты приема и увольнения, причины увольнения.

Партийность. Имел ли партийные взыскания, за что и кем наложены, если сняты – то когда и кем? Были ли колебания в проведении линии партии? Участвовал ли в дискуссиях, внутривнутрипартийных группировках и фракциях? Уточнить, на каких стоял позициях.

Лишался ли гражданских прав?

Выбирался ли на выборные государственные должности?

Находился ли во время войны на территории, захваченной немцами?

Имеешь ли родственников за границей?

Выезжал ли сам за границу? Если да – когда и зачем?

Привлекался ли к следствию и суду? Если был осужден – когда, за что и на сколько лет?

Привлекались ли члены семьи?

За сообщение неправильных сведений подлежишь уголовной ответственности.

Анкета называется «личный листок по учету кадров».

Крепостных стали называть кадрами. Когда рассматриваешь подушные листы этих крепостных кадров, вглядываешься в эти истерически напуганные ответы – нет, нет, нет, не был, не имею, нет – возникает чувство, что замордованных людей томила мечта написать в графе «имя, отчество, фамилия» отречение от себя – НЕТ, НЕ БЫЛО, НЕ ИМЕЮ.

Анкета уволенных переключается в отдельную картотеку и хранится там вечно, чтобы в любой момент паучья армия кадровиков могла мгновенно снестись между собой и взять под микроскоп, сличить до точечки – все ли ты сообщил верно, нигде не слукавил, ничего не исказил? Не обманул ли в чем заботливую мать-кормилицу?

Поэтому я знал наверняка, что личное дело с анкетой актера Орлова по имени Алик, может быть Арон, лежит на месте – под бдительным надзором кадровицы Ольги Афанасьевны. И не слишком взволновался, когда просмотрел первый раз картотеку и Орлова не нашел. Значит – проглядел, проскочил от нетерпения. И не спеша, очень внимательно, как это делал бы профессиональный кадровик, стал вновь перебирать строй запылившихся папок.

Но папки, надписанной «Орлов», не было. Деятельно помогавшая мне Ольга Афанасьевна спросила:

– Вы говорите, что зовут его Арон?

– Арон, а может быть, Абрам. Товарищи называли его Алик...

Кадровица авторитетно сказала:

– Так у него и фамилия может быть не Орлов. А какой-нибудь Рабинович. Вы даже представить не можете, как евреи любят брать чужие имена и фамилии. А уж в театре-то – спрятался за псевдоним, иди пойми в зале, кто он – Орлов или Хайкин. Есть у них это неприятное свойство – безродность.

Я снова стал листать картотеку, бормоча себе под нос:

– Что есть, то есть... Безродные они ребята... На весь христианский мир имен напридумывали, а свои почему-то стыдятся носить...

Пытаясь не заводиться, я методично разбирал архив.

Отобрал сначала мужчин. Папок стало вдвое меньше.

Вынул из стопки дела евреев.

Из евреев я отобрал работающих тридцать лет назад.

Из оставшихся попытался найти человека, которого завали бы Арон-Абрам-Алик-Александр или что-то в этом роде.

Александров было двое – скрипач Флейшман и декоратор Фазин. Не то.

Арона не оказалось ни одного.

Был один Арие – но ему тогда уже стукнуло пятьдесят шесть. Не тот.

Личного дела Орлова не было. И я понял, что его нет смысла искать.

Личное дело отсюда забрали. Давно и навсегда.

Имя, отчество, фамилия – НЕТ, НЕ ИМЕЕТ, НЕ БЫЛО.

Михоэлс пошел не в гости. Он отправился в никуда.

Ах, евреи, зачем вы так любите брать чужие имена и фамилии?

Я вышел из служебного подъезда театра и направился на Ленинский проспект. Этим маршрутом, из этого подъезда тридцать лет назад вышли в свой последний путь Соломон и отец Улы, только тогда назывался он проспектом Сталина. И пошли на улицу Немига, где еще совсем недавно было еврейское гетто. Незначительные перемены, цель осталась прежней. Старое гетто не отвечало современным архитектурным задачам, улицу Немига разнесли бульдозеры, там теперь новые кварталы. Граница гетто отбита в картотеках отделов кадров.

Вам не поможет любовь к перемене имен и фамилий. Ведь бьют не по паспорту, а по роже. Разве для меня есть во всем этом какая-то новость? Может быть, незаметно, исподволь стало новым мое отношение к этому нескончаемому мучительству?

Из-за Улы? Или это новая ступенька моего развития? Или я вошел в этот новый этап из-за Улы? Ведь я, по нашим стандартам, уже стал агентом сионизма. Может быть, люди и становятся агентами сионизма, когда огромная беда чужого народа входит в тебя, становится твоей болью и ты понимаешь, что не можешь решить своей судьбы, не получив урока из их жизни?

Может быть, моя судьба, которую я так накрепко завязал с Улой, и должна раскрыть идею моей жизни? И кто-то извлечет из нее свой урок?

Я ведь знаю, что теперь все это просто так не кончится. Да я и не хочу, чтобы это закончилось просто. Мне тоже надоело жить без имени, фамилии и отчества.

Шел я по шумному многолюдному проспекту, залитому неярким осенним солнцем – теплым, мягким, желто-ноздреватым, как топленое масло, шуршали под ногами листья, и я был очень доволен, что пошел пешком, а не промчался два километра на «моське», потому что в толчее и человеческой сумятице я еще острее ощутил одиночество прощания с этой жизнью, с этими незнакомыми мне людьми, с безликим разрушенным и перестроенным городом, с театром, в котором я никогда больше не буду, с разваленной бульдозером улицей Немига, где когда-то находилось гетто и где закончилась тропка Соломона, по которой я сейчас шагал след в след, поняв впервые, что это дорожка в одну сторону, что возврата по ней нет, и меня удивляло, пугало и радовало мое спокойствие. Мне нужна была правда, только правда, она была в конце этой дорожки. И меня совсем не трогало, что возврата по ней нет.

Мне понадобилось дожить до сегодняшнего дня, чтобы понять людей, сбросивших с себя иго омерты, великой клятвы молчания мафии.

Омерта. Бесконечное молчание. Всегда, везде.

Но однажды молчание становится таким же невыносимым, как смерть.

И с заведующей городским загсом я уже разговаривал более уверенно, чем с кадровицей в театре. Я вошел в игру. Вчера я пережил свое сыщицкое дилетантство, я играл в «своём интересе», но пропала внутренняя робость неопытного обманщика.

Я имею право! И если мне не хотят сказать правды, я сотворю ее из вашей же вечной лжи. Вы все – машина, а я – человек, и человек всегда обыгрывает машину. А легенда трусости и омерты – о бессилии человека перед машиной – родилась из-за того, что победитель всегда платил. За выигрыш у машины платили жизнью.

Заведующая загсом – равнодушное животное с бриллиантовыми серьгами – безучастно выслушала мою корреспондентскую легенду о поисках ветеранов, молча повертела в руках мое удостоверение, вызвала какую-то бесполою пыльную мышь и велела помочь мне в архиве.

Уже сидя в кладовой с душным прогорклым запахом – это и был архив загса, – я рассмотрел на картонных папках грифы «НКВД БССР» и вспомнил, что раньше загсы действительно относились к этому гуманному ведомству. Слава тебе, Господи! Черта с два меня бы допустили к архиву, если бы загсы по-прежнему относились к НКВД!

Я стал искать ребенка Орлова – того самого младенца, которому 13 января 1948 года сделали обрезание или, как сказал Шик, брисице, коли это была девочка, в честь чего Соломон согласился возглавить минен, был заманен в ловушку и убит.

Обрезание, к сожалению, не является актом гражданского состояния, и в книгах загса не регистрируется. Поэтому мне надлежало найти еврейского младенца, родившегося в первой декаде января сорок восьмого года и чье отчество, скорее всего, начиналось на букву «А».

Зачем мне нужен этот исчезнувший из театральных списков Орлов? Сам не знаю. Даже если он жив, рассчитывать на его искренность не приходится. Скорее всего, он на эту тему вообще не станет разговаривать.

Я несколько не сомневался, что он стукач и провокатор. Он – живец, приманка, на которую обязан был клюнуть Соломон. Ему было поручено подвести под толстую Соломонову губу смертельный крючок, смазанный сентиментальными слюнями еврейской многострадальной общности, лести и широко известной слабости Михоэлса – боязни показаться зазнавшимся еврейским барчуком, как он говорил, «столичным иностранщиком».

Не сомневаюсь, что в этой оперативной комбинации Орлов был надежным разыгрывающим «на подхвате».

Единственно непонятно – почему Орлова сразу же не убрали? По тем временам его обязательно должны были кокнуть. Пускай он не хотел нарушать омерту. Но мог. И это должно было решить все остальное.

Я выписал за час девять имен и вернулся к гостинице, по дороге сдав в киоск адресного бюро запросы о нынешнем месте жительства этих давно выросших младенцев, для одного из которых минен превратился в небывалую тризну. Взял со стоянки «моську», неторопливо прогрел его – предстояла ему сегодня беготня немалая – и покатил потихоньку обратно к адресному бюро. Еще остановился около кафе-стекляшки, народу там было немного, сжевал два пирожка, попил газировки и подумал, что надо бы заехать в гостиницу – забрать свой чемоданчик. Как бы ни кончились сегодня поиски Орлова – надо ехать в Вильнюс. Там тоже есть следок, и не пустячный.

Девушка в бюро возвратила мне бланки. Из девяти имен моего списка шестеро проживающими не значились. Не были прописаны в Минске и их родители. Господи, какие же ветры дули над этим городом, над страной, над этим народом, если из девяти семей, выбранных произвольно, постоянно живших здесь тридцать лет назад, шесть исчезли бесследно?

Но трое оставались. Оставался Борис Александрович Залмансон, родившийся 2 января сорок восьмого года. Оставался Яков Арие-Хаимович Гроднер, рожденный 4 января. И оставался Моисей Абрамович Шварц, рожденный 6 января и официально сменивший через загс в 1960 году имя Моисей на имя Михаил.

Они жили в разных концах города. Я расспрашивал прохожих и пользовался маршрутной схемой Минска – о карте не может быть и речи, поскольку географическая карта любого советского города является военной тайной.

«Моська» вывез. Борис Александрович Залмансон встретил меня радушно, но помочь ничем не мог, ибо его отец всю жизнь был торговым работником, никакого отношения к театру не имел. «Не только не работал в театре, но и ходить туда не имел привычки!» – добро посмеялся Борис Александрович над культурной отсталостью папули, помершего два года назад.

Михаил Абрамович Шварц, подтвердивший представления театральной кадровицы о любви евреев к чужим именам, отдыхал с семьей на юге. Выяснить что-либо у соседей было бессмысленно – Михаил Абрамович жил в новеньком доме, заселенном в прошлом году.

Вот так и получилось, что остался мне один Яков Арие-Хаимович Гроднер, на чьей жилплощади были прописаны и его родители – Арие-Хаим Лейбович и Броха Шаевна Гроднеры. Пятросова улица, дом семь, квартира двенадцать, третий этаж.

На косяке тяжелой, окрашенной ржавым суриком двери был прибит длинный список фамилий – кому сколько звонить. Все в порядке – я у себя дома. Там такой же список – послушная дань коммунальной этике. Каждый жилец открывает дверь своим гостям. Уступка делается только почтальонам, милиционерам и нищим, которые дают длинный звонок – «общий». Все ждут благовеста, ареста и сумы.

Мне отворил дверь молодой пухлый еврей в мешковатых джинсах, пузырящихся на коленях, суконных тапках и белой рубашке с галстуком в полоску. В руках у него была сковородка с жареной картошкой. Традиционная белорусская еда – бульба. Евреи, поменявшие имена, должны уж и кухню пользоваться местную – все равно нет ничего другого.

– Я ищу Гроднера...

– Пожалуйста, – ответил невозмутимо парень, не трогаясь с места.

– Вы – Гроднер?

– Пока да, – усмехнулся еврей.

– Я журналист, хотел бы поговорить с вами по одному делу...

Гроднер равнодушно пожал плечами, сказал:

– Пожалуйста... – И мы пошли вглубь нескончаемого, плохо освещенного коридора, заставленного рухлядью, мимо длинного ряда полуприкрытых дверей, из-за которых высывались любопытные носы соседей. Ах, коммунальное житье, круглосуточный надзор, скучающие соглядатаи, болтливые послушники нерушимого обета омерты! Вам дали муравейник, а вы его переделали в осиное гнездо.

Большая светлая комната плотно заставлена разношерстной мебелью. Дешевенький польский гарнитур втиснут в угол, как во время ремонта, и накрыт пластмассовой пленкой. Повсюду – запакованные ящики, картонные коробки, связанные веревкой чемоданы. Часть комнаты отгорожена китайской ширмой с полинявшими драконами. Из-за драконов вышла пожилая смуглая женщина, когда-то, видимо, замечательно красивая. Я вежливо поздоровался, она тревожно и неприязненно взглянула на меня из-под густых бровей, кивнула и вновь спряталась за своими китайскими страшилищами.

– Скорее всего, вам нужен мой отец, – сказал Гроднер. – Вы же по поводу отъезда.

– Отъезда? – удивился я.

Гроднер неприятно засмеялся:

– Я ведь тоже читаю, как вы описываете муки евреев-эмигрантов в Израиле, как они из Вены обратно домой просятся...

– Но я не понимаю, почему...

– Что вы не понимаете? – перебил меня Гроднер, и я увидел, что он очень похож на хомяка. – Вы, наверное, хотите поговорить с моими стариками насчет их отъезда?

– В Израиль? – наконец уразумел я. – А они уезжают, что ли?

– А вы не знали? – удивился в свою очередь хомяк, у него набухла толстая переносица и покраснели маленькие глазки.

– Я совсем по другому вопросу, – растерянно сказал я.

У меня произошла ошибка. Слишком мал был мой стаж работы оборотнем, я медленно реагирую на неожиданные повороты придуманного мной сюжета. Если Гроднер – это Орлов, то непонятно, как он дожил. Если он Орлов – значит он сексот, непонятно, зачем и почему он едет в Израиль. И как могло быть, чтобы его отпустили в Израиль?

Или не отпустили, а послали?

Но он ведь должен быть уже старый? Хотя Михайлович до сих пор на культурной службе!

Но если Гроднер – это Орлов, значит я успел на уходящий в никуда поезд.

Я озирался в разоренном, загроможденном и все-таки полупустом жилище. С гвоздя на стене была снята и приставлена к ширме большая застекленная фотография. Ее, наверное, переснимали и увеличивали с маленького снимка и потом уж заключили в простую ясеневую рамку. В объектив напряженно смотрел старик с седой бородой, рядом – тяжелая расплывшаяся старуха с беззащитным несчастным лицом, повязанная суровым платком, потом несколько мужчин и женщин с детьми на руках. Справа от старика стоял молодой человек без глаза, с вмятиной на лбу, прижимавший к груди молитвенно-слепо обрубки обеих рук.

Наум Абрамович Шик сказал – «...с Орловым был его родственник, несчастный парень, вместо обеих рук – культяпки...».

Дрогнуло сердце. Кажется, я нашел. По-моему, это они. Неужели я сотворил их в пустоте безвременья?

Я вздохнул глубже, чтобы утишить бешеный бой сердца, медленно и уверенно спросил:

– Сценическая фамилия вашего отца – Орлов? Он раньше работал в театре Янки Купалы?

Он артист?

– Арти-и-ист... – протянул неуверенно Яков Гроднер, теперь он окончательно не мог сообразить, что мне от него надо, и от напряженной работы мысли набрякло все лицо, отвердели хомячьи мешки на щеках. – Но он давно на пенсии. И... в чем дело, наконец?

Вот я и нашел артиста Орлова. Нашел! Он жив – старый стукайло! Он жив, тихий подсадной! А передо мной – выросший провокаторский птенчик, на праздник рождения которого неосмотрительно направился великий комедиант.

Как все просто было придумано! Орлов должен был умолить Соломона прийти на событие, святое для всякого еврея, – минен, и для усиления, для большей жалобности взял с собой инвалида-родственника.

К этому времени уже высадили из машины шофера Гуриновича и управлял ею оперативный работник.

Михоэлс согласился. После спектакля его должны усадить в «эмку» и провезти по незнакомому городу. Где-нибудь на дороге, в укромном месте, машина вроде бы глохнет. Шофер-опер выходит из машины – якобы чинить. Следующий по пятам «студебеккер» разгоняется и на полном ходу врывается в заднюю тоненькую стенку салона «эмки» и дробит ее в клочья. И бесследно исчезает...

Но Соломон и отец Улы не захотели ехать на машине. И в сценарий пришлось по ходу спектакля вносить коррективы. Двух человек давили на улице как зверей, их гнали, травили и впечатали в стену на углу Немиги и Проточного переулка...

– ...в чем дело, наконец? – повторил Яков Гроднер.

Я хотел ему ответить бессмысленной поговорочкой, что дело в шляпе, давным-давно дело в шляпе, но он ведь все равно ничего про это не знает, и я ему быстро выдал свою идиотскую басню об интересе к традиционной культурной жизни республики, сборе ветеранов сцены и всю остальную ерунду.

– Вспомнили! – криво улыбнулся Гроднер. – Отец уже сто лет не работает на сцене, но главное, что он уезжает отсюда. Кто это будет про него статьи печатать?

– Никто не будет! – сразу же согласился я. – А вы тоже собираетесь в землю обетованную?

Яков тяжело вздохнул, задумчиво взъерошил на голове свой хомячий черно-бурый подшерсток, надул мешки на щеках:

– Нет. Не собираюсь. Мне там делать нечего.

– Почему? – поразился я. – У вас есть образование, специальность?

– Образование есть, – засмеялся пухлый хомяк. – А специальности нет...

– То есть как?

– Очень просто. После института я попал на хорошее место – конструктором в НИИ. Семь лет, как раз в прошлом месяце – семь лет исполнилось. Получаю сто восемьдесят рэ. И ничего не делаю. То, что раньше знал, уже забыл.

– А зачем вам эта пенсия? Почему не делаете ничего?

– Потому, что все ничего не делают. Все просиживают штаны, и, видимо, это устраивает не только исполнителей, но и начальство. Если бы к нам в штат попал Эдисон или Кулибин, то через пару месяцев его бы вышибли как склочника, мешающего всему коллективу...

Я засмеялся и спросил серьезно:

– А не тянет поработать по-настоящему? Само собой – за настоящую зарплату?

– То есть там – в Израиле? Нет, не тянет, – грустно поджал худенькие полоски губ Яков. – Там нужны ловкие люди, хваткие, деловые, которые умеют поставить себя в жизни. Я не такой... И язык этот – иврит! Кто его может выучить...

На ширме зашевелились, заерзали драконы, там тяжело вздохнула хозяйка, пробормотала сквозь зубы: «Фармах дэм мойл». Яков пренебрежительно махнул рукой на оскаленных драконов:

– Мать боится, что я много разговариваю. Так ведь я лояльно...

Действительно лояльно. Эх, евреи, боюсь, что вы не только имена поменяли, но и головы. Просидеть целую жизнь на стуле, бессмысленно бездельничая, как попугай в клетке, – это проще, чем выучить родной язык.

Все-таки крепко над вами здесь потрудились.

– А не жалко со стариками расставаться?

– Конечно жалко. Так отца не переубедишь. Заладил свое – «эрец Исруэл» и «эрец Исруэл»! Да и то сказать – многие сейчас туда двинулись. Друзья его какие-то там уже...

Он помолчал, будто раздумывая о природе человеческой неуживчивости и погоне за журавлями в небе, когда в руках уже сидит ленивая стовосьмидесятирублевая синица, и сказал вдруг равнодушно:

– Пусть едут. Комнату освободят, я хоть жениться смогу...

И вывалил из сковородки картошку в глубокую тарелку. Пододвинул ко мне поближе другую тарелку с нарезанной маленькими ломтиками колбасой:

– Ешьте тоже...

Он набил полный рот картошкой, деликатно откусывал от ломтика колбасу, остаток возвращал на тарелку. Я смотрел, как он держит эти ломтики, как перекладывает вилку – у него были вялые руки дурака.

Посмотрел бы Соломон сейчас на своего крестника. Или это тоже урок из его жизни? Как ни крути – смерть надо все равно отнести к его жизни.

– Яков Арьевиц, у вас приличные перспективы по службе?

Он перестал жевать, проглотил ком, вытер губы какой-то тряпочкой, криво усмехнулся:
– Какие у еврея могут быть здесь перспективы? Да еще когда родители – там! Дотяну, возможно, до ведущего инженера. Еще десятка...

Драконы на ширме сразу же приглушенно охнули, сказали еле слышно – «вер фаршвыгн» – и бессильно умолкли.

– И вас это не пугает?

– Извините, конечно, но вопросы вы задаете прямо-таки провокационные. – Впервые за время разговора у Гроднера остро блеснули глаза, он, видимо, прислушался к советам вылинявших драконов. Но махнул рукой. – Впрочем, чего мне бояться...

– Это вы меня извините, Яков Арьевич, за мои вопросы! Но интервью не получилось, и разговор у нас сложился неофициальный, потому что самого очень волнуют эти вопросы, можно сказать – лично касаются...

– Да-а? – недоверчиво протянул Яков. – Вы не похожи на еврея...

– Это неудивительно, если принять во внимание, что я русский, – засмеялся я. – У меня жена еврейка.

– Сейчас многие женятся на еврейках, чтобы уехать, – заметил Гроднер, а я протестующе поднял руки. – Нет-нет, я не вас имею в виду, а вообще, – заверил Гроднер. – У нас теперь незамужних евреек называют «транспортным средством».

Ну, Соломон, – ты этого хотел?

Мы обязаны за все содеянное в своей жизни заплатить. С тебя взяли дорогую плату за то, что ты своей рукой написал – «библейский бред тысячелетиями держался в умах еврейских масс и был разрушен в пух и прах революцией 1917 года». Урок твоей судьбы. Господи, как сообщить мне об этом уроке людям?

– ...Нет, что там ни говорите, нам жить по-ихнему тяжело. Они совсем другие люди, – объяснял мне Гроднер. – Мы ведь давно уже никакие не евреи, только по паспорту. Мы так же похожи на тех евреев, как эта бульба на фаршированную рыбу...

Он мне рассказывал какую-то фантастическую историю о том, что один белорус, подпольный миллионер, заплатил кучу денег пожилой еврейке за фиктивный брак с ней и возможность выехать на свободу.

Ну скажите мне, что он там будет делать со своим умением воровать? Там воры не нужны, это здесь им привольно живется...

А я с горечью рассматривал уже сытого и успокоившегося хомяка – пухлого, благодушного, удовлетворенного своей досрочной нищенской пенсией, не стыдящегося своей никчемности, которую он называл «не хваткий», «не деловой», «не ловкий». Особая форма убогости. Он доволен.

Дверь широко распахнулась, и в комнату вошел, катя за собой продуктовую сумку на колесиках, краснолицый крепкий старик, похожий на сатира...

27. Ула. Вечный двигатель

Превозмогая ватную слабость ног, я пошла к троллейбусной остановке. Кружилась голова, тонкий пронзительный звон от бессонной ночи переполнял меня. Но я поборолась себя – я отправилась в дом, до которого езды семь минут. И вся выброшенная прошлая жизнь.

Как сказал Эйнгольц, я не боюсь уехать, я боюсь войти в этот дом. До порога ты еще вместе со всеми – униженный, нищий, немой, но все-таки тебя согревает иллюзия защищенности в толпе, мечта о незаметности в стаде, тщеславная надежда на силу оравы.

Переступив порог, ты сделал шаг в сторону из конвоируемой колонны. Ты один. И по закону караульная машина имеет право стрелять без предупреждения. Раньше шаг в сторону

считался за побег. Сейчас изменился устав конвойной службы – нарушителя изымают из строя, колонна уходит дальше, шагнувший в сторону оказывается один на один с машиной.

Машина молчит. Нарушитель и сам знает, что надо делать – эту нехитрую науку выучивают с рождения. Сесть на снег! Руки за голову! Не переговариваться! Вещи бросить в сторону – на этап разрешается смена белья и сегодняшняя пайка!

Сидят на снегу смиренно. Молчат. Ждут. Несколько месяцев. Год. Пять лет.

Молчать! Руки за голову! Молчать! В штрафной изолятор! В карцер! В БУР!

Со стороны кажется, что машина караульной службы задумалась. Привыкшая не рассуждать, а выполнять, она многого сейчас не понимает. Раньше за такое нарушение полагалось стрелять без предупреждения. Сейчас многим нарушителям вдруг приходит помилование, и их приходится почему-то выпускать за зону, за колючку – на волю! Машине это непонятно – что изменилось? Там – на воле? Или здесь – на этапе? Или – страшно подумать – в ней самой? В машине?

Но я уже переступила порог, прошла по серому безлюдному коридору и постучала в дверь с картонной табличкой «Инспектор ОВИР Г. Н. Сурова».

В небольшой комнате, уставленной картотечными шкапами, сидела за письменным столом молодая женщина. На ней был серый милицейский мундир с капитанскими погонами. От волнения я не могла рассмотреть ее лицо – оно слоилось, распадалось, бликовало, как разбившееся зеркало.

– Слушаю вас, – сказала она мягким негромким голосом.

– У меня вот приглашение, – протянула я конверт.

Она взяла конверт, ловко вынула из него бумаги, пробежала быстро глазами, обронила своим равнодушным негромким голосом:

– Это не приглашение. Приглашение бывает в гости. А у вас вызов. На постоянное место жительства в государство Израиль. Это совсем другое дело...

Она делала ударение на конце слова – Изра-Иль.

– Хорошо, – согласилась я. – Какие нужны документы?

– У вас паспорт с собой? Дайте-ка посмотреть...

Она взяла мой паспорт и так же ловко, как бумаги из конверта, опустила его в ящик стола.

– Для получения разрешения на выезд на постоянное место жительства в государство Изра-Иль нужно много документов, – вымолвила она значительно, но так же негромко.

А я наконец рассмотрела ее лицо. Инспектор Г. Н. Сурова получила его наверняка вместе со своей аккуратной формой на вещевом складе. В квитанции значились пуговицы, глаза, погоны, рот, отдельно звездочки, отдельно маленькие острые зубы, фуражка-каскаетка, беледые, стянутые в пучок волосы.

Опытная медсестра приемного покоя лепрозория. Уже выступившие на мне бугры, пятна и язвы не вызывали в ней никаких чувств. Обычный случай проказы. Не ее дело решать – есть на это специалисты, они скажут. Нужно будет – отправим догнивать, понадобится – подлечим, способы имеются, если скажут – отпустим.

– Идите в коридор, подождите, я вас вызову, – сказала Сурова. Равнодушное лицо, слежавшееся по швам на интендантском складе. Ловкие пальцы. Пелена безразличной жестокости в бесцветных жестянках глаз. Паспорт в ящике, вызов на столе. И сама я уже не в сером коридоре, а в картотеке.

Как все находят себе место по душе!

Ни одной скамейки, ни одного стула. Сидение успокаивает человека, даже если он прокаженный. Пусть лучше ходят. И думают. И сколько я ни старалась переключиться, не думать о том, как инспектор Сурова заполняет на меня картотеку, списывает с паспорта мои данные, звонит куда-то по телефону, проверяет меня, узнает – нет ли подвоха, достаточно ли глубоко

я засунула палец в шестерни этой бесшумной устрашающей караульной машины, – я не могла не думать! Не могла не представлять себе бесчеловечную громадность этой машины.

Я прошла до конца коридора, на серых стенах которого висели огромные плевки запрещающих распоряжений, повернула назад и промерила коридор шагами до тупиковой двери с табличкой «вход воспрещен», снова развернулась и пошла к выходу, назад – до запрещенного входа, поворот, снова по коридору, и по мере роста моего волнения темп ходьбы все возрастал. Машина уже захватила меня и поволокла... Она работала бесшумно и неотвратимо. Ровно и сильно питалась топливом нашего ужаса. Как давно ее построили – задолго до моего рождения! Мы и умрем много раньше ее. Все. Вечный двигатель.

Вот он – заветный двигатель, который пытались сделать возвышенные умы. Он уже уцепил кусок моей плоти и гоняет меня по серому коридору. Вечный двигатель. Его запустили и сделали движение вечным потому, что, в отличие от возвышенных умов, неслыханную энергию приложили не к дурацкой механической конструкции, а к людям – к каждому по отдельности и собранным в толпу.

Скрипнула дверь, Сурова вышла из кабинета, я вздрогнула и невольно подалась к ней, но она прошла мимо, глядя сквозь меня на пятна запрещающих и указующих распоряжений. Она отправилась в дальний конец коридора и скрылась за дверью с надписью «Вход воспрещен». Может быть, там сидят не капитаны, а сержанты – санитары лепрозория?

Я сделала еще петлю по коридору – туда и обратно, затаив дыхание, остановилась у таблички «Вход воспрещен», но там было тихо и голосов санитаров не слышать. А может быть, не санитары? Может быть, там старший эпидемиолог – майор? Рассматривает направление в лепрозорий, прикидывает, какие мне нужно еще сдать справки-анализы для окончательной изоляции-госпитализации?

Кто вы – люди, обслуживающие вечный двигатель? Конструкторы небывалой машины допустили ошибку, поручив ее обслуживание вам, а не автоматам. Они думали, что ваша корыстная заинтересованность в существовании машины и есть порука вашей преданности и добросовестности в эксплуатации машины. Это было ошибкой.

Вы уже испортили вечный двигатель, он время от времени дает сбой. То, что я стою в этом коридоре, что я сама засунула руку в страшный зев машины, – это ее сбой.

Вы внесли в работу машины низменные страстишки вашего характера и обычные людские пороки. От огромной нагрузки в ней растянулись приводные ремни, поржавели от крови шестеренки, коррозия замаслила фрикционы, скрипит песок лени в буксах, упало давление поршней жестокости в цилиндрах несвободы, металл конструкции устал...

Из воспрещенного входа вышла Сурова и кинула мне негромко:

– За мной...

У меня взмокли ладони и сильно дергалось веко. Я хотела усмирить его, прижимая глаз рукой, но веко дергалось в горсти судорожно и затравленно, как пойманный воробей.

Сурова четко печатала шаги передо мной, и у меня останавливалось дыхание, когда я смотрела на ее искривленные тонкие колени и сухие длинные мешочки икр под серым обрезом форменной юбки.

Насколько от нее зависит – пощады она мне не даст.

Ах, как чудовищно сильна еще машина! Вечный, вечный двигатель. Больше моего века...

Равнодушным голосом без интонаций Сурова сообщила:

– Для надлежащего оформления вашей просьбы о выезде на постоянное место жительства в государство Изра-Иль вам необходимо представить следующие документы...

Господи, какая честь у нас всегда оказывается этой крошечной стране! Ведь ни про одно из десятков государств никогда не говорят и не пишут официально – «государство Монако», «государство Америка», «государство Китай». Только маленькой, почти забытой моей отчей земле оказана такая ненавистническая честь – Государство Изра-Иль...

– Записывайте, не отвлекайтесь, ничего не перепутайте, при малейшей ошибке или опечатке вам будут возвращена все документы для переоформления...

– Я записываю...

– Первое: вызов от родственников из государства Изра-Иль...

Земной тебе поклон, дорогой брат, господин Шимон Гинзбург, спасибо тебе, кровь моя, кровь наших умерших отцов, кровь дедушки нашего Исроэла бен Аврума а Коэна Гинзбурга.

– Второе: заполнить две анкеты-заявления на машинке, оба экземпляра первые, без единой помарки, никаких исправлений не допускается...

Спасибо тебе, ремесло мое, последний раз ты мне пригодишься здесь после тысяч напечатанных мной страниц на машинке.

– Третье: подробная автобиография. Указать практически все. Отдельно сообщить, проживал ли родственник, к которому вы хотите ехать в государство Изра-Иль, на территории СССР, когда и при каких обстоятельствах выехал за границу...

Это мне легко сделать – у меня нет биографии, я еще и не жила, вся моя жизнь уместилась в любви к Алешке и в каторжной клетке трудовой книжки. Но об Алешке, слава богу, писать не надо.

– Четвертое: трудовую книжку...

Пожалуйста, там все сообщено о моем обмене веществ, как я дожила до такого способа существования моих белковых тел.

– Пятое: фотографии, шесть штук, специально для выездного дела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.